

ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ



ВОЕННАЯ



БИБЛИОТЕКА



ШКОЛЬНИКА



ИЗДАТЕЛЬСТВО



ДЕПТА



МИНИСТЕРСТВА



Александр Кулешов

ГОЛУБЫЕ  
МОЛНИИ









Александр Кулешов

# *ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ*

Роман

Москва «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 1976

„Голубые молнии“ — роман о десантниках. Десантник — особый воин, он должен уметь многое: быть и стрелком, и радистом, и шофером, и минером, и разведчиком.

Призывник Андрей Ручьев, став десантником, познал не только себя, но и истинные ценности. И себя, и окружающих, и свою Родину он увидел по-новому, нашел настоящих друзей и стал достоин большой любви.

Роман получил премию Министерства обороны СССР за 1974 год.

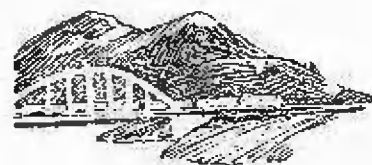
Издательство „Детская литература“ печатает роман в сокращенном варианте. Отзывы об этой книге присылайте по адресу: Москва, А-47, ул Горького, 43, Дом детской книги.

Р и с у н к и  
Ю. К о п ы л о в а

О ф о р м л е н и е  
А. Р е м е н н и к а

К 70803—076 262—76  
М101(03)76

© ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1976 г.



## Глава I

Поезд шел, неустанно раскачиваясь, и за окнами вагона возникали все новые и новые пейзажи.

Вблизи пути они стремительно неслись навстречу, а чем дальше, тем медленнее, тем величественнее сменяли друг друга, оставаясь подолгу неподвижными у самого горизонта.

И там, за этим порой четким, а порой туманным горизонтом, тоже все менялось, только еще медленнее. Но этого уже нельзя было рассмотреть сквозь запыленные вагонные окна.

Если в вагоне светлело, значит, поезд мчался полями. Под порывами легкого свежего ветра колосья пшеницы беспрестанно меняли свой цвет, становились чуть темнее, зеленели, снова светлели, стелились к земле, выпрямлялись или колыхались в разные стороны. Мелькали синими просверками васильки.

Потом в вагоне темнело. К полотну дороги подбегали леса. Всегда похожие и всегда разные. Порой то был густой ельник, такой густой, что казался черным, а порой — сосняк со стройными красноватыми стволами, уходившими высоко-высоко к небу, или светло-зеленая листва вековых дубов, которые надолго смыкались своими кронами вокруг мчавшегося поезда. Могучие, коренастые ветви неохотно колыхали плотные листья.

А то начинал кружиться светлый хоровод берез — белые платица деревьев расцветивались солнечными, беспрерывно мечущимися зайчиками, мелко и часто трепетали листочки.

Иногда лучи солнца, словно меч, рассеивали редколесье, разбрасывая по мшистой земле широкие светлые блики. Солнце отражалось в воде ручейков, светлело бурные, толстые павалы прошлогодних листьев. Его плотный, осязаемый свет неподвижно, как кисея, висел между деревьями. Жуки и пчужки мелькали в воздухе, и могло показаться, что это огромный аквариум, куда вместо воды налит густой солнечный нектар.

Когда поезд мчался долинами, леса у горизонта становились густо-синими, порой лиловыми; тяжелым сверкающим серебром проглядывали кое-где лесные озера. А сами долины колыхались изумрудными валами, пестрели цветочными полянами; словно брошенные детские кубики, там и сям раскинулись леревушки. Меж ними тянулись извилистые желтые нити дорог.

Порой поезд часами рассекал степь, и даже через плотно закрытые окна пропирал в вагон пьянящий, неодолимый аромат степных трав, разгульных ветров.

Временами стук колес становился гулким и тяжелым, быстрые тепы начинали часто сечь свет: поезд шел по мосту.

И тогда можно было увидеть прозрачную чистую речушку, затаенно и непонятно петляющую по лугам, склоненные к воде плакучие ивы и неподвижные кувшинки у тепистых берегов.

Вдруг река представляла широкой и гордой. Вода сверкала мириадами серебристых чешуек, белые пески вливались в нее с пологих берегов; неподвижные вековые боры вздымались на косогорах над ярко-желтыми песчаными сбросами; казалось, островами высились в воде черные караваны барж с крохотным дымным буксиром впереди, и недовольно спешили обойти их редкие белоснежные пароходы.

Что может быть красивее рек, полей, лугов?.. Осенью леса застывали в золоте и багрянце. И, наверно, нельзя было отвести глаз и дух захватывало от немыслимой красоты, от бесчисленных оттенков желтого, красного, малинового, пурпурного, от бескрайних пространств, раскинувшихся под синим прозрачным небом...

Но этого нельзя было увидеть сегодня из окна вагона. Как нельзя было увидеть и то, что находилось за этими полями и лесами, за горизонтом, за сотнями, за тысячами километров на юг или север, восток или запад от этого крохотного в масштабах природы, медленно ползущего, словно гусеница, поезда.

Отсюда нельзя было разглядеть, например, море.

А ведь море тоже бесконечно красиво. И бесконечно разнообразно.

Оно уходит за горизонт, меняя свой цвет: прозрачно-голубое у берега, зеленоватое подальше, темно-синее вдали. По всей его поверхности вспыхивают и гаснут серебристые всплески, густо-белые, растрепанные гребешки возникают на волнах и слова исчезают. Над водой, то взмывая, то снижаясь, раскачиваются на невидимых качелях белоснежные чайки. И доносится изредка их печальный призыв. Но морю нет до него дела. Оно продолжает негромко плескаться, без конца набегая на золотистые пляжи. Игриво пошлепав песок совсем уже потерявшей силу волной, оно убегает обратно, оставляя на гладком, потемневшем песке обрывки пенной бахромы, комочки погибших водорослей.

И горы красивы. От них не оторвешь взгляда.

Они встают сплошными зазубренными рядами, возвышаются

одна за другой, словно стены гигантской крепости. Их обращенные к солнцу склоны сверкают нестерпимым, исторгающим слезы блеском. А с другой стороны залегает глубокая лаковая синева. Местами она настолько сгущается, что становится почти черной, местами приобретает фиолетовый оттенок, местами переходит в печную голубизну. И все эти цветовые гаммы в редком прозрачном воздухе высокогорья особенно ярки и четки.

Под горами такое же яркое и ясное простирается светло-синее небо — чистое-чистое, без единого пятнышка. У подножия их клубятся, будто пенные волны, серо-белые облака.

Да, горы красивы. А разве менее красива тайга, такая величественная, бесконечная и суровая, что хочется, глядя на нее, обнажить голову, как перед памятником?

Или песчаные пустыни, пусть однообразные, пусть бесплодные, пусть пугающие, но сколь притягательные и волнующие?

А полярные льды и их ледяное дыхание, скалистые берега и бешеный рев бурунов, тихие голубые озера и желтые большаки с увядшей крапивой и пыльными лопухами вдоль них?

Все красиво, все прекрасно в природе. Чудесные пейзажи и сказочные уголки есть в каждой стране. Но только в нашей стране, раскинувшейся на одной шестой земного шара, можно найти все, чем одарила природа остальные.

И еще здесь можно увидеть огромные сверкающие города, со скверами и широкими проспектами, дворцами и стадионами, шумными школами и тихими парками; гигантские заводы с их пылающими домнами, стеклянными небесами цехов, неумолчным гулом; заводы, вырастающие в глухих когда-то уголках и рождающие города; чудовищной мощи гидроэлектростанции, оседлавшие своими плотинами широкие, могучие реки, разбросавшие на тысячи километров живые нервы высоковольтных передач; голубые капалы, что пролегли в некогда бесплодных степях, породив в них жизнь и изобилие.

И несутся по бескрайним просторам страны поезда с «черным», «белым», «зеленым» золотом, бороздят ее реки и моря корабли, из конца в конец пролетают самолетные армады.

Вот ее — эту шестую часть света, где родилось и расцвело первое в истории социалистическое государство, и предстояло защитить, если бы возникла в том печальная нужда, всем этим молодым, сильным, веселым ребятам, что под звуки песен, баянов, гитар, под возгласы и смех уносились в поезде.

Когда-то, три десятка лет назад, так же вот ехали в поездах их отцы. У них тоже были гармошки и песни, они бы-

ли такие же сильные, молодые и решительные. И вернулись с победой.

А те, кто не вернулись, солдат или генерал, навсегда остались в людской памяти, потому что отдали жизнь за Отчизну. Их песни не были донеты, их смех не дозвучал. И сами они остались лежать в лесах и полях, в городах и селах, на берегах рек и морей, которые защищали.

Они уходили на фронт мальчишками, такими же, как и эти. Но мальчишкой никто из них не погиб. Что в сорок, что в двадцать лет, они умирали суровыми воинами.

Теперь вот пришла очередь выполнять свой долг сыновьям.

Но какой бы невероятной ни казалась этим веселым ребятам возможность войны, эта возможность мрачным призраком неизменно стояла и за полями, и за лесами, и за самыми светлыми горизонтами. Поэтому и будут мчаться вот такие поезда, везти вчерашних школьников, студентов, рабочих к лагерям и казармам.

К месту службы.

Почти все, кто лежал, сидел на полках, резался в карты, зверски стучал костяшками домино, пел в одиночку или хором под веселый, не всегда искусный баян, копошился в углу над козинкой со снедью, читал, решал кроссворд, болтал с соседями, испытывали сейчас радостное возбуждение.

Жадное любопытство к новизне, стремление побывать в иных краях, гордость от сознания, что ты будущий воин, ожидание интересного и увлекательного, грусть от разлуки с близкими, тревога перед неизвестным — многие чувства наполняли сердца.

Какое чувство было сильнее, таким было и настроение. Почти у всех, у большинства во всяком случае, — бодрое.

У старшего лейтенанта Копылова оно было просто-таки приподнятое, чтоб не сказать восторженное.

Правда, Копылов не повобранец. Как раз наоборот. Его командировали в столицу, в военкомат, чтобы помочь в наборе ребят в свое соединение, и прежде всего в свою роту.

Он делал это не впервые и каждый раз, отправляясь в путь, испытывал то самое волнение перед неизвестным, какое ныне испытывали его подопечные. С кем столкнется? Что за ребята? Каковы они, их настроения, их стремления? Сумеет ли отобрать таких, каких хотел бы? И позже — сумеет ли привить им любовь и к своей части, и к своему роду войск, и к своей службе, да и к себе самому, старшему лейтенанту Владимиру Ивановичу Копылову, офицеру прославленной в боях орденоносной

гвардейской дивизии, где не то что разведчиком, а и поваром служить — великая честь для солдата.

К каждой такой командировке Копылов готовился, словно собирался сдавать экзамен в академию.

Теребя непокорные русые волосы, нахмурив лоб, он часами сидел за книгами, с блокнотом и пером в руках изучал стенды в комнате боевой славы.

Мысленно он репетировал свои беседы с повобранцами, представляя себе в собеседники самых разных людей.

Он пегодовал, злился, беседуя с равнодушным, недовольным, строитивым, уговаривал непонятливого, радостно улыбался, обнаружив старательного или пытливого, а порой робел, встретив очень ученого, все знающего и понимающего, да еще набравшего в аэроклубе сотню прыжков или — чего не бывает — имеющего звание мастера спорта по парашютизму...

Нынешние повобранцы были не те, что в его время, уже не говоря о временах более давних.

У каждого за спиной десятилетка или техникум, а то и один-два курса института. Они знали иностранные языки, разбирались в технике, имели спортивные разряды.

Чтобы учить таких, не рискуя обнаружить мимолетную усмешку или откровенное удивление на лице ученика, надо было много знать во многих областях, многое уметь, многое понимать.

А чтоб воспитывать эти сложные характеры, чтобы добиваться не слепого подчинения, а понимания и сознательного согласия, следовало быть не просто хорошим офицером, а таким Макаренко в погонах.

Иногда у Копылова руки опускались при мысли о трудности стоящих перед ним задач. Но проходил пабор, шла служба, все налаживалось и устранивалось. Были, конечно, и огорчения, и неприятности, и неудачи, но в конце концов, провожая очередных увольнявшихся в запас, вспоминая, каким кто был, каким стал, Копылов испытывал радость и гордость: за эти два года он вырастил не только хорошего специалиста, но воспитал в человеке добрые качества. А это куда важнее.

Особенно радовался Копылов, когда от бывших питомцев приходили письма. Он тогда зачитывал их в рот, восторгаясь, что тот воин защитил кандидатскую, а этот изобрел машину, другой улетел в Арктику или стал чемпионом города, поступил в театральное училище, сделал первую операцию аппендицита, женился, заимел ребенка, написал статью в газету, выступил в профессиональном, а не любительском концерте, окончил училище, получив офицерское звание.

Причин для радостей было много, и казалось, что все его воспитанники молодчаги, мировые ребята, способные, талантливые люди и многого добьются в жизни. В такие минуты Копылов как-то не думал о том, что те, кому в жизни не везло и кто мало чего добивался, обычно не писали.

Поглядывая на ребят, заполнивших вагон, Копылов размышлял, кто будет кто. С кем возникнут трудности, а на кого можно будет опереться в работе, кого порекомендовать замполиту Якубовскому в комсомольские войжаки.

У Копылова хранилась заветная тетрадь. В нее еще в военкомате, на комиссии, он заносил первые данные о призывниках: фамилию, имя, образование, в каком аэроклубе прыгал, сколько имеет прыжков.

С отобранными людьми беседовал и приступал к заполнению второй части своей тетрадки: кто каким спортом занимался, чего достиг, поет ли, играет, а может, силен в чечетке или в рисовании, что любит, чем увлекается, о чем мечтает...

Наконец, третий, самый интимный раздел содержал уже результаты наблюдений Копылова над людьми: кто мрачный, кто веселый, медлительный, вспыльчивый, обидчивый, энергичный, вялый. Каков с товарищами и они с ним, легко ли будет с таким работать. Иногда даже замечал, с кем именно придется особенно «потрудиться».

Вот тот, например, с ямочками на пухлых щеках и мечтательными голубыми глазами, что читает какую-то книжку, — это Дойшиков Сергей. Имеет три прыжка. Робкий. Услужливый. Немного рассеянный. Хорошо рисует.

А этот, Костров Георгий, распеваящий столь же громко, сколь и фальшиво, — весельчак, немного пахальный, кончил кинопотехникум, но работал директором клуба. С этим надо будет держать ухо востро.

У окна, устремив вдаль неподвижный взгляд, Игорь Сосновский, серьезный, вдумчивый, основательный. Мечтает стать инженером. Его уже уважают. Будет наверняка хорошим командиром отделения.

Иван Хворост (странная фамилия!) орешек потверже. Он всегда улыбается, на все один ответ «Есть!», не успеешь сказать, уже срывается выполнять. А в глазах словно затаилась насмешка: «В игрушки играете? Ну-ну. Мне что, могу и подыгрывать». И еще: вчера, выйдя в тамбур, Копылов застал там Хвороста с другим новобранцем, и ему показалось, что Хворост быстрым движением спрятал за пазуху бутылку. Но, может быть, только показалось...

Копылов поднял глаза. Да и этот вон, на верхней полке, что неподвижно лежит, заложив руки за голову, — Ручьев Анатолий. Вроде бы отличный парень — спортсмен, фигура — хоть статую с него леши, красавец, да к тому же по-английски шпирит, словно в Лондоне родился, на рояле играет. Машину водит. Правда, прыжков не имеет, да ничего, этот научится. Одна беда — в военкомате рассказали, что мамежкин сынок. Родители горы свернули, чтобы от армии уберечь. И сам, хоть старался во время беседы произвести впечатление хорошее, но Копылов сразу понял — призыв воспринял как трагедию, заранее всего боится и об одном только думает: скорее бы домой, к папе — режиссеру, маме — заслуженной артистке, а главное, к своей машине (девятнадцать лет, ни гроша не заработал — и своя машина — подарок папеньки!), к своим друзьям, к своим девочкам, к теннисному корту. Сдавал экзамены в институт — не прошел по конкурсу.

Жаль, ну ничего, бывали и не такие. Менялись. Он заранее настраивал себя на битву с Ручьевым, мирно лежавшим на полке и ничего, паверное, не подозревавшим о готовившихся ему испытаниях.

Копылов, таща за собой металлическую трубу, продолжал двигаться по проходу. Трубу эту перед самой посадкой раздобыл маленький, чернявый, крепко сбитый, удивительно быстрый и ловкий паренек, прозванный товарищами Щукарем. Он окончил автомобильный техникум и работал таксистом.

В порядке «проверки находчивости» Копылов попросил его поискать турник, которым можно было бы пользоваться в вагоне. До отхода поезда оставалось десять минут. Но Щукарь, повторив приказание, мгновенно исчез и столь же мгновенно возвратился, волоча отличную гладкую железную трубу, как раз нужной длины и диаметра.

Копылов подозрительно посмотрел в глаза Щукаря, встретил его ясный, певчий взгляд и от вопросов воздержался.

Теперь он переходил из отделения в отделение и, расположив трубу между двумя полками, предлагал ребятам подтягиваться, кто сколько может. Для Копылова умение подтягиваться на перекладине являлось весьма важным тестом. По нему он определял множество разных данных у своих подопечных: силу, ловкость, выносливость, упорство, волю, старательность, умение использовать советы и пример товарищей и многое другое.

Были такие, что еле подтягивались три-четыре раза, другие легко набивали десять — двенадцать раз.

Одни прятались, видя Копылова, приближающегося со своей трубой, другие следовали за ним по пятам, прося разрешения еще раз испытать свои силы. Когда очередь дошла до Ручьева, он молча вздохнул, слез с полки, легко подтянулся десять раз, но больше не стал, хотя, наверное, и мог.

Потом, выжидательно посмотрев на Копылова, не последует ли новых приказаний, снова залез на свою полку и, вынув из кармана элегантной заграничной куртки шариковую ручку и блокнот, начал писать письмо. Кому и о чем он писал, Копылов, понятно, не зная, но чуть ли не на каждой станции Ручьев выбегал из вагона и опускал очередное послание. Можно было подумать, что весь его небольшой красивый кожаный чемоданчик был набит конвертами, марками и бумагой.



## Глава II

Ну что ж — вот и все. Все кончено. Навсегда. Есть вещи, от которых уже не оправимся. Но почему-то мы всегда считаем, что катастрофы могут происходить только с другими, с нами — никогда. А когда они происходят с нами, для других это чужая катастрофа.

Впрочем, для моих стариков (господи, что было бы с мамой, если б она узнала, что я причисляю ее к старухам!) это тоже катастрофа.

Когда пришла повестка — «явиться...», «иметь с собой...», — не меня, а маму мы отпαιвали целый час. Вся квартира пропахла валерьянкой так, что кот ходил будто пьяный.

Зато когда она пришла в себя, начали отпайвать меня. Не валерьянкой, разумеется. Отец не пожалел даже свой многозвездный «Арманьяк», который приволок из гастролей во Франции.

Я понимал, что всему приходит конец, и, как обреченный, спешил насладиться последними радостями жизни. Потому что для меня армия — это не жизнь. Я совсем не хочу сказать, что для всех. Вот Володька, папкин шофер, отбарабанил свою службу и даже жалсет, что кончилась.

Я «культурист, теннисист и баловень женщин» — как выражается Эл, когда хочет быть милой. А такой на капе не проживет, даже если ему в день пуд давать. Мне мясо нужно, по-

нятно? И не просто мясо, а то, что умеет готовить только Дуся. (Мама правильно говорит — второй такой поварихи не найдешь во всем городе.)

Господи! Неужели все это ушло безвозвратно? Неужели я не войду снова в полуосвященный огромный зал, где журчит фонтан, где старик Тевлин дует в свою трубу так, что и безногому хочется танцевать? И не выйдет мне навстречу Николай Григорьевич, этаким викинг в смокинге, не усадит на любимый диванчик у левого торшера?

И не будут все заглядываться на Эл, на ее волосы, на ее ноги? Черт с ней, с Эл, в конце концов не будет эта, так будет другая Эл, но лишь бы была...

Как все это ужасно! Ребята говорят, что в армии могут задержать надолго, сверх срока, или послать в училище — тогда на всю жизнь. На всю жизнь! И ничего уже не будет никогда — ни заграничных поездок, ни курорта, ни прогулок на машине с Эл... То есть все, ради чего стоит жить.

Нет, конечно, я не такой уж болван, чтоб видеть только в этом смысл жизни. Я совсем не для того учил английский, чтоб, понав в Лондон, бежать на Цикадилли-Сиркус. Но ведь у каждого свое предназначение в жизни: для кого-то армия — это все, как вот для Копылова, например, старшего лейтенанта, что набирал нас в Москве, а теперь везет в «энское место». По одному тому, как сверкают у него пуговицы и затянут ремеш, я уже вижу смысл ЕГО жизни. Подъем! Кр-р-ругом! Отставить! Отбой!.. Он небось прочел и выучил наизусть больше уставов, чем я стихов. И счастлив. И дай ему бог.

Но я-то тут при чем? Я не хвасту, у меня хватает недостатков, но все-таки... С моими знаниями, культурой, происхождением (вон Аня Павловна говорит, прямо оксфордским), наконец, просто, уж простите за нескромность, с моей внешностью мыть уборные, топтать плац! Между прочим, дипломатов у нас не так уж много. МИМО<sup>1</sup> не МИМО, не сдал в этом году, сдал бы в следующем, но уж как-нибудь на этом поприще я бы кое-чего достиг.

И не потому я туда рвусь, что мне пужны Парижи и Нью-Йорки. Я действительно принес бы пользу там. И работал бы как следует. Раз уж старики мои дали мне такое образование, а потом и сам я к нему руки приложил, так используйте, цените!

Куда там! Кого это интересует? Рядовой Ручьев, кругом, ша-

<sup>1</sup> МИМО — Московский институт международных отношений.

гом марш! Целый вагон набили, небось человек сто. Есть наверняка хорошие ребята. Но они же не то что в английском, а и в русском ни бе ни ме. Спроси любого, где находится Локарно, он глаза вытаращит. Нет, серьезно!

Можно подумать, что завтра нас оккупирует армия Монако, если Анатолий Ручьев не встанет под боевые знамена. Без него мы, конечно же, проиграем любую войну! Не обойтись нашей Советской Армии без Анатолия Ручьева! Интересное дело — сидит комиссия в военкомате, кого там только нет, все специалисты. Отбирают! А вот нет чтоб посадить специалиста, настоящего, умного, который бы отбирал людей у них, у военных. Чтоб поговорил с тобой, понял, с кем имеет дело, — и «стоп, товарищи дорогие, этот не для армии, ему другое найдется дело».

Такого нет. Стоим мы все голые, хоть ты Шекспир, хоть Талейран, давай в строй! Удивительно!

И еще этот чертов культуризм-атлетизм! Дернула меня легкая запыться им. Девочек, видите ли, хотел поразить.

А между прочим, этот майор медицинский пощупал, и все труды Бориса Аркадьевича насмарку. Господи, уж как старались. Подарки небось мама к нему на грузовике возила. Уж такую справку Борис Аркадьевич сделал, мне самому и то плохо стало. Как прочел, прямо хоть на кладбище. И легкие гнилые, и сердце чуть держится, и ревматизм летучий, и полнота нездоровая, и геморрой в последней стадии, и даже склонность к шизофрении (это уж он переборщил!). Когда справку мою в военкомате посмотрели, полковник чуть не за стол спрятался, решил, наверное, что я сейчас кусаться буду.

— Да, — говорит, — кто бы мог подумать. Такой здоровый парень на вид. Никогда бы не сказал. Жалко. Тут, конечно, все ясно, но медкомиссию все же пройдите, такой уж порядок.

Что тут поднялось! Ей-богу, моей маме не в театре, а в разведке работать. За два дня она уже выяснила, кто в эту медкомиссию входит, кто главный, кто его жена, где живут. И пошла к этому майору домой. Лучше бы уж не ходила. Только вернулась, я уже понял, что все пропало. А она заперлась в спальне — ревет.

Словом, майор тот потом отвел меня в сторонку и сказал тихо, чтоб никто не слышал:

— Матушку вашу жалко, молодой человек, а то бы рассказал я вашим товарищам, какие у нас еще экземпляры встречаются. Ну да ладно. Из армии вернетесь — мне же спасибо скажете. Таким, как вы, послужить особенно полезно. Идите на весы.

Да, уж спасибо я ему скажу! Ему ведь что — сердце в порядке, руки-ноги есть, топай в строй. Быше шен таких ничто не интересует.

Действительно, никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Я ведь помню, как начал заниматься атлетизмом. Читал «Спортивную жизнь России». Там в каждом номере всякие упражнения, фотографии, письма. Хилый паренек был, позанимался год-другой и вот уже геркулес. Заинтересовался. Стал читать про это в английских журналах, в польских. Конкурсы. Стоят победители, рядом красавицы в бикини. Словом, увлекся. Даже теннис забросил. А между прочим, второй разряд имел. Тянул на первый. Не то чтоб я уж так теннис любил, но красиво, элегантно. Настоящий вид спорта для дипломатов. Я иной раз иду по улице Горького, и не на стадион вовсе, по ракетка в чехле с собой. Звучит.

А тут завел гантели, гири, эспандеры. Накачивался добросовестно. По несколько часов в день, откуда только воля бралась. По-мосму, я и МИМО свой прокачал. Во всяком случае, если бы я так развил свой интеллект, как бицепсы, я бы на сочинении не погорел.

Погорел, наверное, прилично, раз даже мамины связи не помогли. А сколько она перед этими экзаменами бегала, сколько хлопотала...

Сдал бы, не сдал сейчас в таком вагоне. Первый раз еду в общем. Раньше наверняка бы ночь не спал. А сейчас еду, ничего. Разве это главное, это только начало — подумаешь, вагон. Скоро в казарме буду, где пары в три этажа, триста человек в одном помещении! Да только ли это!

А ведь как было...

В десятом я школу не очень баловал своим присутствием. Но в институт все же готовился, старался. А вот уж после неудачи руки опустил. Некуда стало время девать.

Отец мне за десятилетку «Запорожен» преподнес. Спасибо, конечно. Но лучше бы он мне какую-нибудь наследственную близорукость или там плоскостопие подарил. Не трясся я бы сейчас в этом вагоне. Ну, а тут все друзья-приятели налетели. Одно время я в извозчика превратился. Что ни вечер — звонки: «Выручи, выпили, отвези домой». А я, конечно, ни капли. Разве можно — за рулем!

В общем, послал я их всех. Но все же, наверное, от Земли до Луны километраж пакатал.

В основном с Эл — Элеонорой Мангустовой (надо же такое имя, а главное фамилия — Мангустова!). Конечно, девчонка она

красивая, с такой пойдешь, незамеченным не останешься. Но явно не Жорж Санд. Чего нет, того нет. Появляться с такой на раутах и приемах здорово, но при условии, что она не будет раскрывать рта.

Впрочем, теперь это уже не имеет значения. Если б Ручьев стал не посланцем, а советником, и не в Лондоне, а, допустим, в Сиднее, это еще куда ни шло. Но чтоб леди Элеонора Мангустова стала офицерской женой, жила в гарнизоне — пардон!

Ну и черт с ней!

А в общем-то жаль. Как улыбнется, не зубы — жемчуга, ресницы длинные опустит, положит голову на плечо... Ну почему мне так не повезло? Почему?

Ведь есть же люди, никогда не надевавшие военной формы. Папа, например.

Я не говорю про войну. Это — другое дело, тогда все воюют, хоть и дипломат на своем посту приприсит иной раз не меньше пользы, чем генерал на фронте.

Но в мирное-то время зачем меня?..

И куда теперь всунут? Ведь могут загнать в такое место, что в письмо будет месяц идти.

Хорошо еще, что я попал в воздушнодесантные войска. Они, наверное, где-нибудь в цивилизованных краях, а вот ракетчики небось все два года из-под земли не вылезают.

Вообще, десантники — это звучит. Современные войска, сегодняшнего дня. И форма красивая. Как выдадут — сфотографируюсь. Поплю Эм — погибнет! Надо будет только автомат взять в руку, гранату привесить куда-нибудь и каску надеть. Нет, каска хуже, берет красивей. Может, удастся цветное фото сделать. Надо у этого парня спросить, как его, Сосновский, степенный такой, у него с собой аппарат.

А попал я в парашютисты из-за Копылова.

В комиссии председательствует военком, но там же, в военкомате, присутствуют представители из разных родов войск. В десантники отбирают лучших. При участии Копылова, разумеется.

Ну я, конечно, стараюсь к нему. Раз уж загремел в армию, так хоть к лучшим.

Он посмотрел на меня, улыбается.

— Такому и автомат не нужен, голыми руками любого противника задавишь. Борец небось? Или штангист?

— Теннисист, — говорю.

Он удивляется.

— Теннисист? Что-то не похоже — вон ручки да и кожные.

— Это я культуризмом занимаюсь, — объясняю.

Мне показалось, он как-то прощически посмотрел на меня. Ничего, думаю, уж такого, как ты, я одной рукой раздавить могу. Он действительно парень не очень, худоватый и ростом не Эйфелева башня.

— С парашютом прыгал? — спрашивает.

— Нет, — отвечаю, — так тут, наверное, еще никто не прыгал.

— Ошибаешься, — говорит, — тут, я имею в виду тех, кого в ВДВ отобрали, почти все по три, а то и больше прыжков имеют. В аэроклубах ДОСААФ занимались. Ну, а что умеешь? Может, радиолюбитель?

— Нет, — говорю, — машину вожу.

Смотрю, оживился:

— В автоклубе занимаюсь?

А я так небрежно:

— Зачем в автоклубе? У меня своя машина есть. Так что практики хватает.

Он опять как-то странно глядит.

— А исправить, если что сломается, можешь?

— Могу, — отвечаю.

Но сам-то знаю, что и колеса сменить не сумею. Чуть что, Володя паник мне все делал. Да он моего «Запорожца» и мыл, и чистил, и заправлял. Больше небось, чем о служебной машине, заботился.

— Не рисуешь, случайно? — Копылов меня спрашивает. — Или, может, играешь на чем?

— Играю на пианино, на гитаре, на банджо, на ударных. Пою еще.

— Ну, брат, смотри-ка, — радуется, — может...

— Еще английский знаю, учил дома.

— Талант! — улыбается. — А прыгать научишься. Парень здоровый, спортсмен, значит, смелый.

Вот так я и стал десантником. То есть пока еще не стал, но стану. А там, может быть, переведут в Москву каким-нибудь ездовым, так что можно будет по воскресеньям, а то и по вечерам домой сматываться. Уж это мать устроит.

Главное, чтоб ей удалось в Москву перетянуть. Когда я уезжал, она клялась, что и месяца не пройдет, как она меня вызовет. Даже крестилась (хотя никогда в бога не верила, она, по моему, только в знакомства верит).

Напишу сейчас очередную слезницу. Пусть там не остывают, пусть действуют. И Эл тоже напишу. Чтоб не очень забывала. А то она хоть и рыдала, и чуть не задушила, прощаясь, но я ее знаю. С глаз долой — из сердца вон.

Дорогая ма!

Просто не знаю, о чем писать. С момента отъезда у меня на глаза словно опустилась пелена. Я лежу на полке, никогда не думал, что она может быть такой жесткой, и думаю, думаю, думаю...

О сне не может быть и речи. Во-первых, шум, крики, свет, а главное, мысли. Они гложут меня и подтачивают душевные силы, словно прилив скалы.

Я даже не чувствую голода, хотя почти ничего не ем. То, что ты дала с собой — эти две корзины, — я роздал товарищам.

За окном мелькают унылые поля, суровые пейзажи (к сожалению, не могу подробней описать, чтобы не разгласить военную тайну).

Я вспоминаю нашу уютную квартиру, мою комнату. Ты знаешь, ма, мне хочется плакать...

Как мой «Запорожец»? Следит ли за ним Володя, не забросил ли? А Дуся? Готовит ли она мои любимые пончики? Эх, сейчас бы те пончики с горячим чаем! Что-то поскребывает горло.

Простудился, но нет рядом нашего Бориса Аркадьевича. Помнишь, как я всегда смеялся над его каплями и пилюлями, а ведь он был прав: это я только на вид богатырь, все это внешнее. Чувствую внутри какую-то странную ломоту. Впрочем, не буду об этом писать. Ты и так, наверно, переживаешь. Свои огорчения солдат должен оставлять при себе.

Ребята здесь разные. Но пока еще ни с кем не сблизился.

Что касается нашего командира — старшего лейтенанта (фамилию, поскольку это военная тайна, сообщить не могу), то он, может, и ничего, но казармой от него несет за километр — знаешь, такой: «Команде петь песни и веселиться!»

Это он нас взбадривает, чтобы мы, так сказать, были brave, а не вешали носы, вроде твоего сына.

Подождал он ко мне сегодня утром и спрашивает: «Ну как, Ручьев, осваиваетесь?» Я иронически улыбнулся. «Ничего, привыкнете, домой не захочется». Ты понимаешь, домой не захочется!

Но я все выдержу, пожалуйста, ма, не беспокойся за своего сына. Во всяком случае до момента, пока меня переведут в Москву или хотя бы куда-нибудь поблизости.

Ребята говорят, что там, куда мы едем (ты понимаешь, конечно, что я не смогу сообщить куда), очень тяжелые условия. Письма идут месяцами, звонить нельзя, цивилизации никакой. А вот если служить в Москве, то можно даже ночевать дома, а уж воскресенье проводи как хочешь. Представляешь, ма, как будто я и не уезжал, все время с тобой, возможно, даже удастся поступить на заочный.

Как отец? Ты ему не рассказывай, о чем пишу. Так, в общих чертах. Зачем вам обоим расстраиваться.

В конце концов, ведь ничего сделать нельзя. Разве что тебе удастся поговорить, как ты хотела, с Николаем Федотовичем — ты была уже у него на приеме? Или с генералом Русановым — говорят, он все может. Ты выясни. Мне сказали, что его адъютант, Сулагунцев, помещен на театре, вернее, его жена. Может, ты просто будешь им билеты посылать? В общем, смотри. И еще Анну Павловну попроси — помнишь, она тогда говорила, что у нее причесывается дочка какого-то босса из военторга. Ну, все пока, дорогая ма, поцелуй папу. Не расстраивайся. Все будет о'кей.

Твой Толик.

Добрый вечер, Эл!

Мы простились четыре дня назад, а кажется, что прошла вечность.

Я не перестаю думать о тебе. Однообразно стучат колеса. Я отложил свой автомат и мечтаю. Я не замечаю суровых неудобств военных будней. Мне не жестка каска под головой и не тяжела граната у пояса. Мои солдаты спят — меня уже назначили командиром отделения. А ко мне сон не приходит. Только что наш командир, майор, советовался со мной насчет спортивных дел. Вообще я сразу занял здесь особое место. Честно говоря, не знаю почему. Но как-то так получилось, что ребята признали меня старшим, а начальство то и дело вступает со мною в контакт.

Я ничего не могу тебе сказать, ты сама понимаешь, но часть, в которую нас направляют, видимо, особая. Поэтому, если я надолго умолкну — не удивляйся. Ну, а если навсегда — не печалься, Эл. Ты красивая, тебя будут многие любить. Но мне бы хотелось, чтоб ты, пусть в самом далеком уголке сердца, сохранила навсегда воспоминание обо мне...

Я начал писать тебе очередные стихи. Посылаю первую строфу.

*Вот последняя пара рубах; вот перчатки, вот книги в дорогу.  
Вот уложен и заперт мой старый, простой чемодан.  
Где-то буду теперь? Никому не известно — ни богу,  
Ни меня провожавшим, незнакомого взгрустнувшим друзьям.*

*Ну как? Тебе ведь нравились мои стихи или пока я нравился сам? Ты знаешь, если разлюбишь, пожалуйста, сожги их к черту. Мне невыносима мысль, что ты когда-нибудь будешь читать их и посмеиваться. Впрочем, читай. Они не так уж плохи. Недавно Анна Павловна говорит про меня: «Наш Евтушончик».*

*Эй, я хочу, чтобы ты писала мне почаще. Я знаю, ты не великий любитель эпистолярного жанра. Но, пожалуйста, пиши, пока помнишь...*

*Кончаю письмо. Как корешки? Как дамы? Всем привет. На вечерках не забудьте ставить рюмку для меня и провозглашать: «За тех, кто вдалеке!»*

*Позвони моим старче и спроси как будто между прочим, не переводят ли меня поближе к дому.*

*Целую тебя.*

*Твой пап Анатолий.*



### Глава III

Ни один, даже самый впечатлительный новобранец из тех, что приближались в грохочущем поезде к конечному пункту своего путешествия, не волновался сегодня так, как генерал-майор Ладейников, командир дивизии. Уже сколько лет прошло, а он так и не научился преодолевать в этот день волнение.

Казалось бы, какие к тому причины?

Пу раскроются ворота, войдет в них колонна запыленных, пахнущих потом парней с мешками и чемоданчиками, озираясь по сторонам, кто растерянно, кто с любопытством, кто неуверенно, а кто и по-хозяйски.

Пройдут традиционный церемониал и рассеются по своим взводам и ротам. И превратятся в людскую массу, которая именуется дивизией. Станут как бы одним человеком, жизнью и судьбой, радостями и печалью которого единолично распоряжается он, Ладейников.

Но в том-то и дело, что прошедший всю войну, и горькие, и славные ее дни, не один десяток лет командовавший подразделениями и частями, Ладейников никогда не признавал дивизию за одного человека.

Нет, дивизия — он это хорошо знал — это тысячи людей, среди которых не было двух одинаковых. И каждый из этих запыленных, волнующихся парней проносил через ворота вместе со своим мешком или чемоданчиком целый мир — мир воспоминаний и представлений, привычек и желаний, достоинств и пороков; мир друзей, близких, любимых; мир сожалений и мечтаний.

Здесь, за железными фигурными воротами, всем им предстояло столкнуться с новыми гранями жизни, многое приобрести, со многим расстаться, быть может, так измениться, что тех, кого они оставили где-то далеко, и не узнают их совсем через два года.

Пройдет какое-то время, каждый пойдет своим путем — путей тех тысячи, — и кто знает, не будет ли иной через много лет в генеральских погонах расхаживать по кабинету и так же, как сегодня он, Ладейников, волноваться, ожидая новое пополнение своей дивизии.

Угадать, кто кем хочет стать и кем станет, помочь в выборе пути, помимо всего другого, тоже обязанность армии, а значит, и Ладейникова, и подчиненных ему офицеров.

Ох, какая почетная, но трудная обязанность. Вот потому и волнение.

Раздался короткий энергичный стук в дверь, и почти сразу же вошел полковник Николаев, начальник политотдела.

Коренастый, большеголовый, он быстрым шагом приблизился к Ладейникову и доложил:

— Все готово, товарищ генерал. Через двадцать минут будут на месте.

Потом сильным движением пожал протянутую руку.

— Ну что, пойдете, Василий Федотович?

— Пойдемте, Николай Николаевич. — Ладейников поправил китель, бросил взгляд на ботинки, проверяя их блеск, и направился к двери.

Можно было подумать, что он идет на доклад к министру, а не на привычное мероприятие — принимать пополнение.

По мере того как командир дивизии продвигался к плану, свита его обрастала новыми лицами. Начальник штаба, заместитель по воздушнодесантной подготовке, заместитель по тылу... Молча, сосредоточенно они шагали за высокой фигурой

генерала, останавливались, когда он неожиданно останавливался, ускоряли шаг, когда ускорял он, наконец задержались в дверях казармы, в которую по пути заглянул командир дивизии.

Он внимательно выслушал лихой доклад дежурного по роте, выскочившего, подобно чертику из коробки, откуда-то из-за косяк, придирчиво оглядел занор на решетке оружейной комнаты, зашел в бытовую и приказал в его присутствии проверить розетки для электрических бритв. Потом, остановившись посреди огромного помещения, строгим взглядом окинул ряды выровненных косяк.

Дежурный по роте, вытянувшись, смотрел на генерала озорным, даже каким-то вызывающим взглядом, словно хотел сказать: «Попробуй-ка, найди непорядок. Черта с два!» Ладейников любил таких солдат — тех, что при появлении начальства не робеют в боязни придирок и разносов, а, наоборот, испытывают некий радостный подъем, убежденные, что старания их и безупречная служба будут оценены по заслугам. Таких солдат, что в разговоре с генералом кроме «есть» и «так точно» имеют другие слова и в карман за ними не полезут.

Ладейников не любил солдат хвастливых и развязных, а любил находчивых, удалых, веселых и остроумных, которыми радостно командовать, с которыми приятно служить и на которых в минуту настоящей опасности можно положиться.

При виде таких он почему-то всегда представлял себе бородинские окопы, севастопольские редуты — словом, русского солдата, умного, лихого, веселого и неумного, бесцельного в дружбе, бесстрашного в бою, такого, каким его знает история.

Сам боец и рубака до мозга костей, он узнавал в этих отчаянных ребятах в голубых беретах и тельняшках себя молодого, себя их лет...

Только на голове у него, девятнадцатилетнего, не было тогда голубого берета, а была помятая каска, и не в просторных классах, в светлых столовых и клубных залах доводилось ему бывать в те времена, а в ледяных окопах, где пахло сырой землей, пороховой гарью и мокрым деревом.

От ворот донеслись звуки оркестра, и Ладейников торопливо зашагал к выходу. Он остановился в стороне, в тени лип, окаймлявших плац. В соответствии с данным ранее приказанием с докладами к нему не подбегали и команд не подавали.

Оркестр гремел, в солнечном свете сверкали металл труб и медь тарелок, мелькали колотушки большого барабана. Вдоль плаца, под липами, собрались свободные от службы офицеры и солдаты, дежурные по кухне в белых курточках, пришла, торжес-

ливо вытирая фартуком руки, Вера Васильевна, популярная и любимая в дивизии повариха офицерской столовой, вечно занятая делами.

В воздухе стоял запах разогретого асфальта, жаркой пыли, от лип тянуло медвяным ароматом.

Шаркая ногами, выстраивались на плацу вновь прибывшие. В своих запыленных ботинках, помятых штатских брюках, разномастных шиджаках они казались неуместными и странными в этом сверкающем мире чистоты, порядка и дисциплины, среди блестящих, грохочущих труб и барабанов, нарядных офицеров, полтянутых солдат...

Молча оглядываясь, они топтались посреди плаца, вытирали платками вспотевшие шеи. Ждали.

Прозвучали короткие слова команды. Шурша подошвами об асфальт, новобранцы выравнивали строй, застыли в молчании.

Командир полка — стройный, с осиной талией, с длинными элегантными бачками на румяных щеках — вышел вперед.

Коротко, четко он сообщил новобранцам, куда они прибыли, в какое соединение, какова дальнейшая программа. Назвал по фамилиям и званиям командиров.

Опять команды, чтение списков, опять недолгое шарканье. Теперь вновь прибывшие построились в соответствии с теми подразделениями, куда были определены.

Старший лейтенант Копылов застыл перед пополнением своей роты. Ровным голосом он зачитывал списки отделений, называл фамилии командиров. Представил своего заместителя старшего лейтенанта Якубовского, красавца и атлета, стоявшего рядом и внимательно вглядывавшегося в лица тех, чьи фамилии назывались, будто хотел вот прямо сейчас, тут же, узнать про них все. Закончив представление, Копылов посмотрел на часы и сказал:

— Через десять минут в баню и переодеваться!

Одна за другой, уже распределенные по своим будущим ротам и взводам, группы новичков покидали плац во главе со старшинами.

Покинул плац и командир дивизии.

Уходя в приподнятом настроении, довольный первым внешним осмотром. Его опытный взгляд заметил все. За менюватой порой штатской одеждой разглядел спортивную осанку, угадал силу в не знавших, куда себя деть, руках. С радостью подумал о том, что с каждым годом призывники выше ростом, шире в плечах. Ладейников уже видел их умелыми десанниками, ладными, ловкими, быстрыми, уверенными в себе.

Правда, к тому предстоял еще долгий путь, но генералу не терпелось уже сейчас поделиться своими мыслями.

— Ну, что скажешь, Николай? — Он обнял за плечи начальника политотдела. — Какие орлы! Какие ребята!

Полковник молчал. Он был осторожнее. Ему мало было роста и силы вновь прибывших. Начальник политотдела в первую очередь отвечал за сердца и души солдат, а в таких делах по ширине плеч и размеру ботинок судить трудно. Впрочем, он тоже был доволен.

— Обедать ко мне, — сказал генерал. — Ты на холостом положении, а первая обязанность командира — забота о подчиненном.

Жена Николаева уже месяц находилась в другом городе у постели больного, одинокого отца, и Ладейников частенько приглашал заместителя к себе на обед.

Обеды эти нередко превращались в деловые совещания, а иной раз комдив пускался в рассказы о своей богатой приключениями военной жизни. Николаев любил эти рассказы, сосредоточенно слушал, где-то в глубине души затаив добрую зависть, — самому ему на фронте побывать не довелось. Так уж сложилась жизнь: учился в академии, потом работал на формировании частей, служил в училище. Зато у Ладейникова военной биографии хватало на двоих.

А новобранцы шли в баню.

Расположенное в одном из уголков военного городка, это приземистое кирпичное здание, над которым возвышалась огромная труба, пользовалось большой популярностью. То ли фанатическая любовь к бане комдива передавалась его подчиненным, то ли это вообще стало традицией, но баню десантники любили и стремились попариться поскорее.

Баня была огромной, тщательно отделанной и поразительно чистой.

Вот сняты штатские доспехи — заграничная куртка, брюки из тергаля, замшевые туфли. Пренебрежительно пройдя мимо шаек и скамей, Ручьев встал под осколок цивилизации — душ.

Он привык на пляже и в бассейне ловить на себе завистливые или восхищенные взгляды. Мало кто из его сверстников мог сравниться с ним телосложением.

Однако здесь, в этой прозаической, общей бане, он с ревнивым чувством убеждался в том, что его новые товарищи мало чем уступают ему. Сам спортсмен, он без труда угадывал силу упругих, тренированных мышц, отмечал уверенность, ловкость движений. Да, все это были крепкие ребята, спортсмены, силь-

ные, гибкие, а некоторые просто богатыри. И когда настала очередь подбирать обмундирование, старшина то и дело кричал:

— Вот черти! Вымахали! Не напасешься. Ну где я на них наберу, товарищ гвардии лейтенант? Хоть филиал «Богатыря» открывай.

Суэта, возня, крики долго не смолкали, пока наконец новобранцы хотя бы по внешнему виду не превратились в солдат. Еще не одну неделю они будут без конца одергивать рукава, поправлять ремеш, сдвигать пилотку, добиваясь, чтобы все было пригнанным, сидело ловко и ладно, как сшитое на заказ.

Копылов, расположившись на скамеечке под ливнем, ожидал своих подопечных.

К нему подсел его, как говорили в дивизии, «друг-соперник» и «высокоцитимый коллега» старший лейтенант Васнецов. Он тоже командовал ротой и тоже вот-вот должен был стать капитаном. Они одновременно пришли в училище, одновременно его кончили, и были оба направлены в эту гвардейскую дивизию.

И всегда во всем соревновались: на самбистском ковре и в кроссе, в тире и на волейбольной площадке, в учебе и в сдаче экзаменов. А позже — в подготовке своих солдат.

При этом постоянно спорили, не имея, казалось, ни одного вопроса, по которому придерживались бы сходных взглядов.

Васнецов — высокий, стройный, щеголевато подтянутый — с явным неодобрением наблюдал, как Копылов пускает к небесам колечки сизого дыма.

— И курит, и курит, и курит... Просто удивительно, сколько за день ты выкуриваешь. Две пачки, три?

— Одну. — невозмутимо сообщил Копылов и, сделав паузу, добавил: — Неполную.

— Авторитет теряешь, — Васнецов говорил серьезно. — Учишь солдата, что пить вредно, курить вредно, спортсменам тем более, а сам пример подаешь.

— Подаю, — охотно согласился Копылов. — Но, — и он поднял указательный палец, — тут же учу: не во всем командир пример.

— А как же Устав? Статья пятьдесят четыре? «Командир должен подавать пример безупречного поведения», — ядовито заметил Васнецов.

— Нарушаю, — согласился Копылов, — а ты? Где в Уставе сказано, что командир должен быть сухарем, что, как завидит солдата в радиусе десяти километров, должен поджать губы, нахмурить брови и перестать говорить по-человечески, а только цедить слова?

— Это — я?

— Это — ты.

— Не по тому пути пошел, — грустно качая головой, констатировал Васнецов, — в писатели бы лучше подался. В научную фантастику. Цены б тебе не было. Смотри-ка, на протяжении одной сигареты написал целый литературный портрет гвардии старшего лейтенанта Васнецова Эп Ге!

— А что, не прав? Ну скажи, Николай, ты вот за все годы, что служишь, хоть одному своему солдату сказал «ты»?

— Ну и что? Есть Устав, и в Уставе...

— Да брось ты. При чем тут Устав? Это ты такой, а не Устав. Если мне па два дня раньше, чем тебе, капитана дадут, ты небось и со мной эти два дня па «вы» будешь...

Васнецов не ответил.

Со склада начали выходить и строиться солдаты. Пора было идти к ним.

— Итак, товарищи, — громко и торжественно произнес Копылов, обращаясь к притихшему строю, — теперь вы солдаты Гвардейской Краснознаменной воздушнодесантной дивизии. После присяги получите гвардейские знаки. Надеюсь, вы понимаете, к чему вас это обязывает. Сейчас вы будете в карантине, пройдете курс молодого бойца, примете присягу. После мандатной комиссии вас распределят по подразделениям, и в случае боевой тревоги вы, даже находясь в карантине, займете места ванных уволешных в запас товарищей согласно боевому расчету. Завтра с утра я покажу вам расположение части. А пока старшина отведет вас в палатки.

— Рота, смир-рно! Напр-р-раво! Шага-ам марш! — гулко разнесся голос старшины. Пока еще не совсем в унисон, шеренги затонали, удаляясь в сторону лагеря.

Копылов, не двигаясь, долго смотрел им вслед.

У границы военного городка, на отшибе около оврага, стояли палатки.

Место было возвышенное, легкий ветерок доносил сюда горький полынный дух, аромат трав, запах пыли со светлевшей в долинке проселочной дороги, по которой изредка проезжал бензовоз или «газик». Порой слышались то глухие, то ясные и четкие звуки выстрелов — недалеке находилось стрельбище.

К палаткам вела хорошо утрамбованная тысячами ног дорога. По ее сторонам высились на небольших каменных подставках бомбы и снаряды из дерева и фанеры. Они были сделаны не очень искусно, краска вылиняла и облупилась, и, прочтя на прибитой табличке, например, «авнабомба, начиненная троти-

лом, вес 2000 кг», особого почтения никто к ней не испытывал.

Палатки стояли ровными рядами, перед каждым рядом возвышался щиток с боевым листком. Метрах в ста располагались летние классы, похожие на беседки в детских садах — у каждой группы своя.

Только таблицы с изображением танков, самолетов, орудий, висевшие в этих беседках, говорили о том, что занимаются здесь не малыши, и делами совсем не детскими.

Ручьев, Дойников, Костров, Сосновский, Хворост и Щукин попали в одно отделение и жили в одной палатке. Командиром отделения временно — до конца пребывания в карантине — назначили Сосновского. Когда ему сообщили об этом, он сказал «есть». А вернувшись в палатку, внимательно посмотрел в глаза товарищам. И всем стало ясно, что он начальник.

Свой авторитет Сосновский укрепил в тот же день с помощью несколько необычного педагогического приема. Около девяти вечера, в личное время, в палатку заглянул Хворост и, хитро подмигнув, высунул из кармана головку зеленоватой бутылки.

Сосновский молча и понимающе кивнул и указал глазами в сторону кустарника на другой стороне оврага.

Так же молча он направился туда, а за ним с минутным интервалом в целях конспирации проследовали Хворост, Костров и Щукин.

Забравшись в кустарник, все уселись по-турецки, в кружок. Потирая руки, Хворост достал бутылку, подкинул на руке.

— Погоди, — тихо сказал Сосновский, — дай-ка сюда. Не знаешь, как с ней обращаться.

— Я не знаю? — Хворост был возмущен. — Да я...

— Дай, покажу, — потребовал Сосновский, чуть-чуть повысив голос, и, когда Хворост нехотя протянул ему бутылку, резким и коротким движением разбил ее о камень. — Вот так с ней обращаются, — сказал он опять очень тихо. — Ясно? По крайней мере, на все время, что мы здесь. Вопросы есть?

И он обвел своих потрясенных товарищей спокойным, внимательным взглядом.

Потом встал и неторопливо пошел обратно в лагерь.

Первым нарушил молчание Костров.

— Выпили, — констатировал он с явным злорадством, неопытно к кому относившимся.

— Ну ладно, ну погоди... — бормотал Хворост, — ничего, ничего...

Щукин только махнул рукой.

Утром Ручьев, засунув руки в карманы, стоял перед боевым листком и с улыбкой невыразимого, как ему казалось, презрения читал бичующие сатирические строки:

Ручьев что днем, что ночью руки  
В карманы убрал,  
А как услышит мошек звуки,  
Их тут же вынимает.

Под обличительным четверостишием был изображен солдат с четырьмя руками — две были глубоко засунуты в карманы, а две жадно хватали ложки и дымящиеся котелки.

— Поэт... Бальмонт... — вложив в эти слова всю иронию, на какую был способен, громко произнес Ручьев и оглянулся. Но заряд пропал даром: поблизости никого не было.

— Взвод, выходи строиться! — раздалась громкая команда. И Ручьев, выпростав руки из карманов, побежал к месту построения.

На следующий день была экскурсия. Старший лейтенант Копылов намерен был в соответствии с традицией провести своих подошечных по расположению части, все показать, объяснить. Пока в общих чертах.

Современный военный городок, в котором квартирует дивизия, это целый город. И совершить по его расположению экскурсию дело крайне увлекательное.

— Это гостиница, — кивком головы Копылов указал на аккуратное двухэтажное здание, расположенное у ворот.

— Для кого? — раздался из рядов чей-то голос.

— Для твоей девушки, — ответил Копылов. Послышался смех. — Вот приедет к вам в гости девушка, или мать, или бабушка, остановится в этой гостинице. А вопросы, между прочим, будете задавать, когда скажу.

— Ясно, — раздался тот же голос.

— Спасибо, — поблагодарил Копылов под новый взрыв смеха. — Это, — продолжал он, — штаб. Там командир части, службы, дежурный по части и так далее. Там же Знамя части. Около него находится пост № 1. Его доверяют обычно лучшим солдатам части. Хотелось бы, чтобы вы тоже побывали на этом посту.

Копылов, как заправский экскурсовод, вел своих людей — ему не хватало только указки.

— Клуб. Думаю, не каждый населенный пункт может похвастаться таким.

Действительно, огромный зал, отделанный деревянными панелями, фойе, библиотека, широкие лестницы, просторные буфеты — все было настолько городским, что у Ручьева завыло сердце.

— В казарму не веду, переедете — сами познакомитесь, — продолжал Копылов. — А вот тут придется задержаться. Тут вы будете проводить немало времени. Это спортивный городок.

Некоторое время солдаты стояли молча. Спортгородок и впрямь был великолепен.

В огромном неглубоком котловане меж газонами и цветочными клумбами, на плотно утрамбованных песочных площадках стояли десятки перекладин, брусьев, помостов с наборами гири, гантелей, штанг, гимнастические скамейки. Ввысь возвышались столбы, с перекинутых по ним балок спускались шести и канаты. От площадки к площадке шли прямые асфальтовые дорожки. Снаряды были выкрашены белой и красной краской. И эти краски, и яркость цветов и золотого песка, и зелень травы создавали какое-то приподнятое, радостное настроение. Больше всего поражали удивительная чистота и аккуратность всех этих цветников, газонов, дорожек. Нигде ни единой бумажки, щепки, бечевочки. Казалось невероятным, что с утра до вечера посмешино несколько сот человек занимаются здесь спортом.

Вокруг на зеленых валах шестистеги листвою липы.

Одну из сторон прямоугольника, в котором располагался городок, занимало странное сооружение.

На высоких столбах из конца в конец, то поднимаясь на пятиметровую высоту, то опускаясь, бежал эдакий рельсовый путь из балок с поперечными частыми шпалами в виде круглых жердей. Это было похоже на транспортер для багажа, который Ручьев видел однажды на московском аэродроме, когда встречал прилетающего из-за границы отца.

Тоже вот такие круглые жердочки — они вращались, и по ним скользили чемоданы, сбрасываемые без особой деликатности с грузовых тележек.

Только здесь жердочки не вращались, они были намертво зажаты между балками и сверкали полированной желтизной.

Заметив любопытство солдат, Копылов усмехнулся.

— Вот подтягиваетесь за жердочку на одном конце и, перебирая руками, на весу, двигаетесь до другого конца. Общая протяженность метров сорок. Кто хочет попробовать?

— Я, я, я, — раздался голоса.

Первым выскочил Костров. Сбросив ремешок, он ловко подтянулся. Вверх, вниз, снова вверх и все время вперед от жердочки к жердочке. Постепенно движения его стали замедляться. У главного подъема он уже еле двигал руками и наконец сыркнул на дорожку.

— Ну что вы, товарищ гвардии старший лейтенант. — Костров махнул рукой. — Тут и в спортивном костюме не одолеть, а уж в сапогах-то...

Копылов улыбался.

— Вот командующий к нам приезжал и, когда сюда пришел, то же самое сказал. Мы его попросили вызвать любых троих, первых попавшихся. И все трое одолели.

Солдаты молчали, недоверчиво поглядывая на Копылова. Еще несколько человек попробовали свои силы, но также безуспешно.

— Ничего, — утешил Копылов, — держу пари с любым, что к концу службы будете на этой штурмовине, как на бульваре, прогуливаться. Еще песни напевать.

Солдаты заулыбались.

— Пошли дальше, к канатам и шестам.

В это время к городку приблизилась еще одна группа новобранцев — старший лейтенант Васнецов тоже проводил экскурсию.

— Взвод, стой. Направо! Равняйся! Смирно! Вольно! — слышался его зычный голос. — Объясняю. Дорожка для подтягивания. Необходимо подтянуться и на одних руках осуществить переход до другого конца.

— Невозможно... — проговорил кто-то.

— Рядовой Трубин, выйти из строя! — резко командовал Васнецов.

Трубин не очень уверенно, проталкиваясь, вышел вперед.

— Рядовой Трубин, паряд вне очереди за разговоры в строю. Повторите!

— Есть паряд вне очереди, — уныло повторил Трубин.

— Рядовой Трубин, — еще громче произнес Васнецов, — паряд вне очереди за разговоры в строю!

— Есть паряд вне очереди за разговоры в строю, — еще печальней пробормотал Трубин.

— Ставитесь в строй.

Трубин хотел было повернуться, но, слохватившись, повторил:

— Есть встать в строй.

Даже не поглядев ему вслед, Васнецов подошел к первой

жердочке и, не расстегнув ремня, не сняв фуражки, уверенными, ловкими движениями начал перебирать руками.

Солдаты молча смотрели, как он закончил путь на другом конце сооружения, прыгнув на землю и осторожным шагом вернулся к ним.

Только краска, еще не сошедшая с лица, и бисеринки пота над губой свидетельствовали об испытанном напряжении.

— Равняйся! Смирно! Налево! — командовал Васнецов своим обычным, ровным голосом.

Солдаты Копылова, стоявшие у канатов и шестов, с любопытством следили за всей этой сценой. Потом словно по команде перевели взгляды на своего командира, но тот продолжал объяснения.

— А теперь, — объявил он, — идем в спортзал.

Зал оказался не менее великолепен, чем городок, — гигантское помещение, в котором можно было играть в баскетбол и волейбол. У стен висели перекладины, опускавшиеся автоматически одним нажатием кнопки. Так же с помощью кнопки поднимались утопленные в полу бруссы.

В отдельном небольшом зале был оборудован тяжелоатлетический помост, в другом — ринг, в третьем лежал мат для борьбы и самбо.

Здесь тоже все сверкало чистотой.

Лучи солнца проникали в большие, добросовестно вымытые окна, защищенные сеткой, и ложились широкими бликами на натертый пол.

Копылов предложил солдатам попробовать снаряды. Сразу же загремела штанга, гулко зазвучали голоса и смех, закричали перекладины.

Тут Ручьев смог показать себя. Снисходительно улыбаясь, он раз за разом, словно это ему ничего не стоило, поднимал и поднимал штангу.

— Ну даст Ручей! — восхищался Дойников, раскрыв рот и глядя на Ручьева своими огромными голубыми глазами.

— Подумаешь! — фыркнул Щукин. — Эй, Ручей, иди, побремся!

Не успел Ручьев выйти на мат, как Щукин быстрым, ловким движением, схватив за рукава, перебросил его через себя.

— Ой Щукарь, ну Щукарь! — восторженно воил Дойников.

Ручьев, раскрасневшийся и воиственный, вскочил на ноги и бросился на весело смеющегося Щукина. Через мгновение под общий гогот он снова лежал на ковре.

Подождал Копылов.

— Ничего, Ручьев, не унывай! Ты интангист, а он самбист. Научим. Еще возьмешь реванш. Я тоже, когда первый раз в зал пришел, только и делал, что летал вверх тормашками.

Солдаты обступили Копылова.

— Товарищ гвардии старший лейтенант, а теперь? У вас есть разряд? — Дойников даже подпрыгивал от возбуждения.

— Теперь-то есть, — улыбался Копылов.

— А у нас? Мы сдадим на разряд? — не унимался Дойников. — Вот Щукарь. Здорово! Я тоже так хочу! А вы с ним справитесь?

— Сами увидите, мы еще поборемся. Устроим командные соревнования. Мы с Ручьевым, а ты, Дойников, с Щукиным. Посмотрим, чья возьмет!

Солдаты долго не могли успокоиться. Они смеялись, кричали, палатали друг на друга, пытались сбить с ног. Не улыбался только Ручьев.

— Становись! — скомандовал наконец Копылов. — У нас много всего впереди. Половину не обошли.

И они еще долго ходили по аккуратным асфальтовым дорожкам вдоль зеленых аллей.

Смотрели классы, где им предстояло заниматься, полосу препятствий, пугавшую их, казалось, непреодолимыми препятствиями.

Смотрели стрельбище, пахнущее свежим деревом и землей.

Смотрели парашютный городок, с его вышкой и странными, непонятными сооружениями.

Они долго ходили, робея и удивляясь, и думали, как все здесь увлекательно и сложно. И неужели все это можно освоить, ко всему привыкнуть, все одолеть.

Так ходили до них тысячи таких же ребят, так будут ходить тысячи после них.

И невдомек им было, что настанет день, последний день в части, когда они пройдут этой же дорогой, прощаясь, любовно похлопают кожаный круп гимнастического коня, легко взметнут когда-то такую тяжелую штангу, покачаются на скамьях, шутя перепрыгнут казавшийся непреодолимым ров на полосе препятствий...

И уедут.

И еще долго, всю жизнь, будут помнить военный городок, городок, куда приезжают юноши и который покидают мужчины.



## Глава IV

Ладейников и Николаев заканчивали обед. Подробно обсуждав новое пополнение, генерал предавался воспоминаниям.

Уносясь мыслями в прошлое, Ладейников вспоминал не только приятное и славное, не только дни удач и побед. Нет, Ладейников хорошо знал цену этим победам, слишком хорошо помнил приведшие к ним дороги, чтобы откреститься от горьких минут, забыть трудности и неудачи первых военных дней.

Ведь на парадном мундире его сверкали не только ряды орденских планок, но и тонкие золотые и красные знаки ранений.

Шрамы на теле...

А шрамы на сердце, что остались от других ран, никогда не заживающих: погибшие товарищи, навсегда ушедшие из жизни друзья, те, кто спас тебе жизнь, и те, кому жизнь спасал ты, с кем спал под одной шинелью и ел из одного котелка, с кем вместе пел на привалах песни и мечтал о жизни после войны.

Что ж, его мечты осуществились: он прошел войну до конца, увидел весну победы. На нем генеральские погоны, и смысл его жизни — воспитывать таких же честных, бесстрашных и искусных солдат, каким был сам.

А вот друзья его и однополчане, что не дошли с ним до сегодняшних дней, осуществились ли их мечты?

Наверное, все-таки да. Наверное, скромный памятник, что поставлен в селе Путьково на Смоленщине, где в январе 1942 года приземлились парашютисты 8-й воздушнодесантной бригады, тоже воспитывает. И подполковник Сагайдачный, сражавшийся, пока хватало сил держать в руках автомат, а потом тяжело раненный и замученный врагами, разве он сегодня, через три десятка лет, не воспитывает тех, кто родился много позже дня его гибели?

Ладейников вспоминал, как в сентябре 1967 года съехались в маленькое смоленское село те, кто воевал здесь четверть века назад. Вспоминал, как стоял в задумчивости, унесшись мыслями в далекое прошлое.

Он смотрел тогда на лица своих товарищей, суровые, иссеченные морщинами...

И на лица пионеров. Те были румяные, чистые, свежие. Но и они несли печать суровости.

Внимательные, напряженные взгляды. Словно не скромный памятник был перед ними, а сам Сагайдачный обращался к ним, рассказывая о давно минувших боях. И не только вот эти два парня, его сыновья, были ему сыновьями, но и все остальные парни, собравшиеся здесь в тот день.

Так разве не о том мечтал Сагайдачный?

Или военврач 2-го ранга Исаев, что, сам смертельно раненый, сумел спасти от смерти семь человек, раньше чем товарищи закрыли ему глаза? Или тот, оставшийся безвестным, парашютист, который, приземляясь, зацепился куполом за церковный крест? Его, расятого на кресте, пропихали из автоматов, но и он унес с собой в могилу шестерых врагов.

Да разве мало их было, polegших под Вязьмой или на Днепре, под Одессой или в Крыму, награжденных посмертно или оставшихся навсегда безымянными? Они все мечтали, что врага разобьют и что Родина их снова познает мир, изобилие и расцвет. Так разве не осуществились эти мечты?

А что сами они не дожили до этих дней, что ж, таково, значит, их военное счастье...

И Ладейников вспоминал, вспоминал...

Была почь на 23 февраля 1942 года.

23 февраля — День Красной Армии. Но в тот год отмечался он не балами в Домах офицеров, не концертами и не дружеским застольем, а боями, атаками и залпами на необозримых полях войны. Не музыка звучала в тот день, а разрывы снарядов, не иллюминации освещали землю, а зарева пожаров...

В одном из первых самолетов, высадивших в немецком тылу десяти тысячный 4-й воздушнодесантный корпус, летел лейтенант Вася Ладейников, недавний выпускник училища.

Он не знал, что командир корпуса получил короткий приказ командующего фронтом: «Гов. Левашеву. Задача: 26—27.1 высадить корпус и занять рубежи согласно карте. Цель — отрезать отход противника на запад. Жуков. 24.1.42 г. 13 часов».

Он не знал, что 8, 2 и 214-я бригады корпуса должны были преградить немцам пути отступления от Вязьмы, помогая войскам Западного и Калининского фронтов окружить и уничтожить ржевско-вяземскую группировку армий «Центр».

Он не знал, что согласно решению комфлота основные силы корпуса должны были перерезать коммуникации противника между Вязьмой и Дорогобужем, не допустить подхода резервов с запада, отхода немецких частей на запад и северо-запад.

Не знал он и того, что в разных районах должны были сброшены ложные десанты с целью отвлечь на себя внимание и силы противника.

А главное, не знал, что сам он и его товарищи, молча и неподвижно сидевшие с ним рядом в темной кабине, и были как раз одним из этих отвлекающих десантов.

Однообразно рокотали моторы, от дыхания людей, от близости горячих тел было тепло, рядом, тесно прижавшись к нему, сидел одноклассник и товарищ по школе и училищу Сережка Крутов.

Ладейников чутко вслушивался в окружающие звуки, но за ними, за обостренными сиюминутными впечатлениями, медленным фоном текли воспоминания.

...Вот старый дом в Обыденском переулке и школа с садом напротив заброшенной церкви, бывший французский пансион для девиц.

Вот вечерние озорные прогулки по Остоженке или по набережной, старая Бутьевка — район опасных драчунов и шумные, с разбитыми носами и горячими слезами схватки в подворотнях.

А позже — боксерская секция на «Динамо» и радости первых побед, и городские соревнования, и снова победы, и первые жетоны и звания.

Военное училище. Комсомол. Большая жизнь с ее бессчетными дорогами, из которых он выбрал одну — дорогу солдата.

Он еще был курсантом училища, еще совершал первые прыжки с парашютом, когда началась война.

Курсантов торопили. То, на что раньше полагался час, теперь осваивалось за полчаса.

И в январе 1942 года лейтенант Ладейников, стоя в строю, в новой форме, ожидал назначения.

А рядом стоял Сергей Крутов.

Они жили в одном доме, учились в одной школе. Вместе занимались боксом и вместе пошли в училище.

Вместе они получили назначение и в 8-й воздушнодесантный корпус.

Правом друзья отличались немало.

Дружить с Василием Ладейниковым было нелегко. Характер у него был прямой, резкий, бескомпромиссный. Одинаково, что в третьем классе школы, что на последнем году училища. Только там речь шла о том, чтобы взять вину на себя за грехи Сережки Крутова, коль скоро наказание грозит всему классу, а Сережка не признается. А здесь — о том, чтобы категориче-

ски отказаться от должности командира курсантского взвода в тылу и добиться, дойдя до генерала, чтоб послали на фронт.

Откуда такой характер? От отца, тоже военного, политработника? Или от матери — секретаря одного из московских райкомов? Они погибли в автомобильной катастрофе, когда их сын учился в десятом классе. И хотя у отца и матери были влиятельные друзья, пытавшиеся помочь ему, Ладейников не только сам, без протекции, поступил в училище, но еще и умудрялся заботиться об оставшейся в Москве младшей сестре. Помощь он вежливо, но твердо отвергал.

А Крутов был другим. Он тоже увлекался спортом, неплохо учился и обладал хорошим, даже добрым характером. А вернее, у него вообще не было характера. Он всегда соглашался с последним выступавшим, шел туда, куда шло большинство, ни в чем никому не мог отказать, а потому вечно всех обманывал.

Любил пошалить, но не позвонить в своих шалостях, подраться, по лучше, если вдвоем на одного, затеять какую-нибудь авантюру, но желательнее чужими руками...

Особого энтузиазма в связи с назначением на фронт Крутов не испытывал, но и уклоняться не собирался.

На фронт так на фронт.

И вот теперь они летели вдвоем — он и Василий Ладейников — оба лейтенанты-десантники.

Так сидели они рядом, размышляя о былом, о жизни, которая еще вчера была их жизнью, а теперь казалась такой же далекой, как покинутая ими земля. Сквозь ровный рокот моторов стал доноситься, нарастая, гул, сначала легкий, а потом все более громкие хлопки, треск и завывания — самолет пролетал над линией фронта.

Неожиданно раздался чудовищный грохот, лязг, свист, машину подбросило вверх, качнуло в сторону, швырнуло вниз, моторы как-то странно взревели.

Обернутые брезентом тюки заскользили по кабине, толкая десантников.

В стенах самолета словно открыли иллюминаторы — возникли отверстия с рваными краями. Сразу стало холодно. Ветер ворвался сквозь пробоины, засвистел по кабине, зашорошил ее мелким сухим снегом.

Посветлено от полосующих небо голубых лучей прожекторов, цветных пуктиров трассирующих пуль, от зарева близких и дальних разрывов. Внизу вся земля полихала огнем, гремела, стопала.

А наверху, спокойное, бесконечное, неподвижно висело чер-

ное небо, и подмигивали с него тусклые, в морозной дымке белые звезды.

Когда раздался взрыв, Крутов с силой сжал руку Ладейникова, прижался к нему.

Ладейников не пошевелился.

Летели еще долго, бесконечно долго, как казалось десанникам.

Наконец пошли на снижение.

Вышел летчик, поукложий в теплом комбинезоне. Подал знак «Приготовиться!».

Люди встали, проверили парашюты, снаряжение, оружие, застыли в ожидании.

Открылась дверь.

Новый сигнал. Ладейников поднял руку и негромкоскомандовал: «Пошел!»

Первым в ревуший мрак прыгнул Крутов. Потом первый солдат, второй, третий, четвертый... Ладейников покинул самолет последним.

Когда, встряхнув его, раскрылся над головой купол, Ладейников прежде всего приготовил к стрельбе автомат, потом оглядел вниз.

Оттуда, казалось, очень медленно приближалась земля. Она была вся расцвечена огнями, и он подумал: как только летчики сумели разыскать в этом огненном хаосе ориентиры?

Вот где-то горят костры. Там, дальше, у черного, резко выделяющегося на снежном фоне леса, другие. Вон еще, и еще...

А здесь горит деревня, догорает другая.

Неожиданно в черное небо взлетают зеленая, красная ракеты. И внезапно целый фейерверк ракет прорезает багровую мглу.

Земля налетела мгновенно, снег смягчил приземление, зацепил лицо, обжег щеку. Ветра почти не было. Погасив парашют и сбросив подвесную систему, Ладейников огляделся. Сорвал шлем. Было тихо. Лишь где-то очень далеко слышалась канонада и затихал, слабел, рокот уходившего самолета.

Вынув фонарик, он посмотрел на карту и сразу понял — их выбросили километрах в десяти от заданного места.

Подал сигнал. Люди собрались неожиданно быстро. Не прошло и получаса, все двадцать двинулись в путь — туда, где надлежало приземлиться, за десять километров.

Что ждало их на пути? Заметили их или нет? Быть может, они уже окружены или сами идут в расставленную западню? Выстав двух бойцов вперед, Ладейников повел людей к лесу.

Снег лежал глубокий, и все-таки в почном воздухе уже ощущалось приближение весны.

От черных голых стволов исходил острый запах мокрой коры, веяло сыростью, мороз не щипал щеки.

Шли молча, высоко поднимая ноги, проваливаясь, обходя старые буреломы. Наткнулись на тропку. Посветив фонарем, Ладейников сверился с картой.

До назначенного места было еще далеко, а время торопило. Отряду надлежало выложить костры, запятать оборону до подхода и выброса главных сил десанта. Самолеты уже были в пути, а Ладейникову оставалось пройти еще добрых три километра.

Летом закаленным, отборным десантникам даже со всем снаряжением нетрудно преодолеть десять километров маршброском.

Но идти по рыхлому снегу во много раз трудней, тут не разбежишься, да еще эти буреломы. Помогла тропинка — она прямым путем вывела к широкому длинному полю, на дальнем конце которого возвышался холм.

Пока под командованием Крутова часть бойцов рыла по склонам холма окопы, остальные выкладывали костры — три треугольника.

Когда до подхода десанта осталось пятнадцать минут, Ладейников лично зажег костры и быстрым шагом направился к холму.

Отсюда простреливалось все поле и опушки окружающего леса — позиция была идеальной. Она имела лишь один недостаток: отступать с нее в случае окружения было невозможно — кругом поле.

Но отступать никто не собирался.

Немцы появились очень скоро. Сначала раздался нарастающий треск мотоциклов, патруженный рев тяжелых грузовиков, громкие голоса, лай собак. Немцы, увидев костры, но не слыша самолетов, решили, что работают партизаны, вышедшие из леса. Они широкой дугой оцепили лес и двинулись, смыкаясь, наугад стреляя из автоматов. Ладейников видел, как среди черных стволов полыхали выстрелы, слышал хруст ломающихся веток, перекичку хриплых голосов. Когда первая группа немцев, выйдя на опушку, стала приближаться к кострам, он приказал открыть огонь.

Холм опоясали всполохи.

Наступающие залегли. Теперь они знали, откуда ждать опасность.

— Ну-ка, — Ладейников сдвинул рукав на комбинезоне Крутова, — у тебя часы точные? Давай-ка сверим.

Десант опаздывал уже на двадцать минут.

В стане врага царяла тишина, что там затевалось? Ответ пришел быстро — все ближе и ближе ревели моторы, один за другим грузовики подходили к лесу. «Сколько их, — подумал Ладейников, — батальон, два? Против двадцати человек».

Он усмехнулся.

Через несколько минут немцы пошли в атаку.

Так начался этот страшный бой, не подчиняющийся никаким законам тактики и логики. Потому что, когда восемьсот человек окружают двадцать, это называется сорокакратным превосходством, и двадцать должны сдать.

Но они не сдавались. Они стреляли редко, экономно, только по целям, берегли немногие взятые с собой патроны. Но не давали погасить костры.

Уже были убиты, уже замолк один из трех пулеметов, а десанта все не было.

Ладейников переводил взгляд с часов на костры, с костров на небо. В редкие минуты затишья он, зажмурив глаза, напряженно вслушивался — не летят ли самолеты.

Они все не летели.

Они и не прилетели.

Они и не должны были прилететь.

Ведь этот десант был отвлекающим. Его задача — отвлекать вот этих восемьсот немцев, отвлекать столько времени, сколько сможет держаться.

В далеком штабе генерал, командир корпуса, который вскоре сам погибнет от пули немецкого истребителя, твердой рукой отметил крошечный красный кружок, почти незаметный среди множества других синих и красных кружков, линий, стрелок.

Думал ли он, что эти люди почти наверняка обречены? Вероятно.

А как же! Ведь это война. На войне генералу заранее известно, что взять или отстоять позицию можно, лишь пожертвовав людьми.

Никто не ведает, о чем думает генерал в эти минуты. Но он твердой рукой подписывает приказ. Потому что, жертвуя десятками, он спасает тысячи.

Свою землю, свою и их, тех, что погибнут, — Родину.

А те, что погибнут, называются потерями, и без них не обойтись на войне. В справедливой войне никто зря не умирает, кроме противника.

Каждая жертва оправдана. И никто не вправе избегать этой жертвы, если без нее не обойтись, если принесена она ради великой цели...

Среди посветлевшего, алеющего от выстрелов и от зимней зари черного леса, на одиноком кургане умирали один за другим десантники.

Их оставалось теперь всего семеро, да и те почти все раненные. Но они держались, они яростно, упрямо, вопреки всем законам боя держались, не давая погасить костры — опознавательные костры для самолетов, которые никогда не прилетят...

Самолеты прилетали в другие леса и поля, они сбрасывали сотни десантников, и те приземлялись и начинали выполнять задания, не потревоженные, потому что два батальона противника, вместо того чтобы поливать их свинцом, сражались с их умиравшими один за другим двадцатью товарищами, прикованными к этому дьявольскому холму, который никак не удавалось взять.

Пороховой дым сизым туманом застилал поле, за черными деревьями вставало багровое солнце, и отблески зари лежали кровавыми следами на почерневший от гранатных разрывов снег. Но здесь пахло теперь не снегом, а гарью и кровью...

Костры почти угасли, теплились только головки. Десант держался три часа.

Когда Ладейников понял, что самолеты не прилетят, что костры, вернее их остатки, не нужны, он решил выходить из окружения. Это казалось смешным — пять человек с одним пулеметом и дюжиной гранат собирались прорвать кольцо врагов, в сто раз превосходивших их числом, вооруженных теперь уже пушками, минометами, десятками пулеметов...

Ладейников зажег дымовые шашки и дал приказ отходить к ближайшей опушке. Отступление прикрывал сержант-пулеметчик. У него были перебиты ноги, он не мог двигаться, но мог стрелять.

— Не сомневайтесь, товарищ лейтенант, я их тут еще поугаю, может, прорветесь. — Сержант даже попытался улыбнуться окровавленными, спешившимися губами. — Одну гранату оставьте: раз все равно в рай отправляться, компанию прихватчу.

Под прикрытием его пулемета и дымовой завесы побежали к лесу. И добрались вдвоем. Ладейников, раненный в руку, в плечо, в лицо, и Крутов, оглушенный разрывом мины. Ползком углубившись в лес, таща на спине Крутова, Ладейников сумел миновать кольцо окружения. Тяжело дыша, он лизал холодный снег, пытаясь набраться сил.

Там, на холме, смолк пулемет, раздались торжествующие крики, а потом громкий взрыв.

И все стихло.

Бой кончился.

Будь Ладейников один, он бы спасся, уполз, залег где-нибудь, выждал. Ведь немцы не знали, что двоим все же удалось выбраться из кольца.

Но мысль бросить Крутова даже не пришла ему в голову. Задыхаясь, еле двигая раненой рукой, он тащил на себе оглушенного товарища.

И тогда их обнаружили. Засвистели пули. Скотившись в овражек и прикрыв Крутова, Ладейников начал отстреливаться. Потом перебежками стал удаляться, отвлекая нападавших от товарища, так и не приходившего в сознание.

Крутов пришел в себя через несколько минут и, выглянув из овражка, увидел немцев, окружавших Ладейникова. Тот стрелял и стрелял, пока в автомате, а потом и в пистолете оставались патроны, бросал гранаты. Его снова ранили. Последнюю гранату Ладейников оставил для себя. Ждал, когда те подойдут.

И вдруг мгновенно, плотно, тяжело опустилась на него мгла...

А Крутову и в голову не пришло помочь товарищу. Он просто задрал руки вверх и закричал: «Сдаюсь!» Его окружили.

Когда немцы уехали под треск мотоциклов и рев грузовиков, увозя добрую сотню убитых и раненых, на поле прокрались партизаны. Их было немного, небольшая группа разведчиков. Они похоронили убитых десантников возле холма, а одного, еще дышавшего, хоть и пропитого вдоль и поперек пулями, унесли с собой. В глухих чащобах, в своем лагере, отхаживали, лечили.

Когда части 4-го корпуса, конники генерала Белова, и большие партизанские отряды начали диктовать вокруг свои законы, появилась возможность заняться раненым серьезно. Прибыли врачи, санитары. Ладейникову сделали несколько операций, переливали крови, а потом вывезли на Большую землю.

И начали лечить по-настоящему.

Лечили почти год.

Весной 1943 года кавалер ордена Ленина лейтенант Ладейников прибыл для прохождения дальнейшей службы в 5-ю воздушнодесантную бригаду. Он мало изменился. Казалось, тот далекий, страшный бой, тяжелые ранения, долгое лечение не оставили на нем заметных следов.

Только голос стал хрипловатым и глаза перестали улыбаться. А так... Такой же подтянутый, решительный, уверенный.

Сражался он отчаянно, жадно, словно стремясь наверстать упущенное. Пули палили его. Наверное, смерть, у которой тоже есть свои неведомые людям законы, посчитала, что все положенное от нее Ладейников получил, и копь остался в живых — его счастье. Больше не подходила.

В сентябре 43-го вместе со своей бригадой Ладейников участвовал в форсировании Днепра.

Десантники форсировали его с воздуха. Их задача была захватить плацдармы на правом берегу, облегчая наступление Воронежского фронта.

Это была сложная и трудная операция. Времени на подготовку не хватало, разведанные о противнике почти отсутствовали, немцы путали сигналы для ориентирования, подавали ложные. Часть парашютистов выбросили на левом берегу, в расположении своих же частей. Другие вступили в бой еще в воздухе и погибли.

Ладейников со своим взводом приземлялся возле деревни Малый Букрип, когда неожиданно застрочил немецкий зенитный пулемет.

Парашютисты летели прямо на огневые позиции. Пулеметчики немного замешкались, и это погубило их. Ладейников, выхватив две гранаты, разжал пальцы, думая лишь о том, чтобы осколки при взрыве не попали в него.

Так бросать гранаты ему еще не приходилось — они со свистом, словно авиабомбы, опустились на позиции пулеметчиков, и, когда рассеялся дым, Ладейников увидел лишь покореженный металл и мертвых людей.

Половину своего взвода он все же потерял, но с оставшимися несколькими дшей бродил по лесам и оврагам, пока не соединился с главными силами десанта.

В эти несколько дшей натерпелся.

Однажды паткнулись на большой гарнизон. Чтоб миновать село, переоделись в ранее добытые немецкие мундиры и не торопясь прошли мимо танков и грузовиков, в самой гуще вражеских солдат.

Другой раз обнаружили гаубичную батарею, стрелявшую через Днепр. Атаковали, хотя на каждого атакующего приходилось, наверное, по десятку артиллеристов. Прислуга разбежалась, орудия взорвались...

И подобных эпизодов было так много, что они стали обычными.

Никому из десантников не приходило в голову, что это — подвиги, которым где-то ведется счет, и что из суммы их складывается слава армии, слава советских солдат. Но один случай запомнился навсегда.

Рота, в состав которой входил взвод Ладейникова, медленно продвигалась лесистым оврагом. Это только так называлось — рота, что-то всего человек тридцать—сорок.

Шли молча, тяжело — устали. У многих были легкие ранения. По сигналу боевого охранения остановились — впереди слышался ясный и громкий собачий лай. Командир роты сверился с картой. Никакого села, деревни, даже хутора поблизости не значилось. А собаки заливались вовсю. Их, видимо, было множество и, судя по лаю, злых. Откуда?

Ладейников с двумя бойцами отправился на разведку. Пригибаясь, а кое-где ползком добрались до края оврага. С оврагом кончался и лес.

Отводя ветки, Ладейников смотрел на необычайное зрелище, открывшееся перед ним.

В низине, окруженный двумя рядами колючей проволоки, находился лагерь для военнопленных. Десяток бараков с дырявыми крышами, какие-то хозяйственные постройки, сторожевые вышки по углам.

Лагерь, скорее всего, был временный — сюда собирали военнопленных, взятых в разных точках близкого фронта, а потом отправляли дальше.

Лагерь как лагерь.

Необычным было другое: то, что происходило в лагере. В одном из его концов темнел земель огороженный дополнительной колючей проволокой квадрат. У калитки, ведущей в него, стоял высокий офицер, а рядом десятка два военнопленных. Были они босые, обритые, в грязных, испачканных кровью штанах и гимнастерках. Почти все раненные.

Офицер громко выкрикивал что-то. Очередной пленный должен был выйти из строя, стать на колени, подползти к офицеру и лизать ему сапоги.

Кругом острили и тоготали солдаты, двое-трое фотографировали.

Прошедший испытание имел право встать и отойти к котлу, где плескалась какая-то бабандя. Тех же, кто отказывался идти на унижение, солдаты хватали и вталкивали в огороженный квадрат, а то и просто перебрасывали через проволоку.

В квадрате, яростно лая и рыча, металась овчарка. С виз-

гом пабрасывались они на каждую новую жертву, вшивались в истощенное тело, рвали худые руки и ноги.

Потрясенный Ладейников не мог оторвать глаз от этого зрелища. Рядом, бледные и молчаливые, застыли десантники.

Ладейников так никогда и не смог забыть виденного. И еще он запомнил, что у котла с баландой притулились двое, а в квадрате, неподвижно застыв или корчась в предсмертных муках, валялись десять.

Через пятнадцать минут, окружив лагерь, десантники начали атаку. Не ожидавшую нападения и не очень многочисленную охрану перестреляли быстро.

Кое-кто из охраны, в том числе высший офицер, оказавшийся комендантом, пытался спрятаться. Заключенные устроили на них настоящую охоту.

Пробегаючи мимо низкого склада, Ладейников услышал пронзительный визг. Вбежал. В углу, возле мешков и жестяных банок, толпа пленных пастыла коменданта. Его прижали к мешкам, навалившись на руки и на ноги вдесятером, а один, весь перебинтованный, в лохмотьях, сжимал эсэсовцу горло. Он жал изо всех сил своими худыми, желтыми пальцами толстую, крепкую шею и ничего не мог поделать — сил не хватало. Из глубоко закативших горящих глаз пленного катились слезы бессильного гнева, тело, устрашающе худое, вздрагивало. Захлебываясь, он бормотал какие-то слова: «За... сволочь... за все... погоди... сейчас...»

Немец визжал и отбивался, в глазах его плескался животный страх.

Ладейников, не раздумывая, всадил пулю между этих глаз.

Заключенные молча, тяжело дыша поднимались, и только тот, забинтованный, в лохмотьях, зло посмотрел Ладейникову вслед, бормоча: «Зачем отнял?.. Наш он был... Мы сто...» Он повернулся к трупу и попытался плюнуть, но слюны не было: рот пересох. И тогда, наклонившись, он замолотил бессильным и злым кулачком по черному расшитому мундиру.

Заключенных, их было человек пятьсот, освободили. Многие не могли идти, их вели или несли те, кто покрепче. Ковыляя, хромя, снотыкаясь и падая, оставляя на опавших листьях кровавый след, брели они за десанниками. Почти всех потом отправили в тыловые госпитали, но некоторые, кто мог, остались и сражались яростно, отчаянно, не жалея ни врагов, ни себя.

Многое было еще. Десанты. Бои. Разведки. Ранения, награды.

Заключил гвардии старший лейтенант Ладейников войну в январе 1945 года в Будапештской операции, командуя ротой. У Заоя.

Столь долго благоволившее к нему военное счастье на мгновение отвернулось: Ладейников был ранен в грудь и эвакуирован в тыл.

А 5-я гвардейская воздушнодесантная дивизия продолжала свой путь на запад.

Много воды утекло с тех пор.

Служил Ладейников в Средней Азии, на Дальнем Востоке, в Прибалтике.

Служил командиром батальона, и командиром полка, и заместителем командира дивизии. Окончил академию, потом Академию Генерального штаба. В 1965 году был назначен командиром дивизии. Через два года стал генерал-майором.

Он знал, что теперь его прочат на новую должность — генерал-лейтенантскую.

Какой офицер не мечтает о следующей, пусть самой маленькой звездочке! Какой генерал-майор не стремится стать генерал-лейтенантом!

Ладейников не составлял исключения. И все же думал о новом назначении с грустью. Оно означало уход из воздушнодесантных войск.

Ладейников не представлял, как покинет войска, которым отдал тридцать лет жизни... В рядах которых, познав горечь утрат и счастье побед, прошел всю войну.

Не представлял...



## Глава V

Для Крутова прежняя жизнь кончилась тогда, в том черном лесу. А может быть, жизнь вообще?

Не получилось ли так, что прозенный пулями Ладейников, которого немцы считали умершим, выжил, остался человеком, Крутов же, не получивший ни одной царапины и медленно шедший в окружении конвоиров с поднятыми над головой руками, превратился в труп?

Труп, который продолжал ходить, есть, спать, пить водку, а порой и петь песни, но не жить.

Живет человек. А вот человеком-то Крутов как раз и не имел уже права больше называться.

В жизни все взаимно связано. Шестеренки судьбы плотно прилегают друг к другу, и движение первой, начальной, рано или поздно отразится на последней.

Применительно к людям ничто лучше не выражает эту истину, нежели простая поговорка: «Кто сказал «А», должен сказать «Б». Алфавит же, он ведь такой длинный...

В тот момент, когда Крутов решил, что главное — это спасти свою жизнь, неумолимая логика поступков вступила в действие.

Поднять на руки раненого товарища, который только что тащил его самого, оглушенного, на себе, и уходить от преследования противоречило главному — спасению своей жизни.

Один Крутов еще мог как-то спастись, вдвоем — нет. И он бросил Ладейникова.

Но когда снова засвистели пули, когда круг наступающих начал сужаться, стало ясно, что активное сопротивление неминуемо приведет к смерти. Если он будет отстреливаться, немцы не станут церемониться.

И он, сильный, хорошо тренированный, вооруженный автоматом, гранатами, пистолетом, занимавший отличную позицию и не только имевший возможность обменять свою жизнь на дюжину вражеских жизней, а и вообще, если повезет, сохранить ее, поднялся во весь рост, задрал руки вверх, и чужим, хриплым голосом закричал: «Сдаюсь!»

Его окружили, избили, повели. На Ладейникова не обратили внимания — поспули на всякий случай автоматной очередью и без того неподвижное тело и ушли.

Офицер, к которому привели Крутова, по-русски не говорил. Он задумался: в горячке боя стоило ли возиться с пленным, коль скоро разговора не получится? Хлопнуть его, и все.

Пленный мгновенно все сообразил, и общий язык нашелся: Крутов заговорил сам.

Это меняло дело. Советский офицер, прилично владевший немецким языком, мог пригодиться, и допрос начался. Столько сделав, чтобы спасти свою жизнь, продолжавшую висеть на волоске, Крутов готов был на все, чтобы этот волосок не оборвался.

Вдали грохотало. Пахло гарью. Красные отсветы выхватывали из темноты черный снег, черные трупы, черные скелеты деревьев. На фоне дальних пожаров изломанные черные ветви казались руками мертвецов, протянувшимися за живыми...

Немецкий офицер с окровавленным, почерневшим лицом, отрывисто и зло задававший вопросы, стуча по обгорелому плечу своим тяжелым вальтером, олицетворял для Крутова в этот миг его судьбу.

Он торопливо, захлебываясь, размахивая руками, отвечал на вопросы; он говорил и говорил, растекаясь в ненужных подробностях и объяснениях. Главное, не замолкнуть, не остановиться, не дать почувствовать офицеру, что он уже все сказал, ничего больше не знает, а значит, и не нужен.

Не расчет, не мысли, не чувства руководили в тот момент Крутовым, а животный инстинкт самосохранения, заслонивший теперь все.

Пусть офицер стучит, пусть кричит, пусть бьет. Только пусть не нажимает на спуск запачканным в земле длинным пальцем.

Только не это! Только сохранить жизнь! Любую. Жалкую, тяжелую, унижительную... Но сохранить.

И Крутов говорил и говорил. Он сообщал номера подразделений, имена командиров, задание десанта, его численность.

Сказавши «А», приходилось говорить «Б»...

Крутову повезло. Подъехал какой-то начальник, ему стали докладывать, ссылаясь на ответы пленного. Начальник довольно кивал головой. Даже улыбнулся.

Крутова отправили в тыл. Основательно допросили и утащили в лагерь для военнопленных.

Не требовалось особой сообразительности, чтобы сразу понять — живым из этого лагеря мало кто выйдет. Надо было либо бежать — это порой удавалось, но редко, либо доказать начальству, что ты полезен, что ты еще можешь пригодиться.

Закон алфавита продолжал действовать неумолимо. Крутову удалось выдать нескольких беглецов. Его жизнь стала легче. Он теперь меньше боялся благоволевших к нему немцев.

Зато боялся своих.

Своих? Они давно перестали быть своими. Теперь Крутов ненавидел этих изможденных, бледных людей с их впалыми щеками и бритыми головами. Он ненавидел тряпки, которыми они новязывали разбитые ноги, выцветшие гимнастерки, все в ссадинах и шрамах тяжелые, беспомощные руки.

Но особенно он ненавидел их глаза. О боже, как он ненавидел эти серые, черные, голубые глаза, у которых был один взгляд, когда они смотрели на него!

Он читал в нем презрение и ненависть. Такую же жгучую, какую испытывал сам.

Впрочем, его ненависть была все-таки сильней.

Люди ненавидят по разным причинам.

Но все же самую острую, слепую, безысходную ненависть испытывает предатель к тем, кого предал.

Он ненавидел теперь своих соотечественников так, что порой ему становилось трудно дышать. За то, что они не сдались в бою, не продались врагу, за то, что остались верными Родине и умирали здесь, неизвестные и безымянные, вдали от нее, не предавая, как он, не рабствуя.

И он мстил им, как мог, готов был уничтожить их всех, всех до единого. И тех, что остались там, далеко за линией фронта, куда, он это понимал, путь ему отныне был заказан навсегда, он тоже с наслаждением уничтожил бы всех.

Всех, с кем когда-то играл и ходил в школу, тащевал и целовался, пел песни над рекой и смеялся за дружеским столом.

Всех, с кем потом прошел невзгоды и трудности военной жизни, опасности фронта, кто делился с ним хлебом и табаком, одеялом и местом у костра, кто прикрывал его огнем я, как Ладейников, выносил с поля боя.

Крутов не прошел, наверное, и половины своего алфавитного пути, когда охотно, с радостью дал согласие служить немцам.

То есть он служил им с того момента, как поднял руки в зимнюю ночь на снежном поле. Он только и делал, что служил им. Просто теперь положение вещей было оформлено.

Крутов пошел в школу диверсантов, которых готовил абвер. В его надежностях абверовцы не сомневались. Он настолько задел в болото измены, что и головы не было видно на поверхности.

Офицеры абвера были умные, хитрые и опытные работники, тонкие психологи, отлично знавшие свое дело и своих людей.

Крутов лежал у них на ладони со всеми своими мыслями, страстями, тайными желаниями и злыми мечтами.

Они возлагали на него большие надежды.

И оказались правы.

Он навсегда стал заклятым врагом своей бывшей родины и верным слугой новых хозяев.

А то, что по не зависящим от него причинам хозяева эти менялись, не имело значения.

Он служил тем, кто ненавидел Россию. Вот что было главным. Немцы — люди экономные и расчетливые. Крутову по-

дали жизнь, пришла пора расплачиваться. И как недешево!

Во главе небольших диверсионных групп его забрасывали в тыл советских войск. Он считался специалистом по подрыву эшелонов, железнодорожных сооружений, станций. Стал мастером высокого класса.

Действовал отчаянно.

На фронте, да и не только на фронте, человек действует отчаянно под влиянием различных эмоций, прежде всего любви и ненависти. Иногда от страха.

Крутов порой задумывался, почему тогда, в рядах своих войск, он бывал нерешителем и просто труслив. И отвечал сам себе: не было в достатке ни любви к родине, ни ненависти к врагу. Теперь же любви не прибавилось, зато ненависть жила в нем яростной жизнью, сочилась сквозь все поры. И прибавлялся к ней страх.

Чем хуже у немцев шли дела, чем сильнее давил страх, тем яростней вел свою маленькую, подленькую войну Крутов.

А война продолжалась. А немцы все наступали, все убивали и жгли.

Потом остановились.

Потом покатились назад. Но убивали и жгли не меньше, чем раньше.

И наступил день, когда вокруг зазвучала одна немечья речь, когда не стало видно следов войны. И только на лицах людей читался такой животный страх перед надвигавшимся возмездием, что Крутову становилось не по себе.

Но теперь он был не тот, что многие годы назад. Он прошел огонь и воду, пролил реки крови и убил людей больше, наверное, чем осталось волос на его полысевшей голове.

Он раздобыл себе документы немецкого солдата (убив их владельца), дезертировал на Запад и сдался в плен наступающим американским частям. В лагере для военнопленных сами же немцы быстро вывели его на чистую воду. Его отправили в лагерь для перемещенных. Здесь были и советские военнопленные. Крутов затаился.

Но обстановка менялась. Он быстро сориентировался, к кому поступить на службу.

Не стал даже беседовать с советскими офицерами, занимавшимися репатриацией. Заявил, что хочет остаться в Германии.

Осел в Мюнхене и стал искать работу. Долго искать не пришлось. Его нашли сами.

Война давно кончилась.

Не для всех. Для Крутова она продолжалась.



## Глава VI

Сколько времени прошло с тех пор, как я «покинул отчий дом, судьбе стремясь навстречу»? (Это из раннего Ручьева.) С тех пор, как добрались мы наконец, с тех пор, как переехали в казарму? Год, месяц? Да, пожалуй, немногим более месяца. Поразительно! Мне кажется, что десятилетие. Что всю жизнь я вставал в половине седьмого утра, а ложился в половине одиннадцатого, что мылся в комнате, где дюжина умывальников, а не один розовый, который мама достала где-то через Аппу Павловну. Розовый умывальник! О господи. И наша столовая, и эта висячая кнопка звонка под столовым абражуром Дусе на кухню. Церемониал! Закуски, панина чекушка, салфетки в кольцах.

«Дом надо вести на настоящую ногу!» Только мама могла придумать подобную фразу.

Если б она меня сейчас видела! Весь обед двадцать минут. Если б она только знала, сколько я ем! Впрочем, плохим аппетитом я никогда не отличался.

Сделал интересное открытие. Оказывается, «вкусность» еды понятие не объективное, а субъективное. Например, дома я не мог себе представить, как выглядит человек, могущий съесть полную тарелку иппенной каши. Теперь представляю — для этого мне достаточно посмотреть в зеркало.

Или вишегрет. Я когда-то думал, что его может готовить только Дуся, да и то... Когда майонеза оказывалось больше чем нужно, мама приходила в такой ужас, будто это был не майонез, а мышьяк.

Или хлеб. Скажем, подогретый лаваш в «Арагви» или каша в Доме журналистов — это еще понятно. Но весь положенный рацион, что я теперь съедаю в день! Место находится, я даже сбавил два килограмма.

Мне теперь кажется, что я всю жизнь просыпался от крика «Подъем!», а не от мелодичного звучания японского будильника, играющего «На сопках Маньчжурии». Да и часто ли я пользовался будильником?

Первое время все было как во сне — наш путь из Москвы, все эти построения, баня, палатки, эти чудовищные сапоги и

портянки, которые наматывать, как и завязывать галстук, тоже, оказывается, целое искусство.

Наверное, и сейчас я во сне. Нет, скорее я человек, которому сделали анестезию. Все вроде бы вижу, слышу, а ничего не чувствую.

Здесь особая жизнь, другая планета. Вещи, действия, казавшиеся естественными, даже обязательными там, на планете Земля, здесь странны и недопустимы.

Например, я любил ходить, засунув руки в карманы. А здесь, из-за того что сую руки в карманы, какой-то примат протянул меня в боевом листке. Да еще в стихах.

Можно подумать, что они этим чего-нибудь добились. Только потеряли. Комсорг подходит ко мне и говорит: «Слушай, Ручьев, говорил кто-то мне, ты стихи пишешь. (Интересно, откуда он узнал, я только двум-трем ребятам так, между прочим намекал.) Написал бы в боевой листок. А то там одна проза». Я посмотрел на него в упор и сказал многозначительно, чтоб он понял: «Да вряд ли я вас устрою, я ведь СТИХИ пишу». Ядовито? И что же? Ничего не понял, обрадовался: «Вот я и говорю — стихи нам нужны».

Ну что с ним делать, написал пару стишков, левой ногой. Лирнику.

Умчалась аисты забыть зиму посылаю,  
О них пустые гнезда не грустят.  
И вот с весной вернулся, сильнокрылый,  
Опять над трубами безданными сидят...

Так, пустячки. Подумал, ни до кого не дошло. Прочтут, и все — никаких эмоций, приматы!

И вдруг подходит ко мне наш командир, царь и бог, старший лейтенант Копылов и говорит:

— Ты, Ручьев, отличные стихи написал. Молодец!

В общем-то, он не такой уж солдафон, наверное, этот Копылов. Кое-что и в поэзии понимает. Я подумал — ну ладно, меня призывали в армию. Что ж, закон есть закон. Ничего не поделаешь. Но ведь Копылов-то училище копчил, значит, сам, добровольно пошел на это. Сам! Добровольно встает ни свет ни заря — в половине седьмого он уже стоит свежий, начищенный; ложится неизвестно когда, весь день в работе. Походы, прыжки, стрельбы. Начальство небось с него шкуру дерет, а мы, между прочим, ему тоже жизнь не облегчаем. Зачем ему это? Во имя чего? Ну, положено отслужить свой срок — служил. Но на всю жизнь в армию! Не понимаю.

Так или иначе, а пока я живу этой жизнью. И словно далекий сон вспоминаю ту, прежнюю.

Интересно, что бы я сказал в той прежней жизни, например сидя за рулем своей машины или где-нибудь в ресторане, если б меня вдруг тогда спросили: «На каких сегодня тренажерах будешь работать?» или «Пора подворотничок сменить».

Это было бы так же слепо, невозможно, как если б сейчас к нам подошел наш командир отделения и предложил: «Прощвырнемся в «Метропольчик»?»

Кстати, этот временный командир отделения Сосновский — прямо голубь-дутьши. Не успели назначить его на сию маршальскую должность, как он начал порядки наводить. Командует, дисциплины требует. А между прочим, в вагоне хорошим парнем казался. В конце концов, армия армией, но дружба, по-моему, превыше всего. Если ты мне друг, то хоть ты и староста класса, но, коль я прогулял, галочку в журнале все равно ставь. По крайней мере в школе было так. Кстати, и мама тоже говорит: если друг, то во всем. Конечно, мы с этим Сосновским друзьями пока не были, но вроде бы тяготели друг к другу. А раз так, то сначала ты друг, а потом уже старший. Оказывается, нет, оказывается, «дружба дружбой, а служба службой». «Товарищ Ручьев, вернитесь, заправьте койку!», «Товарищ Ручьев, кто за вас будет посуду собирать?» И это все поднимается на принципиальную высоту. Ответ меня как-то в сторону и говорит: «Слушай, Толя, давай договоримся. Здесь армия, а не выезд на пикник. Здесь свои порядки. Если меня назначили командиром отделения, я свои обязанности постараюсь выполнять как надо. Так ты уж не валяй дурака, а лучше помогай мне. И не обижайся, если что... Назначили б тебя, я тебе хлопот не доставлял, будь уверен».

Черт его знает, может, он и прав в чем-то...

Прошел мандатную комиссию. Честно говоря, полстел. Сидит высокое начальство. Захожу, ору:

— Гвардии рядовой Ручьев на мандатную комиссию прибыл!

Поинтересовались, кем хочу быть. Разведчиком, говорю. Почему, спрашивают. А действительно, почему?

Там разные ребята были на мандатной — кто технику жемлет осваивать, в радисты просится, в танкисты, кто шофер — говорит — я и здесь хочу баранку крутить, а один, ей-богу, сам не услышал бы, не поверил. «Тут подсобное хозяйство есть, нельзя ли меня к поросяткам пристроить. — просит, — я у себя в совхозе специалист этого дела был». Ну! Каково? К поросяткам!

В общем, я говорю, что спортсмен, английский знаю. Тут

поворачивается ко мне начальник политотдела полковник Николаев и заговаривает по-английски. Между прочим, совсем не плохо, не как я, конечно, но нормально.

И дальше всю беседу по-английски ведем. Я прямо из кожи вон лез.

Потом уже по-русски мне говорит:

— Молодец, товарищ Ручьев, английским вы прекрасно владеете, машину водите, спортсмен, поете, а раз поете, значит, веселый человек. Быть веселым, бодрым — одно из обязательных качеств десантника. Так что пойдете к Копылову. Ну, а что прыжков не имеете, ничего. Научат. Прыгать-то не боитесь? — улыбается.

Я тоже зубы скалю:

— Что вы, товарищ гвардии полковник, чего тут бояться. Раз-два — и готово!

— Ну раз так — больше вопросов нет.

Не прыгать я боюсь, а комиссии этой. Но все обошлось. Медкомиссия куда страшней оказалась. Что ни врач — рентгеновский аппарат, прямо насквозь просвечивают. Час побось выслушивали, прощупывали, рассматривали. Ведь десантники — это «сливки со сливок», как выражается Жора Костров. Недаром лозунг над учебным корпусом висит: «ВДВ — это войска первой очереди, мужества высшего класса, готовности помер один». Все верно.

Оставим в стороне скромность. По-моему, логично, что таких людей, как я, отбирают в столь привилегированную часть; в конце концов, Ручьевы не валяются на каждом углу. Во всяком случае, раз уж я в армии, то, прошу прощения, имею право числиться в лучших. Жалко, конечно, что к дипломатическому поприщу я больше расположен, а то бы из меня офицер вышел не чета Копылову.

Вообще, конечно, в армии есть и хорошее. Ну, скажем, торжественные церемонии.

Нас, чистых и красивых, выстроили на плацу в колонну по три, а напротив те, кого мы приехали сменить. Счастливые ребята — уезжают домой! Но особой радости я на их лицах не заметил. Скорее, наоборот. Неужели не в восторге? Мне кажется, когда я буду вот так стоять, зная, что через несколько дней окажусь в Москве, то засияю как медный таз. Стоим друг против друга. Мы так, они с автоматами.

Подполковник, при всех орденах, говорит:

— Товарищи гвардейцы, вам, молодым солдатам, вручат сейчас свое оружие те, на смену кому вы пришли. Они честно

служили и теперь с чувством выполненного долга увольняются в запас.

Копылов начал вызывать одного за другим: одного из нас и одного «старичка». Оружие передают. Подошла моя очередь, вышел, стою на стойке «смирно». Копылов говорит:

— Гвардии рядовой Ручьев, вот ваше оружие, автомат номер МК 3214. Он закрепляется за вами. Берегите его.

Я как петух стою и смотрю в глаза того парня, что завтра домой уезжает, что разделался со всей этой волюшкой. И говорю себе: «Тонаем тут, маршируем, какие-то железки перодем, слова говорим, а самих смех разбирает, только и думаем, когда наша очередь придет удочки сматывать. Смешно».

А оказывается, не смешно.

Мне совсем не смешно. Не могу понять, в чем дело. На теле мурашки. В горле першит. Простудился, что ли... Я смотрю на этого парня. Ну что он, на год меня старше, не больше, я ведь год потерял. А ощущение такое, словно я школьник, мальчишка перед взрослым дядей. Какая-то в нем твердость, что ли, как бы это сказать, «массивность духовная» (нашел все же определение. Молодец, Ручьев!). Смотрит на меня, словно отчет требует. И самое странное: чувствую, будто имеет на это право. Вот черт!

Я смотрел на него, и мне вдруг представилось, что если, не дай бог, случись что, их же миллионы встанут таких вот, с таким же взглядом, и черта с два сквозь них кто пройдет. А потом подумал: почему «их»? Нас, нас — встанет! Я ведь тоже такой... Во всяком случае, стану таким.

Там еще речи были всякие... Традиции, церемония... прямо массовый гипноз!

А в общем, надо быть честным: торжественные церемонии в армии — это здорово. Иные не то что дни, всю жизнь помнить будешь.

И не пойму, почему потом столько дней все забыть не мог того парня с его глазами.

Да... Оказывается, «кипогерой», как выражается Анна Павловна, «настоящий мужчина», как говорит Эл, гвардеец, десантник Ручьев на поверку — сентиментальная мокрая курица.

Все это, в конце концов, ерунда. Так и падо к этому относиться. Как там мой любимый столик в «Метрополе», и «Запорожец», и Эл?

...Нам вручили гвардейский знак. Звучит.

Между прочим, у иных старослужащих вся грудь «в крестах» — «Отличник Советской Армии», значки разрядников,

специалистов, парашютистов... Не вижу причин, почему могучую грудь Ручьева не украсят подобные же, как-нибудь я не хуже их.

Конечно, моя планета — дипломатия. О том мечтаю, к тому готовлюсь. Рестораны ресторанами, но в библиотеках и на курсах все же не меньше времени торчал. Просто не повезло с начинением, а то бы сейчас студентом был, а не солдатом. Но все же военная карьера тоже ничего. Тем более в десантниках. Словом, теперь я боец второго отделения первого взвода отличной роты нашей прославленной дивизии! Действительно, первый парепь па деревне.

И вообще, я не такой уж неспособный. Зачеты за курс молодого бойца сдал не хуже других. Предстоят прыжки. Там я им тоже покажу, что к чему.

Отныне мы полноправные. На днях переехали в казармы. И уже никакой разницы, что «старички», что новички, одна компания. Не понимаю только, зачем так сложно готовить к прыжкам?

Когда нас первый раз привели в парашютный городок, все было очень заманчиво.

Ну, вышка, как в парках культуры, ну, рейнские колеса, такие ерундовые трамплинчики для прыжков, — это все я и раньше видел.

Но посередине возвышается эдакая здоровеннейшая штука, такой каркас с домиком наверху, и от него к земле идут на подпорках рельсы. Выяснилось, что это часть самолетной кабины. К рельсу прикреплен трос, а другой конец троса к десантнику. Там, в кабине, происходит все, как в самолете: подаются команды, все встают, подходят к трапу и прыгают. Крепление троса скользит по рельсам, и солдат летит вниз, как при настоящем прыжке.

А еще там стоят каркасы из проволоочной сетки вроде самолетных, в натуральную величину, прямо на земле. Также для тренировки.

Рядом на площадке какие-то штуки, к которым тебя подвешивают, как к дыбе, и ты крутишься и учишься управлять парашютом с помощью строп.

Одним словом, много там всего есть. Кругом газон, липы, дорожки. Эдакий парк культуры и отдыха. И вышка такая же, как в парках, — с десятиэтажным дом. Поднимаешься по винтовой лестнице — наверху площадка. Над нею на стропе парашют. Надеваешь подвесную систему, открываешь дверцу в перилах и... вниз. Парашют тихо опускает тебя на землю.

Вот тогда-то я впервые испугался. Пока мы из проволочных самолетов прыгали, все шло гладко. Даже по тем рельсам пролетел благополучно. А вот когда дело дошло до этой проклятой вышки, застопорилось, просто не пойму, в чем дело. Снизу смотрел — все нормально. Да и чего бояться? Намертво прикрепляют тебя к парашюту, еще специальной веревкой страхуют, чтоб, не дай бог, ветер не едул, как одуванчик. На вышке капитан — зам по парашютной подготовке, влезу — командир взвода лейтенант Грачев, кругом народ.

Над головой голубое небо.

Но когда мне все пристегнули, когда я посмотрел вниз, ну словно ножом полоснули. Как прыгать, куда? Это же пропасть!

— Давай, Ручьев, пошел! — командует капитан.

А я стою.

— Да ты что, Ручьев, боишься, что ли? Тогда отставить!

Не знаю, не могу вспомнить, как прыгнул. Открыть глаза не успел — уже на земле. Приземлился на ноги. Все в порядке.

Ребята ничего не заметили. А вот командира взвода обмануть не удалось, во всяком случае, на разборе он хоть ничего не сказал, но как-то странно на меня смотрел.

— Ну что, братцы, малое боевое крещение прошли! — Это старший лейтенант Копылов нас подбадривает. Он тоже внизу стоял, шутил. Веселый парень. Впрочем, для меня он не парень, а командир роты. А для солдата командир роты куда важнее самого командующего. Но еще важнее командир взвода. А уж самый главный — сержант. В этом я с первых же дней убедился. Распоряжается, в наряды посылает. Иногда у меня прямо дыхание перехватывает от возмущения! Почему я должен, например, мыть пол, да еще в туалете? Почему?..

Для того я учился десять лет в школе, для того говорю по-английски, как англичанин, для того готовил себя в дипломаты? Мне кажется, в нашем обществе каждого следует использовать там, где он наиболее полезен. Вот тот парень, что на мандатной к пороссятам просился, он, наверное, и пол мыть спец, а я представления не имею, как это делается. Во-первых, у нас и пола-то в квартире не видно, всюду ковры, а во-вторых, есть же Дуся. Опа, кстати, не претендует преподавать английский, а я не лезу мыть полы и борщ варить.

Недавно сказал об этом старшине. Выбрал момент, территорию убирали — перекур, старшина вроде в хорошем настроении, стоим шутим, я и спросил; нашел, конечно, подходящие слова, деликатные. А потом подумал — сейчас он меня шугает. Нет, посмотрел на меня внимательно и говорит:

— Ты, Ручьев, об ополчении слышал? Знаешь, кто тогда на войну шел? Профессора, писатели, инженеры, архитекторы, режиссеры и, между прочим, дипломаты тоже (памятливый, черт!). Люди с положением, с заслугами и не дюже молодые, доложу тебе. А шли. Немец-то у ворот стоял. Вот так, Ручьев. А насчет полов да туалетов, кто же, по-твоему, этим должен заниматься? Или уборщиц нанимать? На войне солдаты все сами делают, так неплохо бы уже теперь научиться. Небось стоишь думаешь: вы-то, старшина, полов не драйте, а? Думаешь так? И зря. Учти, в армии через это все прошли. И я драил. И командир взвода. И роты. И генерал. В армии никого сразу генералом не делают. Ничего, Ручьев, слезит с тебя это. Еще спасибо скажешь. — Потом на часы посмотрел. — Кончай перекур! Хватит болтать, рядовой Ручьев, вынесите-ка лучше вон то ведро.

Убедил, называется! А может, в чем-то он и прав...

Зато уж строевая подготовка наверняка никому не нужна. Не пойдем же подрывать мост в тылу противника строевым шагом? Или снимать темной почью часовых, построившись в колонну по четыре?

Так ист, каждый день на плацу: кругом, налево, направо, шагом марш!

Не жалеют нас, пожалели бы подметки сапог — все же государственное имущество, оно тоже денег стоит...

Говорят, строевая подготовка вырабатывает осанку, подтянутость и т. д. и т. п. Возможно. Но мне-то зачем? Я же спортсмен, у меня, слава богу, походочка ничего, небось по улице Горького ходил — все девчонки оборачивались. Да и другие ребята у нас в роте спортом занимались. А манекенщиком от мундира быть, кому это нужно? Вроде старшего лейтенанта Васнецова. Есть тут один, друг Копылова, тоже командир роты. Прямо с плаката. Талия уже, чем у моей Эл, наверное. Сапоги сверкают — больно смотреть. Удивительно неприятный субъект. Как-то дежурил он по полку. Выходит на плац, подзывает меня (и надо же было рядом оказаться!), приказывает: «Товарищ гвардии рядовой, передайте гвардии старшему лейтенанту Копылову, что его срочно вызывают в штаб к телефону!» Повторил я приказание (научился уже), повернулся по всем правилам и иду. Не очень спешу. Он мне вдогонку: «Быстреей!» Я шаг ускорил. «Быстреей!» — орет. Я еще немного прибавил, но не бегу. Что я, собачонка? Передал приказание Копылову, занялся своими делами, смотрю — посыльный за мной: «Дежурный по полку вызывает». В чем дело, голову ломаю.

Прихожу, докладываю, а он мне говорит: «Гвардии рядовой, почему не выполняете Устав? Что сказано в статье 135 Устава внутренней службы? Приказание начальника выполняется беспрекословно, точно и быстро! И БЫСТРО! Идите и доложите командиру роты, что нарушили статью 135 Устава. Пусть он сам наложит на вас взыскание».

Ох и разозлился я на него! Ведь не поленился послать за мной человека, вызвать и прочесть целую нотацию. Меня что, за патронами посылали? Или за подкреплением в бою? Чего бежать? Неужели в мирное время, да еще в воскресный день три-четыре минуты играют роль? Обязательно надо гонять свою власть показывать. Вот это самое ужасное здесь, в армии, — любые приказы обязательно надо выполнять. Я ж не говорю — в военной обстановке, даже в мирной — ну, штаб загорелся бы. Так нет, все равно давай бегай, скорей, скорей. А время, между прочим, можно было по-другому сэкономить — не заставлять повторять приказаний. Не склеротик, пять слов как-нибудь запомнил бы...

Словом, вечером подхожу к Копылову, докладываю. Так и так, мол, велел дежурный по полку за нарушением статьи... и та-та-та и тру-ту-ту.

Копылов выслушал, посмотрел на меня и говорит:

— Да, Устав ты, Ручьев, нарушил, но взыскание накладывать не буду. Если б по службе меня вызывали — наказал, а так мне мать из Оренбурга звонила, три дня все звонка ждал. Да вот не удалось поговорить: пока ты за мной бежал, время у нее кончилось.

Повернулся и отошел...

А я потом всю неделю не знал, куда себя деть. Лучше б оп мне десять суток гаушвахты вкатили или в трибунал.

Тогда только успокоился, когда окольным путем узнал, что дозволиться все же мать до Копылова.

Ну, а насчет Устава, так я, по-моему, теперь только и делаю, что бегаю, забыв, как нормальным шагом ходить.

Ни на что времени не хватает. Письма-то я все же должен Владу и матери написать...

*Дорогая ма!*

Мне очень грустно. Хотя письма твои я получаю ежедневно, но радости мало. Ты права — люди не любят людей. Ну ладно, этот адъютант не поддавался твоим шармам, он, наверное, билеты в театр и так может достать, но режиссер тот из ЦТСА

ведь папкин коллега, хвалил его пьесу, и вдруг: «Ничем помочь не могу, в армии все должны отслужить». И это называется человек искусства. Кстати, почему отец не ставит в своем театре пьес на военную тему?

Ну, а я что? Я как обычно. Встаю ни свет ни заря, завтракаю, обедаю и ужинаю за полчаса. Весь день на ногах.

Я не ужираю, но... Ты правильно пишешь, что трудно с утра до вечера общаться с людьми другого круга. Стараюсь как могу.

Сблизился тут с Сосновским Игорем, парень серьезный, солидный, одна беда — он мой начальник, а в армии это усложняет отношения.

Похудел. Но не жалею. Легче стало бегать и ходить, а это ныне мое главное занятие. Кстати, как мой «Запорожец»? Мне сейчас кажется, что как вернусь, так даже в дом напротив буду ездить на машине.

Здесь все восхищаются моим водительским искусством. Я, разумеется, не могу рассказать тебе, какими машинами мне приходится управлять, но это нечто грандиозное. В моих же руках они легки, как велосипеды. Начальство просто потрясается. Вообще, если б я не стремился ради тебя быть в Москве, то мог бы иметь здесь исключительные перспективы для карьеры. В армии таких, как я, не могут не заметить.

Но я, конечно, готов всем этим жертвовать ради того, чтобы быть с тобой и учиться в институте.

Мама, у меня к тебе просьба, только очень между нами, хорошо? Позвони, пожалуйста, Эд, как будто интересуешься, что я ей пишу, и намеки, мол, беспокоись, есть сведения, будто меня готовят к особому заданию, что я тут в начальниках, ну в таком роде...

Ты понимаешь, разумеется, что дело не в хвастовстве, просто хочу ее проверить, чисто психологический эксперимент. Заодно, как она там, звонит, не звонит? Вообще-то меня это не очень интересует. Так...

Здесь не до мыслей о бабушках. Иные дела. Не хочу жаловаться. Могу лишь сказать, что живу одной мечтой: скорее к вам, к себе домой, пусть хоть на воскресные дни, но в Москву.

Целую тебя, ма, крепко-крепко и отца. Не скучай, не расстраивайся, но сделай, что можешь, чтобы вызвать своего сына.

Твой Толик.

Здорово, Влад, старик!

Давненько не писал, каюсь, да и ты не забрасывал меня посланиями. Что новенького, как живет престольная? Ты небось, лишившись своего верного извозчика Ручьева, ходишь пешком, а потому строен, подтянут, худощав. В нашей компании этим немногие могли похвастаться. Тебя бы сюда. Тут, друг, из любого сделают спортсмена.

Что тебе сказать? Как должен ты себе представить очередной летним вечером жизнь своего далекого друга? Так и вижу тебя на нашем диванчике в «Метрополе», и мысли твои далеко-далеко, они с лучшим твоим и вечным другом — Ручьевым. Помнишь, я написал тебе как-то:

Ты только вспомни грустную, красивую мелодию,  
Объятья странной неги и опьянения час,  
Бокал недопитый под «Синюю рапсодию»  
И блеск всегда печальных, полужакрытых глаз...

Помнишь? Ты еще расплакался, когда я прочел, тебя Эя все утешала. Правда, напизался ты здорово, еле домой дотащили. Но стихи пропали.

Вообще-то поэтом мне быть, а не дипломатом.

И уж во всяком случае не генералом.

Знаешь, Влад, вот уже прошел месяц, как мы расстались, а я живу какой-то двойной жизнью. Одна здесь — стрельбы, походы, учения, приказы, это вне меня; другая — внутри меня — ты, наши столичные будни...

Сейчас это кажется сном.

Я немного уже привык к здешней жизни. И все-таки она постоянно преподносит сюрпризы. Суди сам. Сажу я, читаю Джека Лондона по-английски — у нас много в библиотеке книг на иностранных языках — тоже, кстати, сюрприз. Подходит наш командир роты Копылов. Я, как положено, встаю.

«Ну что, Ручьев, — спрашивает, — Джека Лондона читаешь?»

«Так точно, товарищ гвардии старший лейтенант!» (Представляешь, старик, как мы тут к начальству обращаемся? Раньше я б язык сломал.)

«А что именно?»

«Когда боги смеются», — отвечаю и повторяю название рассказа по-английски.

«Нравится?»

«Очень, — говорю. — Я вообще Джека Лондона люблю. Осо-

бенно северные рассказы — «Белое безмолвие», «Мудрость снежной тропы», «Тысяча дюжин»... — шпарю, заметь, по-английски, — «Вкус мяса»...

И вдруг (нет, ты только представь, старик!), вдруг гвардии старший лейтенант товарищ Копылов, который, как я считал, кроме уставов, ничего, разумеется, не читал, эдак невозмутимо-спокойненько, на отличном английском поправляет высокоинтеллектуального, суперэрудированного филолога и полиглота Ручьева.

«Вкус мяса» — это из другой оперы, Ручьев. Из рассказов о Смоке Белью. Или ошибаюсь? Честно говоря, Джек Лондон мой любимый писатель. Ты читал его «Что значит для меня жизнь»? Интереснейшая статья. Прочти. Капиталистов под нож разделяет. Здорово».

(Я, кстати, об этой статье и слыхом не слыхал.)

И все по-английски! Представляешь? Я как рот открыл, так и закрыть забыл.

А потом говорит:

«Ты, Ручьев, в английском преуспел. Тут ребята сами учат, помощи в случае чего».

«Есть помочь», — только и напелся сказать.

Вот такой сюрпризик, старик, а вечером еще один, поменьше. Заявляется некий Щукарь — такой огрызок черненький, быстренький, как жучок. Я тут его однажды обидел. Он хотел со мной в самбо померяться, у него второй разряд. Ну, ты меня знаешь — раз-два — и он у наших ног. Так представь, не обиделся, пришел, просит помочь в английском. Он, видишь ли, курсы не закончил, а прослышав, что я знаток в английском, помощи ждет, хочет за срок службы заочно курсы свои кончить. Ну ты видел?

Нет, старик, тут есть чудные ребята. Я тебе еще напишу о них. Вхожу в контакт.

Словом, пиши, что да как.

Т.

И я подумал — как интересно. Какое разные бывают на свете люди! Мысль, конечно, не оригинальная. Далеко. Но я-то впервые сталкиваюсь с этим по-настоящему. Дружки мои московские — как-то все на одно лицо. И я заодно. Словно нас в одинаковые формочки заливали.

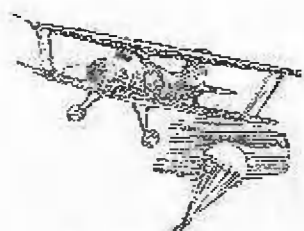
А вот вырвали нас всех из разных компаний, из разных мирков и всех разных собрали вместе — в армии. И тут уж, прошу

прощения, можно сравнивать. Кто получше, кто похуже, кто какую жизнь здесь представляет.

Да еще каждую минуту проверочка — кто как себя покажет, что умеет, на что способен.

Нет, армия — это тебе почище любых экзаменов, тут не спишь. Тут будь здоров падо ныхнуть, чтоб пятерку получить. И по таким предметам, каких ни в одной программе не значится.

Интересно все же, как я — какую сумму пабору.



## Глава VII

Дивизия готовилась к прыжкам.

Собственно, готовилась не вся дивизия, готовились новобранцы. Обычно два начальных обязательных прыжка с «Ан-2» проводились еще во время пребывания новичков в карантине. Но сильные ветры и частые дожди испортили первые летние месяцы. Прыжки без конца откладывались.

Мощные тупорылые «ГАЗ-66» шили по проселкам к бесконечному зеленому полю. По краям поля, на опушках редколесья, вырастали палаточные городки, белели два-три дня и исчезали.

Офицеры воздушподдесантной службы озабоченно суетились на поле возле полосатых надувных «колбас», покали языком, колдовали над ветромерами и, оторченно разводя руками, шли звонить начальству. Ветер шесть метров в секунду, прыгать пельзя. Ладейников долго ругался в трубку, словно офицеры ВДС были виноваты в капризах погоды, — «а если война, тоже подушки будем подкладывать?» — но отдавал приказание, машины увозили солдат обратно.

Проходила неделя, и автопадомничество к обетованной зеленой земле начиналось снова.

Наконец погода установилась. Источая запах бензина и пыли, жаркие грузовики прочно встали на прикол под сенью кленов и берез, палаточные городки обросли умывальниками, степами для боевых листов, грибами для дневальных. Задымились летние кухни, далеко окрест разнося дразнящий аромат борщей и каш.

В своих гнездах в преддверии напряженных трудов урчали маленькие зеленые птицы-работяги — «Ан-2».

Словно многоликое, многорукое существо приготовилось к действию.

Боясь капризов погоды, офицеры ВДС пазпачили начало прыжков на половину шестого утра.

Горизонт еще только алел, наливался румянцем, зажигая огромное голубое небо. Золотой солнечный шар едва лишь поднимался откуда-то сонно, лениво, не проснувшись хорошенько, а уже в перелесках и на опушках раздались зычные команды «Подъем!», а затем послышался приглушенный землей дробный стук сотен бегущих ног...

Вдали взревели авиационные моторы. Но и они не в силах были заглушить пенстовое щебетание птиц — все эти щелканья, посвисты, рулады.

Птицы восторженно встречали зарю, и не было им дела до людских забот, волнений и хлопот.

А волновались в тот день все.

Еще бы! Первый прыжок для десантника — это боевое крещение. И то обстоятельство, что многие уже имели на своем счету прыжки, ничего не меняло. Аэроклуб — одно, здесь — другое. Первый прыжок производился без оружия и снаряжения, на тех же «Ан-2», он носил скорее спортивный, чем военный характер. И все же многое было по-другому.

Прежде всего потому, что прыгали сегодня не спортсмены аэроклуба, не досаафовцы, а солдаты. Пусть еще робкие, не очень-то уверенные и, честно говоря, трусившие порой. Но солдаты. Знавшие, что любой их следующий прыжок может быть не на это вот спокойное, раздольное поле, а на поле боя, где дым и огонь, где тебя ждут внизу не заботливые командиры, а вражеские пули и гранаты.

Спортивный путь закончился там, за стенами аэроклуба — низкий поклон тебе, ДОСААФ, за пауку! Начинался новый путь, путь боевой. Новая паука — военная.

Ну, а второй прыжок тем более — с оружием и снаряжением. Так что не от утренней свежести шла по рукам у многих гусиная кожа в этот торжественный, наступающий в зоревых разливах, в голубом сверканьи день...

Есть, оказывается, в армии приказы, которые нарушаются с первой минуты их издания. Красивыми красными буквами на плексигласовой пластинке, укрепленной возле руля, значилось: «Приказ! Скорость не более 60 километров!» «Газик», на котором, презрев изящную салатную «Волгу», неизменно развезжал ком-

див, не превышал указанной скорости лишь тогда, когда стоял на месте. Стоило ему тронуться, и стрелка спидометра уносила в такие дали, о которых не подозревали, наверное, сами конструкторы машины.

— Катафалки тебе возить, плетешься, как на похоронах, — неизменно ворчал Ладейников в спину очередному своему водителю. На этой должности солдаты в дивизии не задерживались, пока не появился один, мрачный и нахальный. Когда Ладейников в первый раз произнес свой традиционный упрек, солдат, не оборачиваясь, огрызнулся:

— Могу быстрой. Только в случае чего на катафалке оба будем, товарищ генерал, — и понесся с такой скоростью, что даже у Ладейникова дух захватило.

Водитель остался у комдива прочно. Он грубил старшим, накопил такое количество парядов, что и всей службы не хватило бы отстоять, но ничего поделать с ним не могли. Не успевал командир транспортного взвода отправить вечного нарушителя в паряд, как следовал срочный звонок — машину генералу! Никаких других водителей Ладейников не признавал.

Вот и сейчас машина Ладейникова мчалась по проселку со скоростью, которой мог бы позавидовать экспресс.

Хутора, поле под утрепным паровым туманом, колодцы с журавлем, стадо, разрозненно бредущее по молчаливым улицам деревень, — все летало и улетало, словно в ускоренной съемке, а «ГАЗ-69», дрожа и гудя, несся к светлеющему горизонту.

К месту посадки в самолеты Ладейников прибыл, когда подразделения уже стягивались к линии надевания парашютов. Солдаты стояли в строю, держа уложенные парашюты в руках. Потом надевали их, помогая друг другу, без конца поправляя подвесную систему, перемещая тяжелые пудовые переносные сумки.

Офицеры, как пчелы возле сот, суетились вокруг, проверяя, наверное, в сто первый раз сто раз уже проверенное, показывая и указывая...

Медленно ряды двигались вперед, подходя к линии проверки командира взвода, потом командира роты, каждый раз надолго застревая, пока не останавливались окончательно на линии проверки ПДС.

Дежурный с красной повязкой на рукаве не суетился. Он окидывал каждого спокойным, многоспытным взглядом, от которого, казалось, ничто не могло укрыться.

Заполнялись бумаги, отдавались команды, и новички рысью устремлялись к самолетам...

Впрочем, первыми, по давно заведенной в дивизии традиции, прыгали политработники.

Полковник Николаев прибыл в лагерь накануне чуть не со всем своим политотделом. Его офицеры вместе с замполитами рот и комсортами весь вечер провели среди солдат, занимаясь, как выражался Николаев, «морально-парашютной подготовкой». В вечернем синем воздухе, далеко разносясь кругом, звучали песни, смех, заливался баян, звенела гитара.

Офицеры рассказывали всякие увлекательные истории с неизбежным веселым концом, смешные случаи. На завтра предстоял праздник, настоящий великий праздник для десантников. Именно так их и настраивали.

А утром, облачившись в комбинезоны и шлемы, офицеры политотдела во главе со своим начальником первыми вошли в самолеты, первыми прыгнули, а потом, приземлившись, быстро добрались к месту посадки, разошлись по подразделениям и продолжали начатое накануне дело.

— Первые прыжки, — говорил полковник Николаев, — должны проходить для солдата в быстром темпе, чтобы он чувствовал себя весело, бодро, испытывал подъем, эдакую лихую решимость. Потом придут и ночные, и высотные, и затяжные прыжки, на воду и на лес, со стрельбой и метанием гранат... Тогда главным будет тактическая задача, внезапность, военная хитрость, находчивость и сообразительность. Тогда прыжок будет лишь средством достижения цели, элементом выполнения боевой задачи. Все будет. Потом. А сегодня, в день первого прыжка, главное — его совершить. И это большая победа. Потому что победа над собой куда труднее, чем любая другая.

Ладейников соглашался с этим целиком. Уж кто-кто, а он-то со своим огромным опытом понимал, насколько прав его заместитель.

И сейчас, стоя немного в стороне, он наблюдал за хорошо знакомой и всегда новой картиной. И волновался. Так же, как в тот день, когда увидел этих сегодня столь одинаковых в шлемах и комбинезонах, но столь разных в своих ощущениях и настроениях парней, входивших в ворота военного городка. Тогда они все одинаково робели и терялись.

Впрочем, волнение ли испытывал сейчас Ладейников? Не было ли это, скорее, радостным возбуждением отца перед выходом сына на ринг, где его обязательно ждет победа? Или озабоченностью: все ли сделано, проверено, обеспечено, чтобы ни одному из этих сотен юношей в расцвете сил, за которых он, Ладейников, несет ответственность, ничто не грозило? А быть

может, неясная тревога — кому чужда она в минуту опасности? Ведь опасность всегда есть в службе десантника. Ощущение ее заглушают песни и шутки, успокаивает уверенность в своей подготовке, проверка, знания. Но это у солдат. А генерал не имеет права забывать о ней ни на секунду...

Прозвучали команды.

Первая группа десантников торопливо взобралась в самолет.

Подпрыгивая и урча, маленький самолетик с большими красными звездами на толстых бортах пробежал по траве, взлетел, вспарывая по дуге голубое небо.

И начался этот безостановочный наземно-воздушный хор. Выбросив свой человеческий груз, самолеты шли на посадку, ненадолго задерживались на земле, ворча от нетерпения невыключенными моторами, вбирали очередную десятку парашютистов и снова взмывали в небо, чтобы через несколько минут вернуться за следующей.

Ни на секунду не прекращается шум моторов, ни на минуту не задерживаются плотные ряды людей в зеленых плащах и комбинезонах, не успевают опуститься на землю очередное белое созвездие, как расцветает новое.

Впрочем, порой бывали перебои.

Идет по своей проторенной воздушной дороге самолет, отделившись от него черная личинка, взрывается светлым взрывом стабилизирующий парашют, сверкает оранжевой молнией чехол, и вот уже величаво расцвел белым пышным цветом главный кукол. Один, второй, третий, четвертый... а пятого нет: что-то застопорилось, кто-то что-то сделал не так или сбоя, и выпускающий задержал прыжки.

Сотни людей, задрав головы, внимательно следят с земли, хмурят брови, качают головами.

Самолет делает плавный широкий круг и снова вступает на проторенную дорожку. Опять из его чрева, всегда ожидаемая и всегда неожиданная, вылетает черная личинка, еще одна, еще... Порядок. Внизу облегченно вздыхают. Пусть со второго захода, но прыгнули все.

Однако осечки случались редко, и Ладейников с растущим удовлетворением следил за этим безостановочным белым посевом.

К месту выброски приближается очередной самолет. Прыгает первый парашютист, второй... пятый... Стоп! Шестого нет. Генерал досадливо морщится. Самолет, проделав круг, возвращается, снова прыгают люди — шестой, седьмой... девятый... А десятый?

Десятого нет.

Самолет возвращается обратно.

Это уже скандал! Кто-то не прыгнул вообще. Отказался. Струсил.

Генерал жестом подзывает дежурного. Спотыкаясь о ночки, подковник бежит к командиру. Докладывает. Да, в самолете новобранцы, да, с ними замполит Якубовский. Так точно, полный состав. Один не прыгнул. Сейчас самолет приземлится, и все немедленно будет выяснено. Так точно, будет доложена фамилия солдата...

Фамилия солдата была Ручьев.

Ничто до последней минуты не предвещало для него подобного краха.

Накануне в палатках роты побывал начальник политотдела дивизии, весело беседовал с солдатами, рассказал смешной случай.

Однажды, это было давно, когда еще встречались новички, боявшиеся прыгать, на летное поле прибыл командующий. Узнав, что есть отказчики, приказал собрать их, вместе с ними сел в самолет. Предварительно вызвал летчиков и что-то таинственно втолковывал им, отведя в сторону.

В самолете генерал корил отказчиков, объяснял, что прыгать — боевое дело, что вот он старик, ему за шестьдесят, а они сейчас увидят, как он лихо сгитарь будет. Ну, кто раньше? Трое прыгнули, а трое так и не решились. Пошли на второй заход. И тут кабина стала заполняться дымом, раздалось какое-то непонятное истрескивание, самолет качнуло раз-другой. Испуганный бортмеханик выскочил к генералу, доложил, что самолет горит, посадить не удастся, надо прыгать, через минуту будет поздно. Командующий заторопился к двери. «А ну быстро!» — заорал он на оставшихся троих. Спеша, задыхаясь в дыму, они без колебаний один за другим покинули самолет. Весело смеясь, генерал прыгнул последним. Хитрость удалась. Дымовая шапка, которую он велел летчикам зажечь, сделала свое дело, бортмеханик оказался превосходным артистом.

Придуманный командующим воспитательный прием был довольно необычный и, говорят, даже привел к не совсем приятному разговору с министром. Но зато все шесть отказчиков с тех пор исправно прыгали и больше всех веселились, вспоминая свой первый прыжок.

Веселились и новобранцы, слушая рассказ полковника Николаева. Потом пели под гитару. Ручьев отличился, исполнив два романса.

Наутро возбужденные, скрывающие это, а потому возбужденные вдвойне, солдаты готовились к прыжкам.

Пройдя бесконечные проверки, группа, в которую входил Ручьев, побежала к самолету по прилепшей от воздушной струи траве. Крепко хватаясь за поручни железной лестницы, тяжелые и неуклюжие, взгромоздились в самолет и разогнулись по местам — четверо слева, пятеро справа, выпускающий — ротный замполит Якубовский у самой двери.

Первым должен был идти Рукавишников, опытный парашютист, набравший в аэроклубе двадцать пять прыжков, четвертым, пятым, и девятым тоже прыгали ребята, уже имевшие опыт, замыкал десятку Якубовский.

А средние звенья этой мудро, на основе многолетнего опыта составленной цепочки занимали те, кто опыта не имел. Впрочем, никогда не прыгавших оказалось только двое — Ручьев и Щукин. Ручьев был шестым.

Урчал мотор, солдаты, скрывая волнение, молча жались на узких металлических скамеечках.

Не молчал только замполит. Обычно не очень разговорчивый, он на этот раз что-то рассказывал, сыпал шутками.

— Чего нахохлились, как куры в дождь? Через месяц не то что с автоматами, с баянами прыгать будете.

В конце концов ему удалось снять напряжение. Солдаты заулыбались. Появился бортмеханик и, пройдя к двери, открыл ее. Шум мотора и свист ветра наполнили кабину. Якубовский еще раз внимательно осмотрел солдат, проверил крепление вытяжных веревок.

— А ну-ка, Щукин, взгляни на мою. Будешь отвечать. Смотри, не раскроется парашют, я тебя на гауптвахту отправлю.

Щукин засмеялся, кто-то подхватил шутку.

— Приготовиться! — скомандовал бортмеханик. — Пошел! Слетка пригнувшись в проеме невысокой двери, Рукавишников мгновенно исчез, за ним быстро последовали все парашютисты левого ряда и первый из правого.

Теперь настала очередь Ручьева.

Вот тогда-то все и случилось.

Все первое время пребывания в армии Ручьев был настолько подавлен, а позже захвачен новыми впечатлениями, что о прыжках не думал вообще. Да и придется ли прыгать — ведь скоро последует перевод в Москву. Все это временно.

Он без особой охоты выполнял все положенное, не очень сходясь с товарищами, жил какой-то своей, обособленной жизнью.

Ну, будут прыжки. Ну и что? Мало ли какие удивительные вещи довелось ему проделывать за эти первые месяцы: мыть пол, например, чистить картошку, стрелять...

Бывали минуты, когда он даже не без удовольствия представлял, как восхитится в Москве, увидев на лацкане его пиджака значок с цифрой «500». Нет, пятьсот — это уж слишком. Скажем, «100». Мысль о том, что он может испугаться, просто не приходила ему в голову. Почти все солдаты его роты, прибывшие с ним, имели прыжки. Что ж, он хуже этого тщедушного Щукаря или «профессора» Сосновского?..

Конечно, и его охватило общее волнение, когда в назначенный день машины, пыля по дорогам, повезли новичков в зеленые дали.

Но потом прыжки не состоялись, не состоялись и второй раз, и третий. Все привыкли.

А накануне у Ручьева оказались другие заботы: он получил письмо из дому, где мать сообщала, что вопрос с переводом никак не удастся решить, все задерживается. За многословием, слезливыми просьбами и советами, как беречь себя, не хватило места для новостей. Пришло и другое письмо, от Эл, не такое нежное, как бы следовало. Ну и вообще...

Уже в самолете возникла неясная тревога, какое-то тяжелое, необычное ощущение. Ручьев не сразу понял, что это страх. Самый обыкновенный страх.

Откуда он взялся? Все время Ручьев думал о доме, о друзьях, о веселых допризывных годах, о своей машине и костюмах, курортных поездках и ресторанах, а главное, о своем блестящем дипломатическом будущем.

У вдруг неожиданно, мгновенно — мысль о смерти. Гибели. Катастрофе.

В тот момент, когда его товарищи один за другим начали исчезать в проеме невысокой двери, Ручьев почувствовал тошноту, слабость в ногах; спину, подмышки, шею окатил жаркий пот.

Перед ним в страшной, как ему чудилось, глубине виднелись крошечные деревья, палатки, машины, люди...

Где-то внизу колыхались на парашютиках уже покинувшие самолет солдаты.

Ветер и шум, казалось, пробили его голову, заполнили ее. Нужно было сделать одно движение, один-единственный шаг. Еще мгновение — и будет поздно.

Ручьев упустил это мгновение.

Неодолимая, необъяснимая сила приковала его руки к степ-

кам кабины сильнее любых наручников, ноги вросли в пол. Он тяжело дышал, бледный, растерянный.

— Отставить, Ручьев! — донесся до него как сквозь туман спокойный голос Якубовского. — Ничего, бывает, садьте, соберитесь, через минуту сами не заметите, как прыгнете.

Самолет пошел на второй заход, прыгнули остальные. На этот раз Ручьев даже не встал со скамейки. Он сидел, будто погруженный в вату, но всему равнодушный.

И только где-то в самом потаенном уголке сознания горела мечта — пусть самолет взорвется или, не садясь, перенесет его в Москву, в его уютную комнату, и чтоб он проспался, а все происшедшее оказалось сном.

Ведь теперь он был одинок, совершенно одинок. По одну сторону широкой, непреодолимой пропасти стояли тысячи прыгнувших, по другую — он один, не прыгнувший. И ужас перед тем, что ждет его внизу — град насмешек и издевательств, гнев и угрозы начальства, презрение товарищей, — схватывал его все сильнее, становился непреодолимым, душил.

Он чувствовал, что теперь не прыгнет уже никогда, а ведь предстоял второй полет, второй прыжок, его снова поднимут в воздух, и все повторится, как будто мало ему одного раза...

Самолет легко изогнулся о землю и, слегка подпрыгивая, покатился по траве.

Бортмеханик открыл дверь и подтолкнул Ручьева к лесенке...

— Ничего, парень. — Он похлопал его по плечу. — Сегодня не прыгнул — завтра прыгнешь. Бывает.

От этого незамысловатого утешения на глаза Ручьева навернулись слезы.

Хоть один не стал издеваться.

Он неуклюже сполз по лесенке, отворачиваясь от воздушных струй неутраченного мотора. Мимо него, торопясь, пробежала очередная десятка, скрылась в самолете. Хлопнула дверь, и «Ап-2» затрусил рысцой в очередной полет.

Звук мотора замер вдали. Наступила тишина. Ручьев остался один.

Он сорвал шлем. И сразу же вновь возник шумный мир: допеслись тарахтенье самолетных моторов, далекие слова команд, топот ног, даже низкий гул электрички принес из каких-то неизвестных далей свежий, ароматный ветерок.

Рядом раздались голоса. Обернувшись, Ручьев увидел командира взвода, роты, замполита, начальника политотдела, дежурного по прыжкам, еще каких-то офицеров. Впереди стоял генерал...



## Глава VIII

Не понимаю, что произошло. Вообще ничего не понимаю. Только одно мне теперь ясно — из-за чего люди кончают самоубийством. Если б был у меня сейчас пистолет, я, не раздумывая, нажал спуск!

Впрочем, это чепуха. Чтоб нажать спуск, надо иметь хоть горсточку воли, той самой, которой мне не хватило в самолете. Уважаемый Ручьев-Печорин, если б вы хотели покопаться с собой, кто вам мешал прыгнуть, когда вы были в восьмистах метрах над землей, а не стоя на ней, как сейчас, обеими ногами? А? Как удобно! Летишь подобно ангелу. Хлоп об землю, и снова превращаешься в ангела! Великолепно! Но ведь именно во избежание подобной перспективы вы и не прыгнули, уважаемый Ручьев. Герой! Вы предпочли быть жалким, ничтожным трусишкой на земле, чем ангелом в небесах. А теперь вам не хватает, видите ли, пистолета! Вы пожелали наказать себя смертью! А на губу за трусость не хотите? Или два наряда на кухню? Если, конечно, ваши товарищи, действительно герои вроде Щуккина или Хвороста, удостоят есть картошку, очищенную таким ничтожеством, как вы.

Да, да, нечего смеяться! Они-то действительно герои, они прыгнули, как и все остальные. Только один нашелся во всей дивизии, во всех воздушнодесантных войсках, во всей Советской Армии человек, сплутавшийся прыгать с парашютом. Это вы, уважаемый Ручьев. Чрезвычайный и полномочный посол!

Господи, господи! Ну почему? Ну что я сделал такого плохого в жизни, чтоб меня так? Все люди как люди, а я какая-то паршивая овца! Прыгать испугался! Я испугался, а они нет.

Ну как теперь жить? Как прийти в роту? Помню, в четвертом классе у нас на уроке обделался один мальчик. Так его не только на следующий же день в другую школу перевели, он через месяц в другой город к родственникам совсем уехал. Еще бы, каково после этого прийти в класс?

Вот и я в таком же положении. Ведь не будет теперь ни одного человека в дивизии, кто бы не показывал на меня пальцем, кто бы не смеялся.

Могут и домой написать. Пишут же иногда в деревню или на

предприятие, когда солдат совершил недостойный поступок. Может быть, бежать, скрыться? Смешно! Дезертир Ручьев, Ручьев — беглый каторжник...

Но как же это все-таки произошло? Ведь до последней секунды я был убежден, что прыгну, как все, что ничего здесь нет особенного: раз-два — и готово.

В чем же дело? Настроение? Настроение мне мать со своим дурацким письмом действительно испортила. Но ведь у нее все письма такие. Господи, и что она пишет! Я знаю все про наших родственников, друзей и знакомых до десятого колена, в курсе всех литературных и театральных сплетен Москвы.

Если б я издал мамыны письма, то получилась книга «Москва и москвичи» вдвое толще, чем у Гиляровского.

А как много места в письмах моей дорогой мамочки занимает оплакивание меня. Можно подумать, что я не только умер и похоронен, но и память обо мне несправедливо предана забвению. Теперь мама восстанавливает справедливость.

Наверное, нашим театр москвичи уже не видят. В основном он дает спектакли в военкоматах и военных учреждениях в порядке шефства. Кончится это плохо — надо написать, чтоб папа перестал. А то узнают, и все будут здесь надо мной смеяться.

Впрочем, теперь это уже не имеет значения...

Или это Эл привела меня в такое состояние?

Вот дура! Идиотские письма — на десяти страницах она описывает, как они ходили в ресторан, ездили на пляж, купали...

...И вот когда я остановился у двери и увидел, как далеко земля, какое там все маленькое, когда я представил на секунду, каким будет выглядеть мое тело вверху, если не раскроется парашют, я оцепенел. Я не мог двинуть ни ногой, ни рукой. А почему, собственно, парашют должен раскрыться? Да, есть вытяжная веревка, есть два прибора, есть запасной парашют, есть многие дни тренировок, наконец, голова на плечах, которая давно усвоила, запрограммировала и готова, не размышляя, автоматически выдать все, что надо сделать.

Однако я не мог побороть предательского чувства подступившей опасности. «А вдруг не раскроется?» — твердил я снова и снова. И опять убеждал самого себя, что такое невозможно, что каждый механизм отлажен, обеспечена стопроцентная гарантия.

Все это пронеслось в мыслях со скоростью, не доступной никаким электронным машинам. Солидная, обоснованная, неопоримая аргументация! А жалкий, наипримитивнейший ин-

стинкт самосохранения оказался сильнее. И высоко интеллектуальный, волевой (в требованиях к маме), решительный (в своих действиях с девушками) Ручьев не смог его побороть.

Ну что ж, надо испить горькую чашу до дна. В конце концов, нет людей, проживших жизнь без страданий, без мучений.

Пусть смеются, пусть издеваются, пусть наказывают... Может, отчислят, пошлют вместо того парня в свинарник.

Что ж, я готов. Я на все готов... И, честное слово, когда этот бортмеханик попытался меня утешить, я чуть не расплакался. Хотя один напелся порядочный, понял. Я вылез из самолета. По-моему, выйти из него, когда он оказался на земле, мне было трудней, чем тогда, когда он был в воздухе.

Там мгновенная смерть, здесь — вечные муки.

Я готов, я готов.

Ни к чему я оказался не готов. И уж во всяком случае не к тому, что ждало меня.

Генерал подошел один, помог снять парашюты, обнял за плечи, повел по полю. Остальные ждали в отдалении.

— Ну что, сынок, не повезло? — спрашивает.

И как он это сказал, все — разревелся, как мальчишка. А я и есть мальчишка, да еще в худшем виде — маменькин сынок.

То ли пронял он своим «сынком» все мое напряжение — готовился бог знает к чему, только не к этому, то ли слово «не повезло» меня подкупило — единственная из тысяч причин, какой бы я хотел все объяснить.

Иду, здоровый болван, хлюпаю посом, слезы вытираю. Хорошо, никто не видит из ребят, далеко, да и заняты своими делами — прыжки-то продолжаются.

Ведь у этого Ладисникова тысячи таких, как я. Небось уж можно было и забыть, что есть отдельные люди, не полки, не роты. А он нянчится со мной.

— Ну что приуныл? — говорит. — Все равно ведь прыгнешь, не с первой попытки, так со второй. В любых прыжках три попытки дается, — смеется, — да в финале еще. Так что времени у тебя, сынок, еще много.

— Не прыгну я... не получится... — бормочу. — Теперь уж ничего не выйдет...

— Получится, — успокаивает, — все получится. Хочешь пари? А? Могу свои генеральские сапоги в заклад поставить. Ну?

Улыбаюсь. Успокаиваюсь.

Действительно, неужели не прыгну? Ну, получилось такое дело в первый раз, так сам комдив и то все понял. Что ж, другие не поймут?

Такое меня к нему сильное чувство захлестнуло! Такая благодарность! Не знаю, если б пришлось когда-нибудь, я б за него с радостью жизнь отдал! Я понимаю, что войны нет, нет боев, ничто его жизни не угрожает. И жертвовать своей мне ради него не придется.

Но если б потребовалось, ни минуты не думал!

Прошелся он со мной по полю. На душе опять мрак — ведь сейчас второй прыжок предстоит.

Но когда к офицерам вернулись, генерал громко говорит:

— Не проси, Ручьев. Следующий раз прыгнешь. А на сегодня все. Больше прыгать запрещаю.

Так сказал, будто я его все время уговаривал. У меня прямо камень с души — я ведь понимаю, что сегодня опять бы ничего не получилось, опять бы струсил. А так вроде бы сам генерал запретил. Не запрети, я б, мол, сто раз еще сегодня прыгал.

Какие бывают люди на свете! Да, это не то, что наши лейтенанты. Копылов например. Как он меня встретит, и Якубовский, и ребята?

Опять мрак. Опять плохо. Прямо душ Шарко — то кипятки, то лед...

Мои давно отпрыгались.

Иду один вдоль поля.

А с неба все сыплются и сыплются солдаты; самолеты, как в карусели, все кружатся и кружатся, все выбрасывают и выбрасывают, «мусорят».

По полю машины курсируют — подвозят стабилизирующие парашюты с чехлами.

Ребята укладывают парашюты. Смеются, орут. «Эй, — кричит один, — смотри-ка: Ленька как колбаса висит! Ха-ха!» «Ты зато как одуванчик порхал!» — смеется другой.

Весело им.

Прыгнули, сейчас значки получают. Праздник.

Для всех праздник. Только не для меня.

Чем ближе к палаткам подхожу, тем медленней иду. Потом понесся. Уж скорей бы.

Первым встречаю Сосновского. Сам ко мне подходит. С минуту смотрим друг на друга, как фарфоровые собачонки. Потом он говорит:

— Слушай, Толя, ты дурака не валяй. Я ведь по глазам вижу, всех ненавидишь, думаешь, смеяться будут. Так вот, даю тебе честное комсомольское, что никто не хмыкнул. Ни один.

Огорчились — это верно. За тебя огорчились. И не бойся, в следующий раз прыгнешь. Все тебе поможем.

«В следующий раз». Все мне этот «следующий раз» пророчат, утешают. Помогут! Интересно как? Может, за меня прыгнут или всем миром из самолета вытолкнут? Добряки.

Хмыкнул я что-то и пошел в свою палатку. Слава богу, никого там нет.

Только лег — старший лейтенант Копылов вваливается. Веселый, улыбается. Вскрикиваю.

— Ну что, Ручьев, нос повесил? Утешать не стану. Ты небось «бывает» да «в следующий раз обязательно прыгнешь» наслушался. Повторяться не буду. Страшного, действительно, ничего нет. Подумай, как сделать так, чтоб осечки больше не было. Нужна помощь — скажи. Но, честно говоря, я думаю — сам справишься. Без помощников. Теперь главное. (А это, значит, было не главное!) Давай-ка займись боевым листком — помоги ребятам. Пикифоров руку ушиб, так что действуй. Надо срочно выпускать. Сейчас старший лейтенант Якубовский придет — давай мозгуй, предлагай. Чтоб через час листок висел. Действуй!

Ушел. Будто ничего не произошло. А может, действительно ничего не произошло?

Только что я буду в листках писать, о ком? Меня-то там не было...

Ушел Копылов, пришел Грачев. Ну уж этот... Нет, тоже ничего. О чем-то говорили — уж и не помню о чем. Только уходя, он бросил:

— А насчет прыжка — не беспокойся, мы с тобой еще займемся этим делом, и прыгнешь. Один раз не получится, другой получится. Дело-то простое — так что, считай, случайность.

Какие они все деликатные: «не повезло», «случайность», «бывает». Ни один ведь не сказал: «Трус ты, Ручьев, последний трусишка!» А так оно и есть.

Пришел Якубовский. Так даже и не заговорил о моем «деле»; начал обсуждать листок. О чем писать. И вдруг я ему говорю — как, и сам не пойму:

— Товарищ гвардии старший лейтенант, давайте я напишу, почему я прыгнуть испугался.

Он посмотрел на меня, потом говорит:

— А сможешь объяснить? Правду написать сможешь? Если сможешь — валяй.

— А не будут смеяться? — спрашиваю.

— Уважать будут, — отвечает.

Беру карандаш, бумагу, сажусь писать. Ребята пошли значки получать. Я не могу выдержать — выхожу из палатки, незаметно пристраиваюсь за деревьями, смотрю. Выстроились буквой «П», посередине стол, все начальство. Вызывают одного за другим. Подходят к столу, получают значок, руки им жмут, в строй возвращаются, улыбаются во весь рот.

Вернулся в палатку. Обидно...

Сижу пишу. Ребята врываются. Увидели меня и замолчали. Кто-то подошел, обнял за плечи.

А Хворост, подлец, как загогочет:

— Ребята! Гвардии будущий генерал Ручьев прыгает мемуары на тему «Как я не прыгну с парашютом!».

Ведь в самую точку попал! Я хотел сам... а он заранее оплевал... Ну что ж, вот и началось.

Скомкал я лист, выбежал из палатки — и в лес.

Бродил, ходил, в другие расположения зашел, там же меня не знают в лицо.

Думал, все поймут. Ошибался.

Оказывается, генералы, офицеры понимают, а свои ребята — нет. Анна Павловна правильно говорила: «Зла жди от тех, кто ближе».

В роту вернулся перед вечерней поверкой.

Прошел мимо боевого листка, незаметно покосил глазом: про меня ничего.

Вошел в палатку. Так решил: если кто слово скажет, морду пабью изо всех сил. А там пусть хоть в трибунал...

Но тут вечерняя поверка, отбой.

Только лег, смотрю, кто-то в сумраке подползает, шепчет:

— Слушай, Толь, ты не лезь в бутылку. А? Извини. Это я так, дурака свалил. Я ничего плохого-то не думал...

Хворост.

— Ладно, — говорю.

А он не уходит.

— Пет, ты извини меня. Да ты не думай, я сам, не из-за ребят... Знаешь...

— Извиняю, извиняю, — ворчу, — иди спать, а то старшина услышит — будет дело.

— Ну смотри, Толь. Я ведь понимаю. С любым может быть. Я сам знаешь как боялся — небось от страха и прыгнул. Ну сегодня не вышло — в следующий раз...

Как я услышал это «в следующий раз», чуть не убил его, честное слово. Отвернулся, накрылся одеялом. Молчу.

Он чего-то еще побормотал, уполз к себе.

Молодцы все-таки ребята, небось поддали ему жару за меня.

Интересно, как бы отнеслись ко всему Влад, например, или Гера. Уж те б небось год зубы скалили. Друзья...

Все здесь как-то не так. Здесь вроде бы все за одного и один за всех. А там, я подумал, ну что у меня с Геркой общего? Что машинны есть, что одной компанией в «Метрополь» ходим и по телефону по два часа тремлемся? Плевать я на него хотел, случись с ним что, я вопить бы не стал, и он тоже. Это, в общем-то, конечно, не дружба. Так, собутыльщики мы или, как мать выражается, «люди одного круга». Но, честно говоря, я б к противнику в тыл с ним не стал прыгать. Конечно, и Сосновского тоже в нашу компанию московскую не повел, он там белой вороной оказался бы. Только вот что важнее?

Ведь стоило одному Хворосту хмыкнуть в мою сторону, сразу воп ребята ему хвост прищемили. Здорово!

Я в ту ночь долго не мог уснуть. Интересная мне мысль пришла в голову. Подумал, а все-таки жалко будет с ребятами расставаться, когда мать добьется перевода. Вообще, как-то я в стороне стою. Особняком. Вроде они отдельно, и я отдельно.

А когда у меня такое случилось — сразу все ко мне повернулись. Все же зря я так...

Наверное, мало веселого, когда вот так жизнь стучит тебя по лбу. Но ведь бывает же. С кем хочешь бывает. А вот потереть лоб и забыть — это удел дураков. Умный, наверное, должен сделать кое-какие выводы. Ну, хотя бы не думать, что ты всегда лучше всех. В чем-то так, а в чем-то — нет. Рапьше я считал, что тс, в чем я не первый, ерунда, пустяки. Оказывается, не ерунда. Неужели Дойников смелее меня? Не могу поверить. А между тем он-то прыгнул... Почему? Интересно, к концу службы неужели не выбьюсь в люди, в том смысле, как это здесь понимают, а не в том, как понимает моя мама? В какой-то момент мне даже хочется остаться — проверить себя. А то действительно устроят в Москве в какую-нибудь инвалидную команду. Меня, гвардейца, десантника!

Эх, только бы прыгнуть, только бы сделать этот крошечный шаг в пустоту! Ну что стоит? Маленький шажок, секундное дело! Уж потом все будет в порядке. Уж потом увидите, каков Ручьев. Только этот шажок...

На следующее утро проснулся — все нормально. Как будто ничего не было. Приглядываюсь, прислушиваюсь — весь в напряжении, как на старте. Нет, ничего. Постепенно отошел.

Щукин подкатывается. Принес с тетрадками английским заниматься. Ну, я помогаю, объясняю глаголы (из меня, навер-

ное, хороший преподаватель получился бы), он сопит. Усваивает.

Ребята, краем глаза вижу, следят со строгостью: как, мол, у Щукаря идет учеба. Я — как.

Вечером едем обратно в городок. Едем веселые, с песней. Я тоже веселый — а с чего?

Вроде бы все плохо, прыгнуть испугался. Единственный. А настроение все равно хорошее. Почему — стал думать. И решил — из-за ребят. Я вроде бы тяжело раненный, и все тащат меня на себе, перевязывают, фляжку подносят. Здорово ведь.

Такая, например, деталь. Привезли парадную форму. Стали к ней значки привинчивать, гвардейские знаки. Командир отделения ходит, проверяет. Ко мне подошел, говорит:

— Нет, Ручьев, ты сдвинь знак. Куда ж ты его виштишь? Эдак у тебя парашютный значок на спину уедет. Вот смотри...

Мол, значит, и вопроса нет о моем будущем прыжке — уже намечает, где парашютный значок привинтить. У ребят-то он уже висит, у меня только нет. Но этого никто будто не замечает.

Дойников тоже со мной педагогическую работу проводит. Глазниця свои голубые вынул, беседует тонко.

— Знаешь, — говорит, — я вот все думаю — нет трудней военной специальности, чем десантник. Недаром все десантники — гвардейцы. Ты подумай только. Ведь фронт переметать на транспортном самолете — это уже опасно. Зенитки пуляют, пулеметы, истребители протвишка. А для десантника это так — только закуска. Теперь дальше смотри — прыжок с парашютом. Ну, сам-то прыжок ерунда. Но ведь придется и ночью, и в лес, и в горы, да еще, может, тебя внизу засада поджидает. А для десантника это все тоже только цветочки. Вот когда приземлишься, тут только ягоды начинаются. Другим войскам, когда в окружение попадают, да патронов мало, да жрать почти печего, иной раз хана — погибай. Так? А для десантников это небось нормальное начало для боевых действий. Для всех конец, а для нас начало. Да еще потом обратно выбираться... Нет, что ни говори, я очень гордый, что десантник.

И надувается. Я-то понимаю, что все его речи ради слов «прыжок ерунда». Мол, смотри, сколько опасностей и трудностей, а прыгнуть-то — самое легкое.

Песталоцци-Дойников! Дойников-Макаренко.

А Сосновский во время самоподготовки приволок дополнительной литературы до потолка и все о безотказности парашютов, безопасности прыжков и т. д. и т. п. Если ему верить, то

спать в собственной постели намного опасней. Долго крихтел, потом рассказал анекдот.

— Понимаешь, — говорит, — один бухгалтер спрашивает испытателя парашютов: «А кто ваш дед был?» — «Тоже испытатель». — «Он жив?» — «Нет, погиб при испытаниях». — «Да ну! А отец кто был?» — «Тоже испытатель». — «А он жив?» — «Нет. И он погиб при испытаниях». — «Так как же вы не боитесь прыгать?» — бухгалтер удивляется. А испытатель, в свою очередь, задает вопрос: «А ваш дед кем был?» — «Бухгалтером». — «Жив?» — «Нет, умер. Но естественной смертью, в собственной постели, в окружении родственников и друзей». — «А отец?» — «И отец был бухгалтером и тоже мирно богу душу отдал в собственной постели, в окружении...» А испытатель перебивает: «Так как же вы не боитесь в постель ложиться?»

Сосновский смеется. А я заливаюсь и того пуще. Остановиться не могу. Наконец он уже с тревогой смотрит на меня, спрашивает:

— Ты чего? Анекдот смешной или истерика?

— Анекдот мировой, — говорю. — Я его первый раз примерно в третьем классе слышал. И рассказывается он про моряка и купца. А в твоей интерпретации получается, что все парашютисты разбиваются, так что если ты меня наугад хотел, то своей цели достиг.

Нахмурился. Сообразил. Потом уж оба смеялись.

Но, в общем-то, мне все это надосло. Если они еще долго будут меня утешать, я без всякого парашюта с места в реку брошусь.

Выбрал момент, подхожу к Копылову, спрашиваю:

— Товарищ гвардии старший лейтенант, разрешите обратиться?

— Слушаю, Ручьев, — говорит.

— Товарищ гвардии старший лейтенант, — объясняю, — мне во что бы то ни стало надо прыгнуть. Я психологически готов. Когда можно? И очень прошу, если я на секунду задержусь, колебаться начну, вы меня прямо коленом как следует. Мне, главное, из самолета вылететь, товарищ гвардии старший лейтенант, а приземлюсь я идеально, вот увидите. Честное слово!

Он смеется.

— Да, вижу, ты психологически готов, раз тебя коленкой пужно из самолета вышибать. — Серьезным стал. — Нет, Ручьев, ты сам должен прыгать. И прыгнешь. Вот скоро будут очередные прыжки, и прыгнешь. Никаких сомнений тут нет. Но давай будем к этому серьезно относиться. Прыжок должен быть

для десантника таким же обычным делом, как мышь поразить, окоп отрыть, гранату бросить. Ты привыкши к самой мысли. Чтоб тебе этот прыжок не снился по ночам, не заслонял жизнь. Вот тогда будешь, как ты выражаешься, «психологически готов».

Да, наверное, поторопился я с разговором. Но действительно, поговоришь с ребятами, посидишь на занятиях в парашютном классе, послушаешь «старичков» и даже начинаешь удивляться: ну что такого в прыжке особенного? Тысячи, десятки тысяч людей прыгают, и ничего...

Командир взвода лейтенант Грачев со мной специальную беседу провел. Не деликатничал, прямо сказал:

— Давай, Ручьев, еще раз все повторим, чтоб уж с этой стороны у тебя сомнений не было. Чтоб не думал об авариях да катастрофах. Вот смотри...

Перебрали все детали — и укладку, и устройство, и приборы, и все варианты неполадок, и как их устранять...

— Ну, — говорит под конец, — видишь? Все, конечно, может быть, но скажу прямо: у самолета, в который садишься, шансов грохнуться не меньше, если не больше, чем у твоего парашюта не раскрыться. Так ведь в самолет-то спокойно садишься, не боишься...

Прав он. Смеется, я улыбаюсь. Прав.

Особенно запомнился мне разговор с нашим замполитом Якубовским. Он вообще мне нравится — эlegantный, красивый, спортивный. Все у него подогнано, начищено. Всегда спокойный. Казалось бы, политработник, а все военные дела знает, будь здоров. Стреляет дай бог — третье место в округе занял, колосу проходит — опомниться не успеешь: кажется, только на старте был, и вот уж финиширует.

Если б я когда-нибудь стал офицером, вот таким бы хотел...

Как-то беседовал с нами в свободное время — он это час-теперь делает — и рассказал случай.

Еще во время войны двух десантников послали на задание. Полетели. По дороге зенитки их обстреляли, бортмеханика убило. Еще фронт перелетели. Добрались до места, один прыгнул, а второй испугался. Летчик кружил, сколько мог. Кричал, pistolетом грозил. Никак! Так и не прыгнул, назад вернулся. А тот, что прыгнул, один задание выполнить не мог, да и вообще погиб — попал в переплет. Вдвоем бы выбрались, а в одиночку не получилось.

Казалось бы, не прыгнул, со всяким может случиться, а на деле? «На деле — предатель!» — ребята орут. «Расстрелять», —

это Костров. И я ору. А сам-то? Посмотрел на ребят. Нет. Вроде бы никто параллелей не провел.

Задумался. Действительно, что значит не прыгнуть в бой? Это как если б приказ «В атаку!», а я начну травинки на бруст-вере считать!

Вот так.

На душе мутно.

И главное, надо писать об этом проклятом первом прыжке. Я столько уже назвонил о нем в своих письмах, что там все только и ждут доклада. Тянул меня черт!

*Дорогая ма!*

*Ну вот и свершилось. Теперь твой сын истинный парашютист. Могу тебе сказать, что выглядело это хоть и очень торжественно, но прозаично. Во всяком случае, для меня, поскольку ни малейшего волнения я не испытывал.*

*Прибыли все: и генерал, и все начальство. Подняли на самолетах. К сожалению, ты сама понимаешь, не могу сообщить, на какую высоту.*

*В нужный момент подали сигнал, и один за другим мы бросаемся в объятия Пятого океана. Некоторые колеблются, зажмуривают глаза. Не знаю. Я абсолютно хладнокровно смотрел вниз. Расставил руки и ноги, планировал, как полагается, даже значительно дольше, за что мне потом попало: командир роты ругал. «Вы, Ручьев, совершаете первый прыжок, а ведете себя, словно при сотом». Приземлился тоже хорошо, остался стоять на ногах, а не упал, как большинство.*

*Не понимаю, как можно бояться прыжка! При современной технике это совершенно безопасно. Во-первых, раньше чем начать прыгать, мы досконально изучаем парашют в классе. Это надежнейшее сооружение, ма, солидное и неразрушимое, как отцовский диван в кабинете.*

*Надо только правильно его складывать. А уж этому нас столько учат, что и в девяносто лет, когда я буду мирно отходить в лучший мир, лежа в своей кровати в окружении внуков и правнуков, я смогу уложить его как полагается, этот парашют. Да и прозирают потом миллион народа. Так что тут неожиданностей не бывает.*

*Далее. Знала бы ты, сколько мы тренируемся: болтаемся на разных хитрых штуках, тренажерами называются, прыгаем с вышки, из макетов самолетов и т. д. К тому же при прыжке парашют открывается автоматически, его подстраховывают специальные приборы. Словом, надо быть редкостным трусом, чтоб*

побояться прыгнуть. Ты понимаешь? Думаю, что даже Анна Павловна и то бы не побоялась. Так мне-то тем более нечего было опасаться. Верно? Раз практически авария исключена. Главное было сделать первый шаг. Вот это самое трудное... Не для меня, конечно!

Но что об этом говорить... Ты просишь прислать тебе карточку. Обязательно — просто мне хочется, чтоб на моем парашютном значке красовалась уже двузначная цифра, а не однозначная, как теперь.

Ты пишешь, что насчет перевода намечаются кое-какие варианты. Ты не спеши. Конечно, если реально, то это не плохо, но в конце концов и здесь жить можно.

Эх, если б ты знала, какие здесь хорошие ребята!

Кстати, ма, пришли мне тот учебник, знаешь, который отец тогда из Англии привез, мой любимый. Тут я ребятам помогаю — он мне пригодится.

И, пожалуйста, не присылай мне больше варенья — ей-богу, уже вся рота объелась, буду скоро в другую роту отдавать. И пончики. Пойми, они же сюда приходят в несъедобном виде.

Что касается свитеров, то тоже не надо. У меня их четыре штуки.

О приезде сюда пока и не думай. Я говорю серьезно. Ты должна дать мне слово, что, пока сам тебя не попрошу, не приедешь. Дай честное слово.

Ну вот и все, пожалуй. Обнимаю отца.

Твой Толик.

Старик, привет!

Что-то ты не балуешь меня посланиями. Твою оду о том, как праздновали Геркино рождение, прочел с удовольствием и грустью.

Теперь это все так далеко. Здесь иная жизнь. И ты знаешь, Влаб, странно, но, кажется, начинаю привыкать. Понимаешь, наверное, уж так устроен homo sapiens, что ко всему привыкает.

Я начинаю убеждать, что люди, встающие в шесть утра, пробегающие ежедневно двадцать километров и съедающие горшок пшенной каши, чувствуют себя не хуже, чем дрыгнувшие до полудня, передвигающиеся в индзапорожцах и поглощающие «табака» в «Арагви» на берегу улицы Горького.

Не спорю, гложет порой тоска по нашему веселому житью, но, честно говоря, не могу сказать, чтоб я здесь пожирнел, по-

дурнел, поглупел. Нахожусь в полной форме, загорел на семи ветрах.

И кое-чему научился.

Ты спрашивал в прошлом письме, как «это выглядит» — прыгать с парашютом.

Выглядит.

Конечно, для тебя это равносильно космическому полету. Ну, а уж для бывалого рубаки Ручьева, прошу прощения, так сказать, обычное дело.

Взлетел, прыгнул, приземлился. Раз-два — и никаких переживаний. Главное, чтоб под ногами не было банановой кожуры — можно поскользнуться.

Как там Эл? Вообще-то она пишет. Но мне интересны твои данные.

Скоро пришлю тебе свой портрет с дарственной надписью. Храни на память — в старости сможешь продать за большие деньги. Представляешь: «Генералиссимус Ручьев ранней поры».

Ну ладно, старик, зовет труба, трубят труба. Переключаюсь на дальнейший распорядок дня.

Пиши, не забывай. Звякни моей ма, хитро выясни, не собирается ли она совершить ко мне сюда вояж. Если да, любым способом отговори.

Т.



## Глава IX

Татьяна была в ярости. Русые волосы, на этот раз не заплетенные в косу, спутались и все время лезли на глаза, что еще больше раздражало ее. Щеки, и без того отнюдь не бледные, пылали.

— Честное слово, последний раз с вами иду! Сто раз зарекалась. Но это уж последний! Ну что вы за люди!.. Двадцать три часа в день заняты службой, час отдыхаете. Так и в этот час о чем говорят? О службе!

Своей быстрой, энергичной походкой она шла вечерними, уже осенними улицами города, рубила воздух рукой.

Ее спутники — Копылов и Васнецов — еле поспевали за ней. То один, то другой периодически открывал рот, пытаясь возразить, но тут же умолкал под градом упреков.

— Нет, серьезно! Ну какой мне смысл ходить с вами куда-нибудь? Да и зачем я вам нужна? Мы встретились во сколько, — она поднесла к глазам руку с большими мужскими часами, — в шесть? Да? А сейчас одиннадцать. Гуляли. В кафе были. Фильм смотрели. Так что, веселились? Ничего подобного — господа офицеры провели насыщенное служебное совещание. Тема: воспитание солдата личным примером...

— Погоди, Таня, — прорвался наконец Васнецов.

— ...Я не права? Нет? Хочешь, перескажу все ваши разговоры? У меня память дай бог! Солдата вы можете воспитывать личным примером в любой области. Только, ради бога, не учите его проводить свободное время. Не получится...

— Да погоди ты...

Но Таня только отмахнулась.

— Хорошо, еще втроем ходим. Пока вы стратегией занимаетесь, я фасоны платьев обдумываю. Пойдешь с любым из вас вдвоем, через пять минут сбегешь.

— А ты попробуй! Распиши дежурства. Одно воскресенье с ним, одно со мной, — Копылов завладел разговором, но непадолго.

— Я так и ждала! С тобой вдвоем пойдешь, тут же начнутся разговоры о любви. «Таня, выходи за меня замуж», «Таня, не могу без тебя жить», «И зачем ты только этого сухаря Васнецова вечно с нами таскаешь?» Нет уж!

Копылов, красный как рак, возмущенно фыркал: «Да когда... Ну знаешь!..» — только и можно было разобрать.

Васнецов переводил подозрительный взгляд с Копылова на Таню и обратно, а сама Таня продолжала говорить, устремив на друзей невинный взгляд:

— Ты не обижайся, Володя, но помнишь, когда ты последний раз объяснялся мне в любви, ну, еще радовался, говорил: «Слава богу, этого зануды Васнецова нет». Ты что, забыл? Вспомни, что я тебе сказала? «Не надо, Володя, — я сказала, — давай дружить. Буду тебе как сестра». Помнишь? И поцеловала тебя в лоб.

Шаги их гулко разносились по пустой улице, окаймленной старыми, погрузневшими в ожидании осени платанами.

Эта странная, вызывавшая недоверие у любителей ясности дружба связывала старших лейтенантов Копылова и Васнецова и старшего сержанта-сапеструктора Кравченко давно.

Отличная спортсменка, мастер спорта по художественной гимнастике, она увлеклась парашютизмом, а получив соответствующую медицинскую подготовку, пошла в армию. Ныне Та-

тьяпа Кравченко имела на своем счету два всесоюзных рекорда, медаль чемпионки страны и звание мастера по второму виду спорта.

На ее большом парашютном значке красовалась внушительная трехзначная цифра.

С первых дней появления в дивизии эта синеокая девушка мгновенно привлекла внимание той части офицерского корпуса, чьи погоны ограничивались одним просветом, а состав семьи одним человеком.

Офицеры в дивизии имелись лихие — красавцы, спортсмены, искусные ораторы, мастера-сердцеседы. Были пущены в ход наиболее современные средства атаки, предпринимались фланговые маневры, плелись военные хитрости, всю работу разведка.

Время шло, а результатов не было.

Убедившись в том, что нигде не таится скрытый муж или жених, что никому из наличного состава не отдается предпочтение, офицеры успокоились. Привыкли.

Наиболее настойчивые — Копылов и Васнецов — превратились в друзей чистой воды.

Вместе проводили воскресные вечера, занимались спортом.

Таня частенько воспринималась теперь старшими лейтенантами как «свой парень». Они делились с ней своими мужскими заботами, обсуждали дела.

Во всем этом она принимала живейшее участие. Но иногда вдруг восставала. Напоминала, что она девушка, а не «свой парень», что не грех подарить ей цветочек, поухаживать за ней, повздыхать и вообще...

Иногда они попадались на удочку и пытались «тряхнуть стариной», иногда ворчали и даже возмущались. Но, в конце концов, все входило в колесо, как выражалась Таня, «побеждала дружба».

В дивизии многие удивлялись, как это так: красивая, знаменитая, окруженная поклонниками и влюбленными — и «живет одна»...

А между тем ничего удивительного в этом не было. При всей своей склонности к общению и живом характере, Таня была серьезна и отлично знала, чего хочет. Она с удовольствием принимала ухаживания. Она бы страдала, если бы их не было. Порой мимоходом кто-нибудь правился ей.

Но серьезное чувство пока не явилось, разбрасываться же она не собиралась, да просто и не смогла бы.

По вечерам и выходным дома одной сидеть не приходилось.

Спутников, стоило ей сделать знак, возникало любое число. Она не скучала, жила полной жизнью.

Сегодня состоялся очередной, по выражению Тапи, «культпоход». Смотрели какой-то древний фильм, посидели в кафе. Кафе, собственно, было не кафе, а ресторан, уютный, стилизованный под охотничий домик.

Темы бесед и неизменных жарких диспутов, сопутствовавших «культпоходам», бывали весьма разнообразны.

Обсуждалась какая-нибудь очередная книга или кинокартина, причем если Копылов находил ее превосходной, то Васнецов, как правило, осуждал.

Офицеры были представителями той современной молодежи, что ревностно и активно следит за жизнью. И общественной, и политической, и культурной. Сейчас много таких студентов, физиков, врачей, рабочих, ученых, инженеров. Очень много военных. Это все народ, влюбленный в свою профессию, могущий говорить о ней часами и считающий каждый свою самой лучшей в мире.

Но это не мешает им жадно читать литературные новинки, смотреть, в меру возможностей, последние спектакли и фильмы, бывать на концертах.

Круг интересов этой молодежи поистине безграничен, каждый имеет свое хобби — у кого альпинизм, теннис, охота, у кого филателия, коллекционирование пластинок или автографов, у кого радио-, фото- или кинолюбительство, рисование, самодеятельность...

Разумеется, в армии все осложнялось нехваткой времени. Однако это не мешало Копылову совмещать в одном лице сценариста, режиссера, оператора, а то и главного героя своих бесчисленных фильмов, а Васнецову гордиться «уникальной», как он утверждал, фопотекой. Что касается Тапи, то ее хобби был спорт. Учитывая службу, учебу да еще кружок, который она вела на одном из городских предприятий, тайной оставалось, откуда у нее хватало времени на сон, уж не говоря о таких вот встречах с друзьями.

Но она любила эти встречи, а особенно споры, долгие беседы.

Так они гуляли, спорили и снова гуляли.

...А вот теперь возвращались домой, и Тапи корила друзей за те самые разговоры, в которых сама принимала активное участие.

Проводив Тапию до дому, небольшого деревянного особнячка, где она с подругой снимала комнату, начали прощаться.

Вдруг Копылов, хлопнув себя по лбу, завопил:

— Стоп! Татьяна! Самое главное забыл! Ей-богу, со своей болтовней он вечно сбивает меня с серьезных тем.

— С моей болтовней! — воздев очи, повторил Васнецов. Вголосе его звучали мученические потки. — Вы слышали!..

— Ну говори же. — Тапи сторала от любопытства. Любопытство было, как она считала, главным ее недостатком. Она с ним боролась, но пока безуспешно.

— Слушай, у меня в роте есть солдат. Солдат — во! — Копылов воткнул в воздух большой палец. — И спортсмен, и шофер, и певец, и в дуду игрец... Отличный парень. Но, — он сделал многозначительную паузу, — испугался прыгать с парашютом!

— Ну да? — удивилась Тапи.

— Испугался, так гони его в шею. Что ж это за десантник? — заметил Васнецов.

— Вот, видела? Видела? — Копылов устремил в сторону друга обвинительный перст. — Не прыгнул — гони в шею! Не поразил мишень — па губу. Не прыгнул через кося — в трибунал. У гвардии старшего лейтенанта Васнецова проблем нет. Все просто, все ясно...

— Погоди, что дальше-то? — перебила Тапи.

Но тут заговорил Васнецов:

— Одного не пойму, сейчас редко встретишь у нас новичков, у кого в гражданке не было прыжков, а уж в твоей роте тем более. Значит, и этот прыгал. Почему ж теперь испугался?

— Представь себе, не прыгал!

— Так зачем брал?

— А затем, что у него много других качеств. Ну не прыгал. Прыжкам-то легче научить, чем, например, английской грамматике.

— Как видишь, нет.

— Не вижу. Не вижу, представь. Было время, в ВДВ приходили ребята — они и в кино-то не видели, как прыгают. Научились. Ничего. И этот прыгнет.

— Ну хорошо, а при чем тут я? — нетерпеливо вменялась Тапи.

— А вот при чем. Парень — красавец. Думаю, в гражданке привык, что все девичьи от него без ума. Наверняка в этом направлении у него гипертрофированное самолюбие. И у меня возникла идея...

— Знаю, — перебила Тапи, — сажаешь меня с ним в самолет, он влюбляется, ради меня готов и без парашюта в про-

пасть. А с парашютом тем более. Прием, замечу, не новый. Мне девочки на сборах рассказывали, что у них тоже так делали.

— Ладно, — Копылов нахмурился, — я ж не говорю, что велосипед изобрел. Тем лучше, коли прием проверенный. Но в принципе — согласна? Я скажу ему, что у всех в роте два обязательных прыжка уже есть. Остался он один. Есть возможность прыгнуть со спортсменами. Мол, никого не будет. Он да я, да пара человек из сборной. Наверняка обрадуется. В случае чего никто не узнает, ребят не будет. Ну, понятно?

— Что ж, я — пожалуйста. — Таня пожала плечами. — Странно, конечно, чтоб такой парень, каким ты его описываешь, и боялся. Но бывает, паверное. Словом, скажи, когда и что.

— Действительно странно, — заметил Васнецов, — отборная рота — и вдруг отказчик. У меня небось побольше не имевших прыжков, и все, как один, прыгнули. А у тебя...

— Парень сложный... — раздумчиво произнес Копылов. — Понимаешь, с одной стороны, богатырь, прямо создан десантником, с другой — маменькин сынок, ей-богу, машина своя, родители что могли делали, чтоб его от армии избавить.

— Ничего себе десантник! — фыркнул Васнецов.

— А что, упрощенец ты! Все тебе готовое подавай. А воспитывать кто будет?

— Ну хватит, пора спать, ребята. — Таня помахала рукой. — А насчет парня — пожалуйста, когда падо, дай знать. Как, кстати, его фамилия-то?

— Да фамилия ничего, — усмехнулся Копылов, — журчащая фамилия — Ручьев. Ручьев Анатолий.

— Как? — Таня медленно сошла со ступенек крыльца, вернулась к Копылову. — Как ты сказал?

— Ручьев, сказал, что, плохая фамилия?

— Да нет, — задумчиво пробормотала Таня, — фамилия как фамилия. Ну пока. — И она медленно поднялась по ступенькам и исчезла за обитой дерматином дверью.

Офицеры неторопливо направились домой, продолжая разговаривать.

— А по-моему, даже красивая фамилия, — сказал Копылов, — и вообще отличный солдат должен получиться. Ему бы только вот прыгнуть.

— Ты скажи, Володя, — полюбопытствовал Васнецов, — зачем тебе это нужно? Поверь, я не меньше твоего пекусь о роте. Но вот появился отказчик. Чего ты будешь на него время тратить? Лучше это время использовать на другое, ну там на по-

вышение боевого мастерства и так далее. Представь, будет смотр, учение, а у тебя боец не прыгнет. Это же ЧП.

— ЧП. Но я считаю, если у меня появился солдат-отказчик, а я его не заставляю прыгнуть, это тоже ЧП, да, пожалуй, почище. Зато уж если прыгнет, то будь здоров станет боец! Мы, конечно, все работаем с ним. Замполит уже с ребятами из его отделения говорил. Недежчиков подключили. Словом, главную работу проводим. Но в крайнем случае этот помер с Таней, по-моему, должен получиться.

— Не прыгнет, так грош цена твоему, как его — Ручьеву. А знаешь, я начинаю вспоминать эту фамилию. Не тот ли это, которого я однажды за тобой посылал, когда по части дежурил? Мать тебе звонила. А?

— Тот.

— Ну, друг мой, это ж не солдат. Разгильдяй. Недисциплинированный, перадивый...

— Посхал! Нет у тебя, Коля, милосердия к людям. Не дай бог, кто у тебя в черненьких окажется, потом год будет до беленького отмываться.

— А что? Не отрицаю. Если кто мое доверие обманул, я сто раз проверю, пока опять ему доверять начну. Ты не забывай. Владимир, в любой час мы с этими ребятами можем в боевых условиях оказаться. И я желаю уже сегодня знать, на кого в какой степени могу рассчитывать.

— Правильно! И я желаю знать. Только, видишь ли, ты вот, образцовый командир, хочешь быть уверенным в солдатах своей роты. В СОЛДАТАХ! А я в Иванове, Сидорове, Ручьеве, в людях, которые эту роту составляют. В ЛЮДЯХ, а не просто в солдатах. Это, брат, не одно и то же.

— Армия — это солдаты. Между прочим, я и о моральном состоянии своих подчиненных забочусь. Отлично понимаю, если невеста написала солдату, что полюбила другого, такой солдат может подвести. Приму меры. Окружу вниманием...

— Да нет, Коля, ты не понимаешь. — Копылов безнадежно махнул рукой. — Ты окружишь вниманием СОЛДАТА, потому что он может подвести. А кто его невеста, почему бросила, как он это переживает, тебе ведь все равно. Если убедишься, что солдат не подведет, — порядок. На остальное наплевать. А меня не солдат, меня ИВАНОВ интересует. Понимаешь? Человек. Я этой невесте напишу. Выясню. Буду того Иванова убеждать, что не стоит эта невеста того, чтоб по ней плакать, или, наоборот, стоит и надо за нее бороться. Помогу. Словом, буду в душу лезть.

— И думаешь, так лучше? В сто дуи все равно не зале-  
зешь. Одну-то до конца не изучишь. У каждого свои стремле-  
ния, мечты, педовольства, привычки, желания. У каждого ро-  
дители, девушки, друзья. Что ж, я должен все это знать, изу-  
чать, во всем копаться? Да тут по офицеру на каждого солдата  
надо, п то не справятся. А вот одну сторону человека я должен  
знать досконально. Это — какой он боец, каким себя покажет  
в бою. Как стреляет, бегает, прыгает с парашютом, преодоле-  
вает препятствия. Дисциплинирован ли, инициативен ли, как  
соображает, труслив или нет — словом, каков боец.

— И ты думаешь, все это можно знать, не зная человека?  
Ошибаешься. Трудно, согласен. Ошибки бывают. Да и ребята —  
не раскрытые книги. Иной — такой кроссворд, что за год не  
разгадаешь. Но надо. И уж во всяком случае надо все время  
над этим работать. Конечно, есть замполиты — это прежде все-  
го их обязанность. Так ведь одно дело делаем. Почему мой Яку-  
бовский может не хуже меня ротой командовать и занятия про-  
водить, а я должен хуже него солдатскую душу знать?..

Так и шли они уже совсем пустынными ночными улицами  
мимо молчаливых, тихих домов. Шли, думая каждый о своем.

Копылов под впечатлением спора размышлял о ефрейторе  
Чурсине. История этого тихого, казалось, всегда печального  
парня служила хорошей иллюстрацией к доводам, которые он  
только что приводил Васнецову.

Ефрейтор Чурсин был бесспорно отличный солдат. Стара-  
тельный, понятливый. Он быстро усваивал не такую уж про-  
стую солдатскую науку, имел несколько спортивных разрядов,  
до инструктора ему оставалось дотянуть всего ничего.

Но вот не было у Чурсина этойой лихости, яркости, что ли,  
с первого взгляда заметной храбрости, свойственных десантни-  
кам, того, что неизменно вызывает восклицание: «Отчаянные  
ребята!»

Тихий, скромный, даже незаметный...

И вдруг Чурсин влюбился. Влюбился в хорошую, веселую  
и добрую девушку — официантку офицерской столовой Машу.  
А она в него. Ходил с ней в увольнение в город, мельком ви-  
делся в городке, написал о ней домой, строили планы. Ну и сла-  
ва богу.

Но оказалось, не слава богу.

Потому что у Копылова в роте и даже в том же, где и Чур-  
син, взводе служил гвардии рядовой со страшной фамилией  
Крест. И вот он-то был, что называется, идеальным десантни-  
ком: высокий, красивый, мастер спорта по борьбе самбо, мастер

в игре на баяне, ротный запеваала и заводила. С двадцати мет-  
ров он втыкал десяток пожей подряд в спичечную коробку, од-  
ного-двух очков не добирал до мастера спорта по стрельбе, бес-  
шумно подкрадывался и снимал самого бдительного часового,  
а по прыжкам с парашютом стал инструктором еще в аэроклубе.

Разумеется, такой орел не остался незамеченным. И едва  
ли не из каждого увольнения его провожала к воротам новая  
красавица.

Но однажды Крест обратил свое благосклонное внимание на  
Машу. Маша и мечтать не могла о таком, ей было счастливо  
и спокойно со своим Чурсиным.

Однако устоять перед Крестом не дано было никому. И как-  
то вечером, когда Копылов позже всех задержался в столовой,  
Маша подошла к его столу.

У нее были заплаканные глаза, покрасневший нос, в одной  
руке она несла компот, в другой сжимала промокший плато-  
чек.

— Ты чего? — спросил Копылов. — Кто обидел?

Маша зашмыгала носом, махнула рукой и убежала.

Потом подошла опять. Теперь уже для разговора.

— Давай рассказывай... — Копылов усадил ее рядом. — Что  
случилось? Чурсин обидел? Он же не может...

Об их идиллической любви Копылов, да и не только он  
один, был хорошо осведомлен.

— Да вот то-то и оно, что не может. Дал бы мне как сле-  
дует, а он... — Маша опять махнула рукой.

Сначала разговор не клеился, но в конце концов выясни-  
лось, что Маша не устояла перед лихим патиском неотразимо-  
го Креста. Сдалась, влюбилась. Чурсина жалеет отчаянно, до  
слез. Чувствует, что тот все понимает, а сказать ему сил нет,  
и Креста прогнать тоже... И вообще хоть топись. Зануталась  
совсем.

Копылов постарался успокоить, обещал что-нибудь придум-  
ать. Но что?

Собственно, формально причин для беспокойства не было:  
и Чурсин, и Крест по-прежнему оставались безупречными сол-  
датами. Копылов знал, что такими они и останутся. Только  
Чурсин стал еще тише, как-то печальнее и незаметнее. И пе-  
рестал стремиться в увольнение. Но оставить все так, как есть,  
Копылов просто не мог, это решительно противоречило его па-  
туре. Его солдаты мучаются, занутались, а он в стороне?

И он вызвал Креста. Посадил напротив и, глядя прямо в  
глаза, спросил:

— Не стыдно?

Крест разволновался. Он дорожил своей репутацией отличного солдата, не числя за собой никакой вины и ничего не понимал.

— Товарищ гвардии старший лейтенант, а что я сделал?

— А Маша? — Копылов продолжал смотреть в тревожные глаза солдата.

Крест вздохнул с облегчением. Маша? Только и всего? Это же не служба. Так, баловство... Да и вины нет никакой — из увольнений не опаздывал, не пил, лишнего не позволял. А что все девки в округе по нему с ума сходят, так что подделаешь! Наоборот, престиж роты поднимает.

— Подумай, Крест, — сказал ему Копылов, — ведь у тебя что ни день, то новая любовь. Не пора ли посерьезней на это дело взглянуть? Ну хорошо, никак не можешь настоящую выбрать, такой уж ты, бедняга, нерешительный. А зачем товарища обкрадываешь, зачем за его счет радуешься?

— Да что вы, товарищ гвардии старший лейтенант?.. — Крест вскочил.

— Садись. Давай так договоримся: если ты ничего не знал про Машу и Чурсина, твоего товарища, про то, как любят друг друга, про то, что пожениться хотят, считай, что у нас разговора не было. И прошу меня извинить.

Крест молчал.

— Знал или не знал?

— Знал... Так ведь она сама...

— Нет, не сама! — Копылов говорил резко, даже зло: — Не сама! Ну кого обманываешь? Себя? Меня? Привык к легким победам! Для тебя она что? Ну проведешь с ней время, ну закружишь голову. И дальше пойдешь. А для Чурсина — она одна. Он другой такой в жизни, наверное, уж не встретит.

— Так что ж мне, товарищ гвардии старший лейтенант, теперь гнать ее, что ли. Она ведь...

— Вот что, Крест, — Копылов встал, — приказывать тебе в этих вопросах я права не имею. Больше того, как солдата ставлю тебя в пример и уважаю. А вот как товарища, а мы в армии, что солдат, что офицер, в конечном счете все товарищи, уважать перестану. Не буду уважать, если по совести не поступишь. А уж как, пусть тебе совесть и подскажет. Иди...

Как поступил Крест, Копылов так и не узнал, только однажды Маша подстерегла его вечером у выхода из столовой и зашептала:

— Спасибо, товарищ Копылов. Большое вам спасибо...

— Все в порядке? — Копылов повеселел. — Ну рассказывай.

— Все, все хорошо. Спасибо вам... — Она заторопилась и исчезла в сгущавшихся сумерках.

Да, десятки людей в его роты, десятки характеров, судеб, сотни проблем.

И пельзя пройти мимо них. Мало того, вмешиваясь, пельзя ошибиться.

Командир роты — большой пост. Почетный и трудный...

Офицеры подошли к дому.

Жили Копылов и Васнецов вместе, в двухкомнатной квартире дома офицерского состава. В свое время заместитель командира по тылу размещать по два офицера в одной комнате отказался.

— Что толку? — говорил он. — Через полгода женятся, и приходится заниматься передислокацией: третьего лишнего куда-нибудь переселять. А так есть своя комната у каждого; женился — порядок. Завел детей — опять же комната есть. Никто не ходит, не требует, чтоб его обеспечивали отдельной кубатурой, поскольку законно сочетался. Ну, а если не женился, продолжает в холостяках ходить при наличии отдельной комнаты — что ж — издержки производства. Да и все равно когда-нибудь женится. Полковников, старых холостяков, встречал, а лейтенантов что-то не приходилось.

Философия мудрого зама по тылу подкреплялась ловкостью и деловитостью, позволявшими обеспечивать офицеров дивизии достаточным количеством «жилищца» приземления.

Говорят, вид комнаты дает представление о характере хозяина. Возможно. Во всяком случае, резиденции Васнецова и Копылова весьма отличались друг от друга.

У Васнецова царил идеальный, даже педантичный порядок. Безупречно заправленная солдатская койка. У стены набор гантелей, гири, эспандеров. На стене боксерские перчатки, в рамках дипломы и грамоты за спортивные победы. Два шкафа с красиво выровненными книгами. Отдельно посудно-хозяйственный шкафчик, отдельно для одежды. Отдельно письменный стол, отдельно обеденный. Никаких диванов, кресел, ковров. Сверкающий пол, сверкающие стекла окон. Магнитофон, телевизор, проигрыватель.

У Копылова — диван, кресла, искусственный камин (сделанный им самим), единственный низкий столик, единственный многоцелевой шкаф. На стенах охотничьи ружья, удочки, кабанья голова, медвежья шкура. На шкафу поломанный

динамики от радиосети. Зато огромная полка с проекторами, кино- и фотоаппаратами, вайпочками, увеличителями, блицами, кассетами... Чисто, конечно, по порядку... в общем, не самый идеальный.

Вернулись. Приняли душ. попрощались. Ушли спать.

Копылов поставил будильник.

Васнецову это не требовалось — он сам мог, по выражению Копылова, «работать будильником». «Не человек, — восхищался он, — государственный эталон времени».

Действительно, Васнецов никогда никуда не опаздывал.



## Глава X

Таня лежала, заложив руки за голову. Она бросила книжку на тумбочку, не погасила лампу.

Тихо посапывала давно уснувшая подруга, тихо лилась музыка из маленького транзистора. В комнате пахло деревенским теплом.

Таня занималась самоанализом.

Почему ее взволновало предложение Копылова? Разве в нем было что-нибудь необычное? Или трудное?

Нет, разумеется.

Причина крылась в другом.

Тане нравился Ручьев.

Если еще накануне она могла в этом сомневаться, то сейчас все было ясно — нравится.

Познакомились они недавно при обстоятельствах не совсем обычных. Старшина роты привел своих солдат на очередное обследование — флюорографию.

Мероприятие это имело целью «обнаружение ранней формы туберкулеза». Десантники, как правило, не были склонны к болезням, и таких, у кого «ранняя форма туберкулеза» была обнаружена, числилось за многие годы в архивах медсанбата меньше, чем пальцев на руке.

Но правила есть правила, и дважды в год громогласный старшина, взяв под козырек, докладывал дежурному о прибытии роты, неизменно спотыкаясь о слова «флюорографическое обследование».

Медсанбат помещался в старом особняке — некогда губернской больнице. Командир медсанбата, энергичный, деятельный подполковник, превратил свое заведение в образцово-показательное и сожалел лишь о том, что желающих попасть туда бывало маловато.

В длинном коридоре, по стенам которого жались выкрашенные белой краской скамейки без спинок, толпились десантники. Их голоса, громкий смех гудко отдавались под сводами.

Санинструктор роты прошелся по коридору, раздавая карточки — небольшие прямоугольники серого картона с номером и инструкцией, напечатанной черными, четкими буквами: «не нарушай очереди», «руки на пояс», «вдохни»...

Ручьев, единственный, кто воспользовался скамейкой, перчитывал инструкцию пятый раз, когда назвали его номер — «13».

Он усмехнулся: несчастливое число, сейчас выяснится, что у него поздняя, запущенная, в последней стадии форма туберкулеза. Срочно уйдут в Москву на предмет годичного постельного режима.

Ручьев привычно одернул китель, проверил, застегнуты ли пуговицы, и шагнул в кабинет.

Это была просторная комната. В центре висело таинственное сооружение серо-стального цвета, смахивавшее на морское орудие малого калибра.

Около суетились рентгенолог и сестра в белых халатах.

На сестру Ручьев сразу же обратил внимание. Она была очень красива: золотая коса короной лежала на голове, взгляд синих глаз из-под длинных темных ресниц задержался на нем.

— Карточку, — негромко сказала сестра.

— У меня тринадцатый номер, но я не боюсь, — произнес Ручьев громко и тут же подумал: «Ну и болван! Сострил называется».

На лице сестры промелькнула улыбка; зубы у нее были очень белые и очень ровные.

— Фамилия — Ручьев?

— Так точно, Ручьев Анатолий, номер тринадцать, — сказал Ручьев и опять с раздражением выругал себя: «Тринадцать, тринадцать, повторяю как попугай!»

Тут в игру вступил рентгенолог.

— Давай залезай, неудачник! — Он стал закидывать могучую фигуру Ручьева в узкую кабинку аппарата. — Вдохни. Не грудь, а мех кузнечный! Итангист?

— Культурист...

Рентгенолог нажал кнопку на пульте — зажглась надпись: «Нет карточки».

— Вы что, Таня, — проворчал врач, — собираетесь его карточку вместо фото беречь?

— Извините. — Таня покраснела. Она торопливо вставила карточку в аппарат.

Зажглась надпись: «Готов к съемке».

Через минуту Ручьев уступал место следующему солдату. Он ничего не сказал. Таня тоже. Только обменялись взглядами.

Вот он уже опять в коридоре, а Таня нажимает очередные кнопки.

И все же что-то произошло.

Так часто бывает. Люди встречаются случайно на каком-то перекрестке жизненных дорог, порой даже не осознают, не замечают встречи.

Но так или иначе, заработали где-то неведомые магниты. Пройдет день, месяц, порой год, и люди снова встретятся, и тогда это станет событием, счастливым, значительным, а иной раз — драматическим.

Но в течение всего времени горит в человеке то ярче, то тише волнующий, чуть тревожный и радостный огонек, горит, сулит впереди счастье или боль...

Татьяна Кравченко — гордость дивизии, прославленная спортсменка. Не прошло и дня, как Ручьев все знал о ней. А вот Таня о нем ничего не могла знать: только то, что он — Анатолий Ручьев, гвардии рядовой, номер тринадцатый, культурист.

Между тем воспоминания о Ручьеве не покидали Таню. Однажды она спросила у рентгенолога:

— Культурист — это что?

Тот посмотрел на нее с удивлением.

— Культурист? Ну как тебе сказать. Вроде воздушного шарика. Дутая величина. Накачивают себе мышцы, как муляжи, и ходят, задаются. А будет настоящая нагрузка — не выдержат. Шага не пройдет, метра не проплывет, ящик с патронами не поднимет.

— Так зачем это пужно? — разочарованно поинтересовалась она.

— Девушек дурачить. Вроде тебя. Думаешь, я не понимаю, почему расспрашиваешь? Парня того, «тринадцатого», забыть не можешь? Вот видишь, и пригодились ему его липовые мускулы. А ты еще «зачем» спрашиваешь!

Таня поспешила прекратить разговор.

Шли дни. Санинструктор старший сержант Кравченко про-

должала свою службу, как всегда. Являлась к девяти часам в медсанбат. Присутствовала на утренней пятиминутке, где энергичный подполковник накачивал свой персонал, заряжая на весь день.

Таня шла к себе, готовила аппаратуру, заправляла пленки, обрабатывала снимки.

Во время приема подавала стаканы с барием, устанавливала экспозицию, переключала режимы, вкладывала карточки, делала записи...

Служба.

И тренировалась. К осени основной спортивный сезон заканчивался, но тренировки продолжались. Иной год Таня насчитывала до двухсот прыжков.

...Свой первый высотный прыжок она совершила, когда ей было двенадцать лет. Он уже тогда был рекордным: выше ее никто, даже мальчишки, не забирался на пожарную лестницу, чтобы потом прыгать оттуда в кучу песка. Таня никогда не любила оставаться последней. В кроссе ли, в лыжном ли походе, в заплыве, да и вообще в любом деле она всегда стремилась быть в числе лидеров. «Если уж не первой, — рассуждала она, — так хоть одной из первых».

А потом был клуб ДОСААФ.

Когда настало время проходить медицинскую комиссию, она явилась не в ту, где осматривали «перворазников», а в ту, где спортсменов. Ей было восемнадцать лет, она была небольшой, но крепкой, сильной девчонкой и комиссию прошла без сучка и задоринки. С волнением ехала Таня на аэродром, чтобы совершить свой первый парашютный прыжок. Но тут удача на время покинула ее — небо заволочло тучами, ветер крепчал. Прыжки отменили.

На следующий день снова. И на третий.

Пять раз приезжала Таня на аэродром, и все зря. В конце концов волнение прошло, появилась злость. Состоится наконец этот проклятый прыжок или нет? Когда самолет поднял Таню в воздух, она была потрясена. Вон внизу дома, дороги! А это лес! И каждая машина на дороге видна. И они двигаются! Медленно-медленно. А это поезд! Как все интересно. Таня узнавала знакомые предметы. Они выглядели отсюда, с высоты, совершенно иначе, и все же это были хорошо знакомые, привычные предметы.

Она совсем забыла о прыжке. Когда настал момент прыгать, испугалась: как, в эту бездну, где дома кажутся спичечными коробками, а машины букашками? Готовясь к прыжкам,

она как-то не думала, что прыгать впервые ей будет страшно. А сейчас...

Вообще Таня всегда была трусихой, но каждый раз пере-сильвала себя. Не для других. Для себя. Себе самой должна была доказать, что может сделать то-то и то-то. Она ничего не видела вокруг, ринулась очертя голову. В мозгу вертелись обрывки инструкций, советов, наставлений. За добрую сотню метров от земли она сжала ноги, готовясь к приземлению. Все время, пока спускалась, вспоминала момент отделения от самолета и внутренне клялась, что никогда в жизни больше не прыгнет. И вдруг страх пропал, словно его никогда и не было.

В первый год Таня совершила 47 прыжков.

Еще когда прыгала в первый раз, подумала: как здорово научиться управлять своим телом в воздухе! И прыжки на точность приземления получались у нее особенно хорошо.

Она много занималась теорией — читала специальную литературу, изучала схемы, решала задачи.

В девятнадцать лет впервые приняла участие в крупных соревнованиях. За ней числилось уже 107 прыжков.

Прошло время. Из четырех мастерских нормативов она выполнила один — фигуру в свободном падении. И опять тренировки. Наконец — звание мастера спорта.

Как поется в песне: «Это было недавно, это было давно...» С тех пор были сотни прыжков, рекорды и чемпионаты. А главное, тренировки, тренировки, тренировки...

Впрочем, осенью прыгала реже. Но прыгала, выезжая со всей командой на загородный аэродром.

Дел хватало.

Один кружок на подшефном предприятии отнимал сколько времени! Там были такие же отчаянные, неукротимые и жадные до всего нового девчата, какой некогда была она сама.

Таня частенько вспоминала того, «тринадцатого». Она не любила изливаться. Пожалуй, была даже скрытной. Чувства и переживания ее отнюдь не становились всеобщим достоянием, как у иных ее подруг.

Однако Рена, радистка, ее соседка по комнате и лучшая подруга, кое о чем догадывалась. Собственно, догадываться-то было не о чем. И все же...

Порой Таня становилась задумчивой, ее взгляд уносился далеко за стены небольшой комнатки. Порой она отвечала невпопад, рассеянно.

Наступил момент откровенной беседы.

— Не знаю, Рена, мне кажется это смешным. Тысячи ре-

бят проходят, и почти все интересные, веселые. Ну проходят и проходят. А этого не могу забыть. Поверь, не потому, что он такой интересный, это бы полбеды. Нет, тут что-то еще.

— Любовь с первого взгляда! — определила Рена.

Обычно в ответ на подобные предположения Таня взрывалась. Поэтому Рена была просто ошарашена, услышав тихое:

— Ты думаешь?

— Да нет, — убежденно констатировала Рена, — теперь уже не думаю, теперь утверждаю.

— Ну и что в таких случаях полагается делать? Ты же специалист.

Но в голосе Тани звучала скорее грусть, чем насмешка. Рена не могла прийти в себя от изумления.

— Таня, серьезно, ты влюбилась! Это ужасно! Я еще никогда не видела тебя такой. Ты влюбилась!

Рена умела хранить тайны. Никто не догадывался о великой сенсации, происшедшей в маленькой компании деревянного особнячка.

Таня, которая не представляла себе, что значит отсутствие аппетита или сна, не спала в ту ночь почти до утра. А когда уснула, ее одолели сны, чего тоже раньше не бывало.

Она видела себя, Ручьева, Копылова и Васнецова, совершающих бесчисленные прыжки — рекордные, в тыл врага, в море, на солнце и на луну, спасая друг друга, избегая самых невероятных опасностей...

Проснулась разбитая, проспав все на свете.

Не успев как следует причесаться, сделать зарядку и позавтракать, умчалась в медсанбат.

И все равно опоздала.

Работала рассеянно, с ошибками.

Вечером взяла себя в руки.

Ну что, собственно, произошло? Ну, увидела интересного парня. А потом узнала, что парень маменькин сынок, трус, боится прыгать с парашютом и ей, Тане, надлежит участвовать в педагогической операции по спасению этого парня.

И отлично. Во всяком случае, причин для переживаний нет. Пусть переживает Ручьев в предвидении прыжка. Или Копылов, ожидая, чем кончится его затея.

Но не она.

В конце концов успокоилась окончательно. «Вспышка триппа», как выразилась Рена, прошла.

И вот однажды, направляясь ясным осенним утром в медсанбат, Таня встретила Ручьева.

Румяная, свежая, бодрая, элегантная в своей шинели офицерского сукна и сверкающих сапожках, Таня оказалась в более выгодном положении, чем Ручьев.

В промасленном, старом комбинезоне, он тащил тяжелые, неудобные аккумуляторы. Весь раскраснелся, пот заливал глаза, сапоги скользили, чертовы аккумуляторы сползали и вырывались из-под связывавших их веревок.

В тот момент, когда, проклиная старшину с его дурацкими заданиями, дворников, которые не считают скользкие опавшие листья, завод, где делают такие полные аккумуляторы, фабрику, где шьют столь неудобные комбинезоны — словом, все на свете, грязный, злой Ручьев остановился перевести дыхание, перед ним, «как мимолетное виденье, как гений чистой красоты», предстала Татьяна Кравченко. Красивая, счастливая, далекая от его солдатских бед и забот. Та самая, встречу с которой он никак не мог забыть.

Некоторое время они смотрели друг на друга. Потом, не говоря ни слова, Ручьев вытер рукавом пот со лба и, наклонившись к аккумуляторам, тяжело взвалил их на плечи.

Он пошел своей дорогой, осторожно переставляя ноги, боясь поскользнуться на мокром, устланном желтыми листьями асфальте.

А Таня смотрела ему вслед. Ей вдруг стало его так пронзительно, так жгуче, по-бабьи жалко, что перехватило дыхание. Ругая себя последними словами за слезливость, глупость и миллион других грехов, она продолжала путь. Одно Таня знала точно — она сделает все, чтоб Ручьев совершил прыжок с парашютом, больше того, она сделает из него спортсмена. Он еще им всем покажет! Он не только прыгать будет, он еще чемпионом станет, рекорды установит! Он...

И у нее стало легче на душе.

Следующая встреча Тани и Ручьева едва не оказалась для них последней.

Произошла она в воскресный день в клубе.

Копылов и Васнецов отправились в городской Дом офицеров на читательскую конференцию, где, как и следовало ожидать, собрались выступить с прямо противоположными оценками обесуждаемого романа. Рена прихворнула. И Таня, оказавшись в одиночестве, отправилась смотреть детектив.

Наконец сеанс кончился, зрители стали неторопливо расходиться.

С темного неба небрежно сыпал мелкий дождик, смешанный с первым жиденьким, мокрым снегом.

Белые шары фонарей равнодушно взирали на эту сырую крупу, затемнившую асфальт, рябившую лужи. Люди поднимали воротники пальто, ежились в плащах, потели в пальто и шинелях. Женщины досадливо оглядывали ноги, считая грязевые брызги на краях.

У Ручьева была увольнительная. Утро он провел в городе на почтамте, пытаясь дозволиться в Москву. Но, как всегда бывает в таких случаях, линия не работала.

Пошел в клуб. Сеанс кончился, а до конца увольнения еще оставалось много времени. Куда идти?..

И тут он заметил Таню. Она стояла одна у фонаря и смотрела в его сторону. Видела ли она его? Он был в тени.

На ее светлых, непокрытых волосах водяная крупа сверкала мелкими бисеринками, воротник штатского плаща был поднят, руки она держала в карманах и не двигалась. Минуту Ручьев тоже оставался неподвижным, потом глубоко вздохнул, словно собрался лезть в холодную воду, и решительным шагом пересек улицу.

— Здравствуйте, Таня, — сказал он тихо и протянул руку.

Она не удивилась. Только спросила:

— Вам кто сказал, как меня зовут?

— Ваш рентгенолог, тогда...

— Ах да, верно. А вы Ручьев — тринадцатый?

— Я ж вам говорил, что не суеверный.

Таня подняла лицо к неприветливому небу, поморщилась, спросила:

— Проводите?

— Провожу.

— У вас увольнительная? До каких? — забеспокоилась Таня.

— Не волнуйтесь. Времени много.

— Ну тогда пошли, — сказала она и решительным жестом взяла его под руку, — я вас чаем угощу.

Первую часть пути по пахнувшим мокрой корой улицам, под облетевшими, голыми деревьями прошли в молчании.

— Вы почему стали десантником? — неожиданно спросила Таня.

— Надо же было куда-то идти. — Ручьев отвечал не торопясь. — Я решил, что больше всего подхожу в ВДВ.

— Почему?

Он пожал плечами.

— Ну, спортсмен... и вообще характер такой...

— Какой? — оживилась Таня. — Какой у десантников характер?

Ручьев не отвечал.

— Вы что, любите приключения, трудности? — настаивала Таня. — Вы, наверное, смелый парень?

— Не жалуюсь. — В голосе Ручьева звучало самодовольство. Таня нахмурилась, но он не заметил этого.

— А с парашютом прыгать не боялись? Первый раз? У вас в гражданке были прыжки?

— Не было. — попытался уклониться Ручьев.

— И не боялись первый раз? — Таня напряженно ждала ответа.

После недолгого молчания Ручьев сказал:

— Нет, не боялся, — и сразу заторопился словами: — А чего бояться? Столько тренировались, пробовали, прикидывали, с вышки прыгали. Ничего особенного, подошел к двери и бух! Только глаза закрыл. Приземлился нормально...

— А... — сказала Таня. Она незаметно высвободила руку, будто поправить волосы.

— Скажите, — Ручьев поспешил переменить тему разговора, — а как вот вы, девушка, и не боитесь совершать всякие там рекордные прыжки и ночью, и с большой высоты?..

— Привыкла. — Таня говорила сухо, но он по-прежнему ничего не замечал.

— А первый прыжок? Боялись?

Таня усмехнулась.

— Я-то действительно ничего не боюсь, — она посмотрела в глаза Ручьеву, — кроме мышей, — добавила она. — Вы не боитесь мышей?

— Мышей? — удивился Ручьев. — Почему их нужно бояться?

— Ну не знаю, — Таня пожала плечами. — Мне, например, непонятно, как можно бояться прыгать с парашютом, а вам непонятно, как можно бояться мышей. У каждого свое...

Ручьев насторожился. Но мысль, что Таня знает его позорную тайну, не приходила ему в голову.

— Да, конечно. Вам поправился фильм?

— Вы считаете, он может кому-нибудь поправиться?

Ручьев улыбнулся:

— А почему нет?

— Как почему? — возмутилась Таня. — Он же глупый! По-моему, простительно рассказать глупую историю — ее услышат пять-шесть человек, но ведь фильм-то увидят миллионы. Ну что за следователь? Его же ребенок обведет вокруг пальца...

Некоторое время оживленно обсуждался фильм.

Потом разговор, пройдя по кругу, вернулся к прежней теме.

— По-моему, — говорила Таня, — к каждой военной профессии, как и гражданской, надо иметь призвание. Одни любят математику — иди в ракетчики, другой — соленые ветры — крой в моряки. И к десантной службе тоже надо иметь склонность. Десантники — это люди очень смелые, решительные, быстрые, инициативные. Вы подумайте, ведь летят через линию фронта — уже опасно, прыгают — тоже опасно... — Что-то вспомнив, Таня торопливо добавила: — В военных условиях, конечно. А ведь это только начало. Главное-то бой.

— Да все это известно, все это я не раз уже слышал, — с неожиданной досадой воскликнул Ручьев, — но в будущей войне все будет по-другому. Сбросят атомную, а потом на опустошенное место — десант. Десанты будут многотысячные, с танками, реактивными установками, орудиями.

— Ну и что? — горячилась Таня. — В будущих войнах все масштабы станут иными. Конечно, десантные войска окажутся мощнее, чем раньше, но ведь и средства их уничтожения тоже возрастут.

— Да, конечно, — промямлил Ручьев, — я понимаю...

Таня словно очнулась. Она встряхнула головой, смущенно рассмеялась.

— Черт знает что такое. Целую дискуссию военную затеяли. Как Копылов с Васнецовым. Только сойдутся — не рази-мешь. Приходится, как судье на ринге... Вы что? Уже время? Мы почти дошли.

Но Ручьев остановился как вкопанный. Он смотрел на Таню с тревогой, даже со страхом.

— Вы что? — недоумевала Таня. — Что случилось?

— Простите, Таня, неловко, но вы поймете, мне надо бежать, иначе не успею. Простите...

— Конечно! — Таня была разочарована. — Я не поняла, думала, у вас еще два часа. Бегите, бегите.

— Вы не обидитесь?

— Да бегите. Я ж военный человек, — Таня улыбнулась. — Что такое дисциплина — знаю. До свидания. Увидимся.

— До свидания. Еще раз простите.

Он повернулся и торопливо зашагал к городку.

Таня некоторое время смотрела ему вслед. Потом произнесла вслух:

— Вот дура!

«Еще бы, — рассуждала она, идя к дому, — расхвастался тут. А как услышал, что я Копылова знаю, испугался. Решил, что пачку про него расспрашивать и все узнаю. Вот дура! Напу-

гала. А в общем-то, сам он дурак, печего было трусить. «Бух!» «Приземлился нормально!» Хвастун несчастный! Интересно, что он скажет, когда мы в одном самолете скажемся? Вот сме-ху будет!»

Но было не смешно. Совсем наоборот. Было горькое сожа-ление, что все получилось не так. И сколько Таня ни угова-ривала себя, что Ручьев и трус, и хвастун, легче ей от этого не становилось. Так все хорошо началось. Зашел бы сейчас к ней, чаю выпили, поболтали. И опять бы встретились. Так на тебе — спугнула, сболтнула лишнее...

Печальная сидела Таня за столом, рассеянно жуя печенье, когда зашла Рена.

— Ты чего? — не успев сбросить шпатель, спросила она.

Таня только махнула рукой.

— Да что случилось?

— Дурака свалила, вот что случилось.

Торопливо переодевшись, Рена присела к столу. Лицо ее выражало озабоченность.

— Говори, в чем дело! Неразлучки, — так она называла Ко-пылова и Васнецова, — про Ручьева пронюхали? Да?

— Наоборот, — вяло ответила Таня, — он про них.

— Не понимаю...

— А чего тут понимать. Провожал меня сегодня после фильма домой...

— Ой!

— ...Провожал домой. Расхвастался, как прыгал первый раз. А я возьми и проболтайся, что Копылова хорошо знаю, он испугался и удрал. Теперь уж не придет.

— Придет! Ручаюсь, придет! И потом, этот ваш экспери-мент-то будете делать? Ну, с прыжком?

— Наверное... — Таня пожала плечами.

— Тогда хочет не хочет — встретитесь. Ведь вместе в са-молете полетите.

— А если он опять испугается?

— Ну знаешь, Танька, во-первых, если опять испугается, то на кой он тебе такой нужен? А потом — не испугается. Ру-чаюсь. Чтоб при тебе, в твоём присутствии и не прыгнул? Не может быть...

Но Таня продолжала оставаться мрачной.

У Ручьева, задумчиво шагавшего к военному городку, причин для пасмурных мыслей было не меньше.

Что сделает Таня при первой же возможности? Расспросит о нем старшего лейтенанта Копылова. Тот все расскажет. Нет. Смеяться не будет. Копылов не такой. С сочувствием расска-жет, с огорчением.

А вот уж тогда будет смеяться Таня. Ну кто его тянул за язык хвастаться? Не хотел признаться, что трусил, сказал бы, что болел, в паре был, еще чего-нибудь соврал. Отшутил-ся, наконец... А она тоже хороша — пристала со своими рас-спросами: «Боялся?», «Не боялся?» Не интуиция у девчонки, а прямо рентген, педаром в рентгеновском кабинете работает!

Да, теперь надежд мало...

Надежд на что? Ручьев задумался. Действительно, на что? Он задержится тут недолго, он другого круга, другого мира, у него где-то есть Эл. При чем здесь Татьяна Кравченко, стар-ший сержант и мастер спорта?

У них разные взгляды, чувства, мысли. Разные дороги.

Но как здорово было бы, черт возьми, чтоб эти дороги еще раз пересеклись...



## Глава XI

На полосе препятствий шли запятая.

Начальник физподготовки дивизии майор Солнцев, бывший чемпион Советской Армии по борьбе, огромный, с расплющен-ными ушами и далеко убежавшими залысинами на тяжелой большой голове, отдавал приказания. Он старался говорить вполголоса, по его низкий, мощный бас разлетался далеко кру-гом.

Полоса препятствий располагалась недалеко от ведущего в город шоссе, за редкой цепочкой деревьев, стоявших в эту позднюю осеннюю пору голыми и унылыми.

Как всегда, на шоссе остановилось несколько машин. Их пассажиры с любопытством следили за происходящим.

Пересеченное и уставленное препятствиями поле слегка блестело потускневшей, склеенной травой, кое-где схваченной инеем.

Проглядывавшая местами земля превратилась в затвердев-шую после холодной ночи грязь. Низкие тучи, беременные снегом, нависли над землей. Дул неприятный, сырой ветер.

Рота выстроилась на дороге. Старший лейтенант Копылов, гулко звеня сапогами, подошел к Солнцеву и доложил:

— Товарищ гвардии майор, представляю роту для проверки физподготовки! В строю...

Солнцев махнул рукой, скомандовал «Вольно» и, подозвав к себе офицеров, что-то зашептал им. Шепот его был слышен в самых дальних рядах.

Солдаты тоже шептались.

— Слушай, Игорь, — озабоченно вопрошал Костров, делая вид, что не замечает стоявшего за его спиной Дойникова, — ты не знаешь, почему старшина сегодня утром расшумелся?

— Когда? — удивился Сосновский.

— Ну, перед столовой. Кричал: «Я этому Дойникову покажу! И его научу! Он у меня на губе посидит!» Чего это он?

— Когда это было? — Побледневший Дойников даже нарушил строй, подавшись всем телом вперед. — Так и сказал насчет губы? Я же ничего... А что старшина говорил?..

— Уж не помню, да ты не обращай внимания... — Костров изобразил смущение, — знаешь старшину...

— Погоди, Костер... — Дойников совсем расстроился, ямочки на его щеках обмелели. — Это когда я в столовую ушел, да? А почему?..

— Вот черт дернул меня за язык! — досадовал Костров. — Не видел, что ты рядом стоишь. Плюнь ты...

— Ладно, хватит разыгрывать, — проворчал Сосновский. — ты, Костров, тоже хорош. Нашел время! Завалится Сергей на полосу из-за твоих шуток, весь взвод подведет!

— Так это ты наврал? Да? Наврал? — Лицо Дойникова медленно наливалось краской.

Костров захохотал...

— Смир-р-рпа! — прокатился по полю парходный бас майора Солнцева. — Товарищ генерал... Вольно-а!

Ладейников пришел пешком в сопровождении начальника штаба подполковника Сергеева.

Некоторое время они о чем-то говорили с офицерами. Потом началась проверка. Офицеры роты разонялись по препятствиям. На вышку поднялся замполит Якубовский.

В этот момент тучи наковец разрешились мокрым снегом. Закрывая горизонт, противно склеивая ресницы, залезая за воротник, он опускался на землю бесконечным десантом.

Лица солдат сразу стали мокрыми.

Земля начала размокать, трава превратилась в каток.

Пятерка за пятеркой поднимались на вышку: солдат за

солдатом устремлялись в путь по короткой команде Якубовского.

Над полем нависла тишина, через равные промежутки времени нарушаемая автоматной очередью, хлопком детонатора.

Ладейников, заложив руки за спину, наблюдал хорошо знакомую картину.

В эти минуты он частенько вспоминал давно ушедшие военные дни. Вспоминал, как сам, сорвав зубами перчатку, поливал свинцом стрелявших в него снизу немцев.

Однажды, это было зимой, ему довелось опускаться на зенитную батарею врага. Кругом все гудело от выстрелов, взрывов. Артиллеристы, забыв об оружии и вскинув карабины, расстреливали опускавшийся на них десант.

Красн глаза Ладейников видел, как порой обвисало, превращалось в болтавшийся на ветру манекен тело товарища, как сворачивались простреленные парашюты.

Ему тогда удивительно повезло: двумя-тремя короткими точными очередями он уничтожил прислугу орудия и опустился чуть ли не на ствол.

Лежавшая сейчас перед ним учебная полоса, по которой бежали его солдаты, словно в фокусе, собрала все препятствия, все западни, все предательские неожиданности, с которыми когда-то на полях сражений сталкивался Ладейников.

Вот кузов грузовика. Был случай, когда, в последнюю секунду вскочив в отъезжавший грузовик, он только тем и спас себе жизнь.

Подрыв места. Сколько пришлось ему подрывать этих мостов, рельсов, водокачек, резервуаров с бензином... Сколько раз снимать часовых, уноситься под свист пуль на угнанных машинах, преодолевать реки и пропасти, рвы и колючую проволоку.

И каждый раз жизнь висела на волоске. Рвались снаряды, вели пули, мертвенный лунный свет осветительных бомб заливал развороченную землю, сломанные деревья, разбросанные трупы...

Ладейников не верил в то, что зовется удачей. Он слишком хорошо знал войну, чтоб верить, будто в ней уцелее тот, кому повезет.

Нет, на войне выживали умелые и ловкие, сильные и опытные. Опыт, разумеется, приходит не сразу, а вот силу, умение, ловкость и быстроту можно нажить и в мирное время.

Когда кто-нибудь из офицеров говорил: «Ничего, на войне

научатся... Как настоящие пачнут рваться, так ужьм заползут...» — Ладейников выходил из себя.

«Сейчас должны уметь! — кричал он. — Сейчас пусть учатся! Нам на фронте живые, ясно, живые бойцы нужны! А не убитые, достигшие совершенства!»

Поэтому во время учений, на стрельбах, на полосе препятствий командир дивизии требовал самых трудных вариантов, самых приближенных к боевым ситуациям, полной отдачи даже в наиболее простых упражнениях. Офицеры и солдаты это знали и старались вовсю. В дивизии помнили случай, когда как раз на полосе препятствий при разборе один офицер начал развивать теорию о том, что, поскольку в условиях войны возраст солдат будет разный, нельзя требовать от всех одинаково успешных результатов.

— Вам сколько лет, лейтенант? — перебил его Ладейников.

— Двадцать три, товарищ генерал!

— Спортивные разряды есть?

— Так точно — шесть!

— Попли!

Комдив скинул китель, переоделся в гимнастерку, взял автомат, гранату и преодолел полосу препятствий на пять секунд быстрее лейтенанта.

— Я вдвое старше вас, лейтенант, как же получается, что обогнал? А? Может, вы мне нарочно уступили?

— Никак нет... товарищ генерал! — Офицер еще не мог обрести дыхания.

— Так куда же годится ваша теория? Вы моложе, сильнее. За счет чего я вас обогнал, как думаете?

Офицер молчал.

— Так я вам скажу — за счет умения! За счет того, что в каждом препятствии видел настоящее, помнил, каково это на самом деле, когда секунда промедления может стоить тебе жизни. Вот если будете так же рассуждать и солдат своих так учить, то вспомните меня добрым словом. Я уже молодости, силы, быстроты не обрету; к сожалению, жизнь обратного хода не имеет, а у вас все впереди: и навыки, и опыт приобрести сможете. Так что давайте работайте...

И солдаты Копылова старались изо всех сил. К десанникам вообще предъявлялись более высокие требования. Для них, в сущности, эта обычная армейская полоса препятствий была разминкой. В их специальном, «обезьяньем», городке имела куда более сложная полоса, на которой солдатам нового

набора довелось пока побывать лишь в качестве «экскурсантов».

Раскрыв рот, смотрели они, как тренировались старослужащие. Как на огромной высоте по тонким канатам, шатким беревочным мостам они перебегали с одного дерева на другое, как с молниеносной, почти нереальной быстротой по ветвям или вбитым в стволы незаметным скобам взбирались к самым верхушкам столетних дубов, как, повиснув на веревке, перелетали, раскачнувшись, на десятки метров.

Высоченная кирпичная стена, утыканная сверху острыми бутылочными осколками, широкие и запутанные проволочные заграждения, многометровые рвы преодолевались солдатами с такой же легкостью, с какой Ручьев доходил до столовой.

И только по прерывистому дыханию, по выступившим возле губ капелькам пота можно было догадаться о том, сколько все это требовало сил.

Ручьев хорошо разбирался в спорте и мог оценить удивительную точность и экономичность движений, автоматизм приемов, безошибочный расчет расстояний и усилий.

Такое дается только длительной, постоянной тренировкой.

Солдаты, словно ужи, проползали под низко натянутой проволокой, преодолевали рвы с отвесными стенами.

У них на занятиях часовой, которого надо было «снять», не стоял истуканом. Он активно сопротивлялся, и его надо было заставить врасплох и победить. А иногда и нескольких, одного за другим.

И оружием им служили не только автомат, пистолет, нож, но и саперная лопатка, палка, проволока, даже камень...

И объекты свои они «подрывали», не удобно улегшись на земле, а повиснув на фермах моста, прилепившись к танку, лежа в длинной узкой трубе. К тому же на все это давались считанные минуты, а то и секунды.

Каждый солдат был здесь целым подразделением — мобильным, сильным, хитрым, искусным в маневре и бою, вооруженным знанием всех тайн бесшумной войны.

А когда наступал перекур, Ручьев задумывался — каким страшным, каким опасным в бою станет каждый из этих ребят, весело смеявшихся, куривших или безмятежно улегшихся на траве, устремив взгляд к белым облакам.

И еще думал — неужели и он сможет стать таким?..

— Приготовиться! Пошел! — скандовал Якубовский и нажал кнопку секундомера.

Ручьев ринулся вниз. Пока неся к земле по натянутой

проводке, успел дать несколько очередей из автомата и точно метнуть гранату в центр круга.

Он был доволен собой. Его увлекла эта игра, на мгновение он представил себе настоящий бой. Ему захотелось совершить подвиг, показать невиданный результат, всех поразить. Пусть генерал увидит, какой он, Ручьев, солдат. Не прыгнул, зато хоть здесь... Перед генералом он готов был на все.

Словно на невидимых крыльях, он летел вперед. Мгновенно освободился от подвесной системы; пыхтя, подполз под проволокой; вмахнул в окно; чуть не покачав, «снял» часового; несмотря на свою комплекцию, быстро прополз подземным переходом.

Предстояло «подорвать» мост.

Обычно здесь терялось много времени: не задилося со шну-ром, не зажигалась, а потом гасла на ветру спичка.

Ручьев учел все это. Еще продираясь сквозь подземный проход, он хотя и замедлил немного движение, зато полностью подготовил свою мину. Соорудив остроумное (и заранее запроектированное им) укрытие из полы шинели, он сразу же зажег шнур и побежал дальше.

Пот катил с него градом, он задыхался, когда начал переправу по канату над большой, тускло блестящей лужей. Для Ручьева, учитывая его вес, это было самым сложным испытанием.

Стигнув зубы, вытаращив глаза, он перебирал руками. В голове возникали и бесшумно взрывались цветные круги, в ушах гудело, казалось, тысячи рук тянут вниз стопудовое тело, пальцы горели...

И где-то глубоко внутри все время билась мысль: «Ничего, ничего... Трудно? Тяжело? Ничего, ничего... Прыгнуть, видите ли, побоялся! Струсил! Так вот покряхти теперь, побегай! Выдержишь, все выдержишь... И не то еще! Давай, давай, расплачивайся. Не можешь прыгнуть? Так ползи! И как следует, ты побыстрей».

Ручьев силой воли заставил себя снова включиться в игру. Напряжение спало. Возвратилась легкость...

Вот он на «другом берегу».

Еще одно выигрышное упражнение — машина.

Уж что-что, а это дело он знает!

Взвизгнув на повороте, «ГАЗ» с бешеной скоростью промчался по дороге, резко затормозил.

Бросившись к радиостанции, дрожаниями от напряжения пальцами Ручьев завопил с рукоятками...

Когда он снова встал в строй, то весь сиял. Он чувствовал, что преодолел полосу на «отлично» — быстрее, чем за шесть минут.

Прошедшие полосу раньше Дойников и Щукарь оживленно спорили.

— Ты, Щукарь, ползешь, как змея через реку: раз-два — и там, а часового полчаса снимал, хотя и самбист, — удивлялся Дойников. — Самбист ведь!

— «Самбист, самбист»! — огрызнулся Щукарь, вытирая рукавом взмокшее лицо. — А он, представь, тоже самбист оказался. Я ему говорю: «Падай, я ж тебя снимаю!», а он: «Пошел ты... раз снимаешь, так и вали!..» А его черта с два свалишь, бугая!

Дойников заливался смехом и начинал делиться планами:

— Зажигалку заведу. Точно. Спички дело ненадежное — ломаются, не горят. Зажигалка — дело верное.

— Вот-вот, — ворчал Щукарь, — я тоже финку заведу. Самбо — дело неверное. Попадется еще раз такой, я его финкой ка-а-ак!..

— Ты что!.. — Дойников таращил голубые глаза. — Это учения!

— Так пусть снимается, раз часовой, а то «вали» его, видишь ли. Вот финкой дам раз, сразу свалится! — воинственно рассуждал Щукарь.

Прибыл Сосновский. За ним Костров, громогласно объявивший, что наверняка показал лучшее время.

Однако, когда роту построили для подведения итогов, выяснилось, что лучшее время показал гвардии рядовой Ручьев — меньше пяти минут.

Ручьеву, Кострову, занявшему второе место, и солдату другого взвода, занявшему третье, командир объявил благодарность.

Благодарность получила и вся рота за то, что не оказалось ни одного, выполнившего упражнения на «хорошо». Все добились отличной оценки.

Был объявлен перекур.

А Ручьева подзвал генерал.

Он стоял, веселый, в окружении офицеров.

— Молодец, сынок! За счет чего первым стал? На переправе-то подзастрял маленько.

— За счет подрыва и машины, товарищ генерал, — бодро доложил Ручьев.

Он был счастлив. Гнетущее чувство неполноценности, хоть и слабевшее постепенно, но все же не покидавшее его, с тех пор как он не прыгнул, исчезло. Теперь он чувствовал себя на равных с другими. Ну что ж, они лучше прыгают, а он лучше преодолевает полосу (о том, что он вообще не прыгнул, Ручьев старался не думать).

— Молодец, сынок, молодец! — повторил Ладейников. — Головой полосу прошел, не ногами. Уверен — будешь отличным солдатом. Мелочь осталась — с парашютом прыгнуть. Как думаешь, — Ладейников стал серьезным, — прыгнешь?

— Прыгну, товарищ генерал! — Ручьев говорил искренне. После такого успеха ему казалось, что он все может преодолеть. Дали бы ему прыгнуть сейчас, эту минуту, он бы им показал, хоть затяжным, хоть...

— Ну смотри, сынок, надеюсь на тебя. Когда прыжки? — повернулся командир к Копылову.

— На той неделе, товарищ генерал, вместе со спортсменами.

— Ну тем более, там такие орлы, что с ними любой прыгнет. Одна Кравченко чего стоит!

В строй Ручьев вернулся совсем растерянным.

Копылов давно намекнул ему, что даст возможность совершить прыжок отдельно, без роты, мол, в случае чего ребята не узнают о новой неудаче. И как ни странно, это действовало на Ручьева успокаивающе.

Но прыгать с Таней! Все менялось коренным образом. Лучше уж опозориться в глазах всей дивизии, чем ее одной. Как же теперь быть? Да он еще нахвастался тогда, что уже прыгал. А если опять неудача? Опять испугается?

Всю радость как рукой сняло.

В казармы он возвращался мрачный. Даже внеочередное увольнение за отличный результат на полосе не обрадовало его.

И вдруг ему отчаянно захотелось увидеть Таню. Поделиться с ней своими радостями и тревогами, почерпнуть у нее утешение...

В воскресный день — решил Ручьев — он увидит ее. Посмотрим, как сложится разговор, но он увидит ее.

С таким же нетерпением ждала воскресенья Таня.

И все повторилось. Все было как в прошлый раз.

Опять смотрели старый фильм. Опять Ручьев подошел к Тане, стоявшей у выхода из клуба и искавшей кого-то глазами. Опять пошел провожать.

Тонкий, но плотный белый ковер устилал тротуары. белые ленточки улеглись на черных сучьях деревьев.

Таня на этот раз была в военной форме. Это послужило Ручьеву предлогом к началу разговора.

— Товарищ гвардии старший сержант, разрешите обратиться! — гаркнул он, появившись у нее из-за спины. и тут же выругал себя: «Удивительно остроумно! Ничего не скажешь — светский остроумец Ручьев в своем репертуаре. Почему каждый раз, как встречаюсь с ней, я выгляжу полным идиотом?»

— Разрешаю, — сказала Таня и посмотрела на него без улыбки.

Немного обескураженный, он молчал.

— Сколько еще осталось до конца увольнения? — поинтересовалась она и добавила так же серьезно: — Или до момента, когда вы неожиданно вспомните, что вам надо бежать в казарму?

Ручьев переминался с ноги на ногу, не зная, что сказать. Инициатива была выбита у него с самого начала.

— Ваше приглашение па дай не потеряло силы? — спросил он наконец.

— Не потеряло. Пошли.

Половину дороги молчали. Шли в ноту, устремив насупленные взгляды в белую пустоту улиц, напоминая поссорившуюся семейную пару.

— А я догадалась, почему вы тогда убежали, — неожиданно сказала Таня, не глядя на своего спутника.

— Почему? — спросил Ручьев.

— Сами знаете.

— Я-то, конечно, знаю, а вот...

— И я знаю, я же сказала, — упрямо повторила она.

— Так, может, мне опять убежать? — грустно спросил Ручьев и остановился.

Таня по инерции прошла три-четыре шага и тоже остановилась.

Некоторое время они стояли и смотрели друг на друга, не приближаясь.

— Не стыдно? — нарушила молчание Таня.

— Стыдно. — Ручьев опустил глаза, потом воскликнул с досадой: — А вам никогда не приходилось приврать? Нет?

Таня быстро подошла.

— Вы не так поняли! Я о другом. Не стыдно было убежать от меня? Вы что подумали? Вы, наверное, не очень высокого мнения обо мне? Да?

Ручьев молча пожал плечами. Они медленно пошли дальше.

— Не оччень-то вы мне доверяете...

Ручьев не выдержал:

— Вы странный человек, Таня! Ведь мы почти незнакомы. Вас в дивизии все знают, вы знамениты на всю страну, у вас хвост поклонников. А я кто? Рядовой, да еще тринадцатый номер. Чего я мог ждать? Только насмешек. В лучшем случае...

Таня вспыхнула.

— Плохо разведка ваша работает. Собрали какие-то дурацкие сплетни. Неизвестно откуда! Пороны для меня не главное в человеке. А уж что касается насмешек, так в жизни этим не занималась!

— Чем этим? — спросил Ручьев.

Таня секунду молчала.

— Ну, насмешками, — неуверенно сказала она. — Чего вы смотрите? Нельзя так сказать — «занималась насмешками»? Да? Верно, нельзя.

И рассмеялась. Ручьев улыбался. Гроза пронеслась. Они подошли к дому.

Таня долго шарила по карманам, разыскивая ключи, пока Ручьев не толкнул плечом дверь, оказавшуюся незапертой.

За столом сидела Рена в тренировочном костюме и, отдуваясь, пила чай. На лбу у нее выступили капли пота.

Увидев входивших, Рена вскочила, чуть не опрокинув стакан.

— Ой! Пришли все-таки, — сказала она.

— Что значит «все-таки»? — нахмурилась Таня.

— Я сейчас, — засуетилась Рена, — сейчас подогрею. — Она исчезла где-то в глубинах дома и больше так и не появилась.

Чайник принесла Таня.

С гордостью вывалив в вазу какое-то сложное печенье собственного производства, разлив чай и подвинув стакан Ручьеву, она молча уставилась на него.

Некоторое время Ручьев сосредоточенно пил чай, делая вид, что не замечает направленного на него взгляда. Накопец спросил:

— Вы что так смотрите? Я себя как на этой вашей флюорографии чувствую.

— Да нет, ничего. — Таня отвела глаза. — А почему вас так часто увольняют? Вы что, образцовый солдат?

— Образцовый не образцовый, а первое место на полосе

занял, вот и уволили. «Господи, нашел чем хвастаться», — Ручьев поморщился от досады.

Но на Таню это сообщение, видимо, произвело большое впечатление.

— Серьезно? Первое место? Здорово. А как удалось?

Она пустилась в расспросы.

Когда тема иссякла, Таня неожиданно попросила:

— Ну вот что, расскажите о себе.

— Автобиографию?

— Автобиографию. Поменьше цифр, побольше фактов.

— Слушаюсь! Родился...

— Ист, Толя, — она впервые назвала его так, — правда, расскажите, как жили, время проводили. Когда вас призвали, вы очень не хотели идти в армию?

— Очень! — вырвалось у Ручьева.

— А теперь?

— Теперь не знаю, — помолчав, ответил Ручьев. — Теперь надо подумать. Понимаете, Таня, «жил я шумно и весело, каюсь», как пел Вертинский. У меня было много друзей, машина, весело проводил время...

— А почему «было»? Они что, исчезли, все эти друзья? Куда?

— Да нет, не исчезли... — Ручьев не знал, что отвечать. — Просто все это теперь в прошлом.

— Почему?

— Не знаю. — Он пожал плечами. — Мне так кажется. Вы бывали в Москве?

— Бывала.

— А в «Метрополе» были? Я имею в виду ресторан. В «Национале»?

— Нет, в «Колосе» на выставке была.

Ручьев сделал пренебрежительный жест рукой.

— Тоже мне ресторан! Ист, вот в «Метрополь» я ходил. Часов в девять звоню Эл...

— А кто это Эл? — перебила Таня.

— Эл? — Ручьев пришел в себя. — Да друг один. Вот как у вас Рена.

— Ну и что, звонили вы этому Элу и в ресторан?

— Да.

— Каждый день?

— Ну не каждый, но частенько.

— И это было интересно?

— Очень.

— Чем?

Тут разговор, пачинавший походить на партию настольного тенниса, оборвался.

«Действительно, чем?» — думал Ручьев. Он смотрел на девушку в военной форме, сидевшую перед ним, на ее значок мастера спорта, на трехзначную цифру на другом значке, парашютном, и вспоминал утомленные глаза своих дружков, тусклый свет ламп в табачном дыму...

— Ну, так, — без особой уверенности заговорил Ручьев, — танцевали, болтали, потом ездили на машине, у меня была своя. Есть — своя, — поправился он. — Вот будете когда-нибудь в Москве — эх, прокачу!

— Хорошо, — Таня говорила серьезно, — покажете мне Москву.

Ручьев оживился.

— Ох, Таня, я вам такое покажу, чего мало кто из москвичей знает...

— Интересно, — перебила Таня, — каково вам теперь в армии после вашей сладкой жизни? Тяжело, наверное?

Ручьев молчал. Но Таня настаивала:

— Тяжело?

— Было тяжело.

— Что значит было? На первых порах?

— И на первых порах, и вообще...

— А теперь?

— Теперь нет. — Ручьев посмотрел Тане в глаза. — Теперь легко. Теперь все прекрасно. Есть куда ходить в увольнение, есть кому чаем меня напоить, пригреть сироту. — Он улыбнулся. — «И теперь, — как был все тот же Вертинский, — с новым смыслом и целью я, как птица, гнездо свое выю...»

— Насчет гнезда — рановато... — Таня тоже улыбалась.

— А насчет всего остального? Чая... сироты?

— Насчет чая можете не сомневаться. В любое время. Не будет меня, будет Рена.

Так болтали о пустяках, смеялись, шутили.

Но все время зорко присматривались друг к другу, прислушивались к своим чувствам, обходили опасные места.

Прощаясь, Таня как бы между прочим заметила:

— Скоро конец нашим встречам.

— Конец? — испугался Ручьев.

— Ну, не конец — перерыв.

— Если иметь в виду, что наши встречи происходят два раза в месяц... — пытался пошутить Ручьев.

— Так и будет, — сказала Таня, деловито поправляя воротник его шинели. — я уезжаю на сбор.

— Сбор?

— Сбор. Чего вы удивляетесь? Наши дивизионные спортсмены, в том числе и Татьяна Кравченко, убивают на очередные тренировочные прыжки. Впрочем, это недалеко.

Ручьев сразу поскукнел.

— А... — пробормотал он. — ну ладно. Вернетесь — встретимся...

— Не раньше? — Таня улыбнулась.

Но Ручьев не понял намека.

Он пожал Тане руку и торопливо зашагал в казарму.

А Таня начала убирать со стола.

Было уже больше одиннадцати, когда раздался осторожный стук в дверь.

Чуть не разбив чашку, Таня бросилась открывать.

— Что случилось! — воскликнула она, распахнув дверь.

— Ничего. А что могло случиться? — удивился стоявший на пороге Копылов.

— Ах, это ты, — разочарованно пробормотала Таня, — проходи. Чаю хочешь?

— Хочу! — Копылов радостно потер руки. — А не поздно? Рена не спит? Иду, поспим, вижу свет, решил зайти. Ничего?

— Да ничего, ничего, шинель-то сними. Так и будешь в шинели чай пить?

— Слушай, Таня, я ненадолго, — сказал Копылов, снимая шинель, фуражку и с удобством располагаясь у стола, — я насчет Ручьева.

Таня, направившаяся было с чайником на кухню, быстро вернулась.

— Поспим, — неторопливо рассуждал Копылов, выбирая в вазочке печенье побольше, — ты же завтра на сбор, так? Через три дня я привезу его туда. Сделаем как договорились. Летим втроем. Надо решить, кто прыгнет первым, ты или я. Вторым-то он. Это ясно. А вот кто первым — надо решить.

— Решать нечего — ты! — Голос Тани хлопнул, как выстрел.

Копылов удивленно посмотрел на нее, остановив руку с печеньем на полпути.

— Я не против, но если он опять заробеет, лучше, чтоб я с ним остался в самолете.

- Я прыгну после него!
- Да пожалуйста. Чего ты развоевалась? Не понимаю...
- Все. Кончили этот разговор. — резко сказала Таня и вышла, оставив Копылова в недоумении.



## Глава XII

Это ужасно! Мать решила лично проверить, как служит ее любимое дитя. Она намерена приехать. Вопрос с переводом все никак не решится.

Не знаю, что делать. Искерпал все возможности. Единственное, что остается, это написать, будто отправили на задание куда-нибудь далеко. Но, зная ее характер, могу представить, что она как раз и воспользуется моим отсутствием, чтобы «нанести визит» Ладейникову. Что делать? Может быть, написать отцу конфиденциально?

А служба идет. Недавно у меня был разговор с гвардии рядовым Сосновским.

Подходит ко мне и вопрошает:

— Слушай, Ручьев, как тебе эти ребята правятся — стажеры?

— Правятся. — говорю.

Ребята действительно классные. Они кончают училище и у нас стажировятся. Прямо как на подбор. На груди аж места не хватает — все разрядники, все специалисты, инструкторы, отличники.

Стреляют лучше всех, в спортгородке первые, в кроссах первые. Все знают, все умеют. Сам черт им не брат. Отчаянные ребята.

Между прочим, по-английски говорят дай бог — ведь после училища они помимо военной специальности получают диплом переводчика-референта.

Иногда я им жутко завидую. Представляю на их месте себя. Бесстрашный гвардеец Анатолий Ручьев! Все-таки в нашем роде войск романтики будь здоров. Одна форма чего стоит: голубые береты, голубые тельняшки...

Так вот, подходит Сосновский.

— В училище хочу рапорт подавать, — говорит.

— В училище? — спрашиваю. — Ты не того, к врачам не

заходил? — Потрогал ему лоб. — Ты знаешь, что это па всю жизнь? Раз хоть одна звездочка появилась на погопах, все. Останешься в армии навсегда. И между прочим, лейтенантская звезда не обязательно превращается потом в маршальскую.

— Да я знаю... — тлнет.

— Ну, а раз знаешь, так чего ж ты? Инженером ведь хотел стать.

— Ну и что, одно другому не мешает. Сначала училище, потом академия. По-твоему, командир-десантник не может кончить инженерную академию?

— Не знаю, — говорю, — может быть. А вот такая жизнь?

— Какая жизнь?

— Ты пойми, — втолковываю, — вставать ни свет ни заря, ложиться неизвестно когда, учения, тревоги, печальство требует, подчиненные, вроде нас с тобой гаврики, подводят, сегодня здесь, завтра за тысячу километров перебросят! Это жизнь?

— Жизнь, — говорит. — Представь себе, жизнь! А что, приходится на работу к девяти, уходить в шесть, весь день брюки протирать, налокотники носить лучше? Мне, между прочим, еще двадцати нет. Я еще насидеться успею. Вот ты говоришь: учения, переезды. А по-моему, это здорово! Новые края, новые города, новые люди. Это ж и есть романтика!

— Романтика, — фыркаю, — по-пластунски ползать и портянки паматывать. Романтика!

— Не знаю, — твердит (упрямый, черт!). — По-моему, носить голубой берет и золотые погоны, быть офицером-десантником, прыгать затылком ночью, в леса и на воду, проводить учения с походами, засадами, атаками, а если грянет война, так первому врываться в тыл врага, выполнять задания особо трудные и рискованные — еще какая романтика! И потом, дело не только в ней. Стукнет мне тридцать... сорок, другое будет волновать — работа.

— Какая работа? — спрашиваю. — Раз-два, направо-налево? Это, по-твоему, работа?

— Ну знаешь, — рассердился, — если ты до сорока лет в армии кроме «раз-два» ничему не научишься, ты и в гражданской не далеко уйдешь. Воздушнодесантные войска — это же войска будущего. Вот смотри, — раскрывает свою тетрадку (он вечно что-то в тетрадку записывает), — в 1763 году в Париже Бенджамин Франклин смотрел, как поднимаются люди на воздушном шаре. Так он, знаешь, что потом писал?

— Что? — спрашиваю.

— Вот у меня тут помечено. Слушай: «По-видимому, это открытие огромной важности, и оно, вероятно, станет поворотным пунктом в историческом развитии человечества. Ибо пайдется ли такой правитель, который сможет так покрыть всю свою страну войсками, чтобы успеть дать отпор десяти тысячам солдат, спустившимся с неба, прежде чем они во многих местах причинят безграничный ущерб?» Ты понял? Это Франклин писал более двухсот лет назад! Разве не гениально?

— Гениально, — соглашаюсь, — но при чем тут ты с твоим училищем?

— Как при чем? Как при чем? Я тебе объясняю, какую роль в будущей войне будут играть десантники — огромную, решающую! Представляешь, высаживается в тылу врага за тысячи километров от фронта миллион солдат!

— Миллиард!

— Ну ладно, пусть не миллион, пусть сто тысяч, даже пятьдесят. Ведь это меняет все представления о войнах. Фронт, оборона, прорывы — все будет по-другому! Ты тут в землю зарываешься, доты возводишь, резервы подтягиваешь неделю, месяц, а у тебя за несколько часов в глубочайшем тылу, где, может, и светомаскировки-то не вводили, возникает новый фронт — пара армий, две-три танковые дивизии, десятки ракетных дивизионов.

— Тихо, — говорю, — не волнуйся, а то инфаркт получишь. Армии, дивизии, танки! Они пока еще сами не летают, их, между прочим, на самолетах доставляют. А самолеты, представь, обладают тем печальным недостатком, что их можно сбить с помощью ракет же. Так что надо еще долететь до места. Не так это просто.

— Согласен, — говорит, — вот и будут разрабатываться новые методы ведения войны, новая тактика. И к сорока годам полковник Сосновский как раз этим и будет заниматься. Это же черт знает как интересно!

— А вдруг войны не будет? — задаю вопрос. — Чем тогда займется уважаемый полковник Сосновский?

— Ну, во-первых, ее так и не будет. По крайней мере я лично в этом убежден. И не будет ее как раз потому, что существует Советская Армия, самая мощная в мире. А самая мощная она, в частности, потому, что в ней служат такие солдаты, как будущий полковник Сосновский, и несмотря на то, что попадают в ней отдельные Ручьевы...

— Ну знаешь! — перебиваю.

— Знаю, — говорит, — знаю. И во-вторых, в мирных услови-

ях у парашютистов в наше время тоже дела есть. Лесные пожарные, альпинисты-спасатели, врачи-полярники, спортсмены, испытатели, да мало ли чего пайдется. Перспективы дай бог! В общем, я твердо решил идти в училище. Начинать-то надо сначала.

...Я почему-то все думаю об этом разговоре. Он ведь серьезный парень, Сосновский. Какая-то истина во всех этих рассуждениях, конечно, есть. Но, наверное, каждому свое. Я, например, не гоюсь для армии или гоюсь? Чем я хуже других, в конце концов? Но ведь прыгать-то испугался, какой же из меня командир, да еще десантник? Придется идти в дипломаты.

Кстати, о прыжке. Мысли о нем не дают мне покоя. Хотя бы это уж скорее все кончилось.

Чем ближе час, тем больше я боюсь. Перед первым прыжком, тем самым, который не состоялся, я ничего не боялся — мне и в голову не приходило, что так получится. Теперь же я только и делаю, что боюсь. Даже страшусь. И если раньше я боялся самого прыжка, то теперь к этому прибавилось еще одно обстоятельство. Старший лейтенант товарищ Копылов придумал гениальный прием, дабы его солдат-недотепа Ручьев совершил наконец прыжок.

Он решил отвезти меня в лагерь, где периодически проходят сборы спортсмены нашей дивизии. Там прыжки идут с утра до вечера и даже ночью. Я поднимаюсь с кем-нибудь из спортсменов или с ним и вдали от смущающих меня взоров совершу прыжок. Испугаюсь опять — никто не узнает (этой мысли он мне, разумеется, не высказывает, но я понимаю).

Идея прекрасная, если бы не... Таня.

Как интересно все-таки устроена жизнь. Она вся состоит из встреч и разлук. И с людьми, и с предметами, и с явлениями. Наверное, у человека умудренного мое открытие вызовет смех — открыл Америку! Но я пришел к этому сам, и весьма горд. Первооткрыватель Ручьев!

Так вот насчет встреч с людьми.

Кто-то входит в твою жизнь громко, шумно — под аккомпанемент оркестра через парадные двери, кто-то незаметно — через боковую дверь. А потом выясняется, что он-то и есть главный, что ты так привык к его присутствию, что если, по дай бог, уйдет, жизнь покажется пустой-пустой.

Вот так с Таней.

Мы и виделись-то с ней всего ничего, а мне кажется, что я знаю ее сто лет.

И не устаю удивляться. Я ведь не Дойников с его румяными щеками, которого небось, кроме мамы, в эти щеки никто никогда еще не целовал. Слава богу, знаю женщин, только это были другие женщины.

Но когда я сейчас сравниваю, то просто не понимаю, как можно думать о них, если есть Таня!

И без конца упрекаю себя: мне все кажется, что я выгляжу в ее глазах полным идиотом. В Москве мне на язык не попадается, Ручьев — остролов, поэт, Ручьев в ударе — все от смеха под столом, Ручьев рассуждает — все сидят, раскрыв рты...

А тут остроты какие-то дурацкие, а иной раз вообще не знаю, что сказать.

Только одного хочу: сидеть бы с ней, пить чай, смотреть на нее, слушать. Словом, чтоб это все продолжалось.

И вдруг выясняется, что так продолжаться не может. Оба мы едем на эти спортивные сборы. Следовательно, прыгать мне придется хоть и в отсутствии ребят, зато в ее присутствии. И могу сказать твердо, если выстроить всю нашу дивизию и я опять испугаюсь — переживу. Но если струшу при ней — все, не знаю, что сделаю.

Получается, что для меня этот прыжок не легче, как надеется старший лейтенант Конылов, а, наоборот, труднее.

Я было уже свылся с прыжком, а теперь просто измучился, все боюсь, что не получится, все думаю: вдруг снова испугаюсь, и так ясно себе это представляю, что, наверное, когда настанет решающая минута, не прыгну.

Хотел даже поговорить с командиром взвода или с замполитом. Но как объяснить? Не могу же я сослаться на Таню.

Что делать-то? И посоветоваться не с кем. Единственный человек, с кем мог бы посоветоваться, это сама Таня. Удивительно, у меня такое чувство, что с ней обо всем можно советоваться, даже о том, как вести себя с ней же.

Какая все-таки она... Я даже не думал, что такие есть. А может, это мне кажется? Ведь когда влюбился... Влюбился! Слово произнесено. Гвардии рядовой Ручьев, не решившийся прыгнуть с парашютом, решился признаться (пока только себе самому), что влюбился. За этот мужественный поступок объявляю ему благодарность!

...Опять подкатил Сосновский. И опять с училищем. Плюс Щукарем. Теперь они оба решили подать рапорты.

— Ты-то куда? — говорю Щукарию.

— А что, только стопудовые культуристы могут? — Это он обиделся.

— Культуристы, — говорю, — как раз и не идут. У них другие дела найдутся. А офицер-десантник — нагрузочка будь здоров. Не выдержишь.

— Да хочешь, я с тобой троеборье устрою! — хорохорится. — Бег, борьба, стрельба. Берусь по всем трем статьям тебя обставить! Хочешь?

— Делать мне печего. Постунай. Постунай хоть в балетную студию, хоть в цирковую. Мне-то что!

— При чем тут балетная, — вменивается Сосновский. — Речь идет о десантном училище. И туда Щукин вполне подходит. Ты видел стажера во втором взводе? Видел? Он что, по-твоему, ростом выше или весит больше?

— Ладно, — говорю, — чего пристаи? Подавайте рапорты. Могу даже помочь, по части английского.

— Да нет, — Сосновский смотрит на меня сурово, — ты не пошел. Есть предложение, чтоб ты тоже присоединился. Подадим все трое.

Смотрю на них, вытаращие глаза.

— Ребята, — говорю, — совратил вас все-таки Хворост. Много выпили?

Щукарь безнадежно машет рукой.

— Не возьмут тебя, Ручей, в «Крокодил». Шутник из тебя липовый. С тобой серьезно говорят! — орет.

— Чего шумишь? — спрашиваю. — Коль делаешь серьезные предложения, надо серьезно и обдумывать их. Даже если б пойти в училище было целью моей жизни, то кто меня туда примет? Ну кто примет в воздушнодесантное училище человека, который боится, трусит, робеет, не решается прыгать с парашютом? А? Голова садовая! — кричу.

— Это ты голова садовая! — возмущается невозмутимый Сосновский. — Уж все забыли, что ты не прыгнул, в ближайшее же время прыгнешь и сам забудешь, что когда-то чего-то боялся. О другом речь. Не прыжки страшны — экзамены. Надо все обдумать, решить, как готовиться...

— Да вы что, ребята, окончательно рехнулись?! Не хочу я в училище, не хочу! — мямлю. — Я дипломатом стать хочу. В МИМО поступаю. В Ин-сти-тут международных отношений!

— Пойдем, Игорь, — Щукарь тянет Сосновского за рукав. — Видишь, человек еще не созрел. Знаешь, как помидор зеленый. Станет красным — сам к нам свалится. Пошли, пошли. А тебе, — поворачивается ко мне, — предсказываю. Пройдешь ты мимо своего МИМО!

И смеется. Остряк! Великий юморист!

Продолжая ворчать, бегу в строй.

Начинаются занятия.

Как все-таки быстро человек ко всему привыкает. Помню, во сколько вставал в Москве. Ну, когда школа — ясно, приходилось рано. Но в свободные дни или когда во вторую смену, раньше десяти не просыпался. Потом качал гири, потом в ванной болтался, потом мамин завтрак поглощал (это тоже подвиг, не всякому доступный); в библиотеку (в институт готовился), вечером друзья...

Да еще сколько уходило на телефонные разговоры.

А сегодня? Сегодня Дойников, дневальный-петушок, не успел пропеть подъем, как я уже на плацу — кручу солнце на перекладине. Всюду снег, а мы по пояс голышом. Раз-два — умылся, оделся, заправил койку, бегом на завтрак.

Я теперь трачу на весь завтрак столько же времени, сколько раньше уходило на один мамин печенек.

Потом: «Рота, смирно, на занятие шагом марш!» Сегодня первые четыре часа воздушнодесантная подготовка. В классе.

Параютный класс отличный. Из других дивизий приезжают смотреть. На стенах стенды: устройство парашюта, прыжок, все по элементам, всякие наглядные фигурки. Все автоматически зажигается, голос преподавателя записан на пленку. Здорово! А под потолком на тросе летает самолет, и из него выпадают десантники.

Вдоль всего класса столы, на них мы учимся укладывать парашюты.

Парашют надо уважать, твердит нам старший лейтенант Копылов, в жизни не встречал более обидчивого существа. Стоит проявить к нему невниманье, он обижается и может подвести, а то и отомстить. С ним лучше не ссориться. Зато людям, уважающим его, внимательным, он верный друг. Несчастья с парашютистами при современной технике и обучении крайне редки. Но уж если они происходят, то, как правило, из-за небрежного отношения к парашюту самого десантника.

И вот мы под придирчивым взглядом Копылова, по указаниям инструктора, при участии командира взвода, на каждом шагу проверяя друг друга и т. д. и т. п., укладываем парашюты.

Осматриваем, все ли цело, как у родного дитяти после драки во дворе; аккуратно укладываем, обряжаем в чехол, как то же дитятко перед выходом на мороз, застегиваем стропы с по-

мощью крючка, каким, по рассказам моей бабушки, она шнуровала, будучи гимназисткой, высокие ботинки, далее укладываем купол на ранец и затягиваем этот ранец, как первоклашке, направляющемуся в школу. Наконец, готовим подвесную систему и оформляем все документы. Теперь может идти на работу.

Не парашют, а прямо живое существо, да еще балуемое, опекаемое.

И так повторяем десятки раз. Наверное, завяжи мне глаза — уложу парашют без малейшей ошибки. И я думаю о том, какая огромная ответственность лежит на каждом из нас. Ведь, укладывая парашют, мы держим в руках не только кусок нейлона, мы держим жизнь товарища. В чем хочешь прояви небрежность — подведешь себя, отделение, взвод... Здесь же небрежность, да что там, самое крошечное упущение недопустимо. От меня зависит жизнь товарища. А от его добросовестности — моя.

Наверное, нигде такого нет, только в армии, — чтоб вот так тесно сплетались судьбы людей, чтоб так непосредственно и ощутимо каждый отвечал за действия, за жизнь каждого. Здорово все-таки! Может, это глупо, но я испытываю чувство гордости...

И еще смотрю я на белый нейлон, на оранжевый чехол, на стропы, из которых одна, четырнадцатая, отмечена красной муфтой, на тусклые карабинчики и зеленый мешок, на все это хозяйство, такое совершенное, такое до мелочей продуманное, такое простое и в то же время гениальное в своей простоте, и думаю о том, с чего все это начиналось, чего стоило.

Нам рассказали историю парашютизма.

Жутко увлекательно. Оказывается, еще в древнем Китае уличные акробаты развлекали толпу, прыгая с «парашютом». Леонардо да Винчи в XV веке нарисовал парашют. А триста лет спустя воздухоплаватель Блانشар, спасая жизнь, совершил прыжок.

Современный парашют изобрел Котельников.

Сколько потом парашют совершенствовали!

Когда возникли воздушнодесантные войска, чего только не придумывали: и индивидуальные подвесные кабины, и авиабусы, и сбрасывание без парашюта на грузовых платформах с метровой высоты, что пытались осуществлять американцы...

А первые десанты! Из ТБ прямо на крылья соскальзывали...

Много о чем нам рассказывали.

Теперь с парашютом опускаются кабины космонавтов, ка-

тапультировавшиеся летчики-высотники, прыжки совершают из стратосферы, в одиночку и группами, ночью и днем, мужчины и женщины, как моя Кравченко (уже моя?). А уж наш-то прыжок совсем пустяки — два прибора страхуют, есть запасной парашют. Старшина правильно говорил, что несчастный случай, конечно, может произойти, если, например, плохо будет уложен парашют.

Пока я укладываю парашют, изучаю его, рассматриваю, все время толкую себе: «Это друг. Друг, а не враг. Он не подведет. Все будет в порядке. Бояться нечего».

Потом опять начинаю мучиться. Он-то не подведет, а я? И вообще я совсем не боюсь, что разобьюсь, ничутьюшки. Боюсь, что не прыгну, не решусь в последний момент.

Да еще при Тане!

Господи, дали бы они мне пипка хорошего, и порядок. Надо все-таки со старшим лейтенантом Якубовским поговорить конфиденциально. В конце концов, он замполит, он обязан заботиться о нашем моральном состоянии, воспитывать нас. И к каждому иметь индивидуальный подход. Обязан!

А если гвардии рядовой Ручьев нуждается в особом подходе, то почему бы не применить к нему такую воспитательную меру, как хороший пинок ногой?

Нет, я с ним поговорю. Пусть мы полетим вдвоем, никого больше. И в решающий момент пусть выкинет меня из самолета. Любым способом. Снизу же не видно. Потом я уже сам буду прыгать. Первый раз только! Главное — первый!

Ну, что у нас сегодня еще?

Физподготовка. Командир взвода проводит. Наш командир взвода лейтенант Грачев вроде Щукаря: на вид дохлый, а силицы в нем невпроворот. У него миллион разрядов по всем видам спорта, а по лыжам он кандидат в мастера, третье место на окружных соревнованиях занял! И уж что-что, а физподготовка у него будь здоров — семь потов сойдет.

Но, между прочим, мы тоже не лыком шиты — так или иначе, а все спортом занимаемся. Другой вопрос — зачем мне это нужно? Именно мне, потому что вообще десантникам невозможно без спорта, как ракетчикам, наверное, без математики.

— Вы только подумайте, что такое десантники! — толкует нам лейтенант Грачев. — Это молнии, понимаете, голубые молнии, они приходят с неба и поражают врага неотвратно. Точно и мгновенно в самое уязвимое и неожиданное место. Вы представляете себе десантника, который начнет задыхаться, пробежав полкилометра? Или без брода речку не перейдет?

Или не справится с напавшим на него солдатом противника, да что там солдатом — двумя-тремя?

Быстрота, ловкость, сила, выносливость десантнику так же необходимы, как... переводчику знание языка, а снайперу острый глаз!

И все это дает спорт. Так что давайте, хлопцы, пажимайте. Между прочим, и после армии тоже не пожалесте. Здоровье-то любому нужно, хоть ты с парашютом прыгаешь, хоть бабочек ловишь.

Вот так нас воспитывает гвардии лейтенант Грачев и подтверждает слова личным примером. В этом смысле он будь здоров — во всем первый. Особенно пажимает на самбо. Сегодня как раз отрабатывали (терпеть не могу этого слова) приемы самбо. Тут наш Щукарь, конечно, отличился. Кажется, щуплый, черт! А его только ухватишь, он раз-два — вывернулся и тебя же бросает. Но я теперь к нему припоровился. Несколько раз сам его швырял.

— Молодец, Ручьев, — хвалит меня лейтенант Грачев, — хоть твой культуризм и противопоказан самбистам, а толк из тебя выйдет.

— Это почему же противопоказан? — обижаюсь.

— Потому что мышцы ты себе накачиваешь. Понял? Мышцы — рельеф, так сказать, телесный. А не силу. Посмотри на ребят, у них рука в два раза толще твоей, а штапу потяжелей ямут. Мертвые твои эти бугры, дутые. Скорость и гибкость ты теряешь. Мой тебе совет, нажми на скорость, на реакцию. Если это дело сумеешь приобрести да мясо свое бесполезное переделаешь в настоящую мускулатуру — цены тебе не будет. Помяни мое слово!

— Точно! — Это Щукарь свой голос подает.

Я ворчу, а сам тихо-тихо нажимаю на скоростные упражнения. Может, действительно ерунда этот культуризм? Там-то, в Москве, мне его проверить негде было, только девушек на пляжах восхищал. Смотрю, ребята куда легче моего работают, а на вид я их одной рукой дюжину сверну.

В личное время сажусь за письма.

*Здравствуй, па!*

*Не удивляйся, что письмо передаст тебе Влад. Прочтешь, отдай ему обратно. Так надо. И поклянись, что ма ничего не узнает.*

*Она пишет, что собирается приехать. Этого ни в коем случае нельзя допускать! Ты пойми, если она приедет, то все ис-*

портит. Ко мне здесь все относятся с большим уважением, даже сам генерал.

А тут придет ма — ты ее знаешь. Она начнет всех «брать на обаяние». Может, в Москве это и проходит в ее «кругах», а здесь нет. Как бы тебе объяснить? Здесь народ немного другой.

Постарайся ее удержать всеми силами. Скажи, что летом поедешь сюда с гастроллями и ее прихватишь. А сейчас можно все испортить. Короче, ни при каких обстоятельствах нельзя ее сюда пускать!

Теперь насчет перевода. Пусть не слишком нажимает. Есть соображения. Имеет смысл не торопиться. Потом сообщу подробней. Таковы мои просьбы, отец. И еще. Сам я ей писать об этом не могу, она бог знает что подумает, а ты ей как бы невзначай подай мысль прислать мне сюда штатский костюм и пальто. Галстуки, рубашки получше. Словом, она подберет.

А так ни о чем не беспокойся, твой сын в полном порядке.  
Толик.

Привет, Влад, старик!

Получил от тебя письмо, спасибо. Значит, Эл мне верна. Но меня это не очень-то волнует, честно говоря.

У меня, Влад, намечается большой роман. Великий. Не буду сообщать персоналий — тайна, но знай — я таких еще не видел. Скажу честно, старик, взволнован. Весьма. Сердце трепещет. А если без шуток, то она мне действительно здорово нравится. Понимаешь, Влад, это даже трудно объяснить. И не в том вопрос, что красивая, прославленная и т. д., а не встречались раньше такие.

Мы ведь с тобой с кем обычно? Вот Эл — лучший образец. Здесь совсем иное дело. Сам еще толком не разберусь...

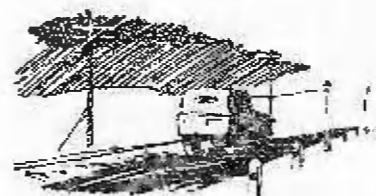
Разберусь — напишу.

Только видимся мы редко — армия. Есть тут у всех, у солдат в том числе, кое-какие дела. Ну что ж, «тем сладостней короткие свиданья».

Вкладываю в конверт письмо для отца. Передай. Пусть при тебе прочтет, сразу же заберу у него и уничтожу. А то мать найдет, хлопот не оберешься. И бдительно следи, успокоилась она или все-таки рвется сюда. В случае чего — сигнализируй. Эл скажи — был на очень ответственном задании, не мог писать. Теперь вернулся, в ближайшие дни напишу.

Жду твоих писем, старик.

Г.



## Глава XIII

В шесть утра у Таниного дома прозвучал настойчивый автомобильный сигнал.

Открыв форточку, Таня закричала:

— Завтракали?

— Завтракали! — хором ответили Васнецов и Конылов из машины.

— Тогда иду!

Форточка захлопнулась.

Оба офицера так спланировали свое время, чтоб удалось отвезти Татьяну к месту сбора. Конылов раздобыл машину.

Зима уверенно вступала в свои права даже здесь, в этом отнюдь не северном краю.

Мягкие белые покрывала застлали поля, прилегли на крышах, распушились похудевшие, оголившиеся деревья. Сырой ветерок, частый гость этих мест, пролизывал пазухи, хотя красный столбик на термометре едва опустился ниже нуля.

Было еще темно, но уже где-то за краем земли начинало светлеть.

Машина тихо урчала, как дремлющая кошка у печи, когда Таня с вещевым мешком в руках быстро сбегала с крыльца.

Набирая скорость, машина помчалась по еще пустынным улицам города и вскоре выехала на шоссе.

...Спортивные сборы проходили обычно летом. В густом хвойном лесу на опушке огромного ровного поля стояли палатки. Палатки не временные, основательные, электрифицированные, радиофицированные.

В клубной палатке имелся телевизор, между деревьями был развешан киноэкран.

Среди спортсменов были сверхсрочники, они приезжали с семьями, и странно выглядели возле суровых зеленых палаток лежащий на боку красный трехколесный велосипед или безрукая кукла, устремившая к верхушкам деревьев удивленный голубой взгляд.

Самолеты размещались на другом конце поля. Где-то по середине божьей коровкой прилепилась красно-белая штурманская машина с традиционной, болтающейся на ветру «колбасой».

По утрам в палатки доносился свежий, пьянящий аромат цветов, сливавшийся с тяжелым запахом хвои. Позже нагретая хвоя и смола перетягивали, и нужно было идти далеко в поле или дожидаться свежего ветерка, чтобы снова услышать запах цветов.

Но все это бывало летом.

Зимой сборы были редки и коротки. Спортсмены жили в небольшом, жарко натопленном деревянном домике. Темпело рано. Особого веселья не было, и, когда наступал час отъезда, все вздыхало с облегчением.

Спортсменов зимой приезжало меньше, чем летом. И в компании Таня обособилась одна.

Она распаковала свой вещевой мешок. Что-то погладила, что-то подшила, пообедала и, улегшись на постель в своей любимой позе, устремила взгляд в потолок.

Каков же он все-таки, «ее» Ручьев?

Копылов его видит одним, а Васнецов совсем другим. И есть у него командиры — отделения и взвода, есть старшина, есть другие сослуживцы по роте. И каждый из них имеет о нем свое собственное мнение.

А где-то в далекой Москве у Ручьева мать, отец, друзья, может быть, девушка — бывшая девушка? — все они тоже судят о нем по-разному.

Одни ближе к истине, другие дальше, одни объективнее, другие под влиянием мимолетных чувств, настроений.

И он сам тоже оценивает себя.

Как? Искренне? Судит критически, требовательно или видит себя таким, каким хотел бы? Без недостатков, а может, скрывая эти недостатки от других, авось не заметят.

Но лучше всех, вернее всех его должна узнать она, Таня. Если, конечно, любит.

А как узнать человека до конца? Возможно ли это вообще? И есть ли такое точное мерило, чтоб моральные человеческие качества поддавались измерению объективному, как рост, вес, объем груди или окружность бицепса?

Хороший человек порой становится плохим — плохим-то ведь никто не рождается. В подобных случаях принято говорить, что «таким его сделала жизнь». Но разве можно все валить на нее. Каждый живет жизнью, которую заслуживает, которую сам себе устроил.

А может, не так? Может быть, люди не всегда виноваты в своей плохой жизни?

Нет, всегда! Потому что если жизнь твоя плохая, неправильная, ее надо менять, надо бороться...

Таня никак не могла выбраться из лабиринта своих мыслей.

А гвардии рядовой Ручьев занимался согласно расписанию «уходом за техникой» — драил свою боевую машину. Теперь, как шутил Щукин, «их было четверо»: Сосновский, Ручьев, Дойников и Щукин. Хворост и Костров попали в другое отделение.

Присвоение Сосновскому звания сфрейтора и назначение старшим в экипаже не упростило отношений.

Хотя вне службы это был прежний Игорь, но в остальное время он являлся командиром. А много ли у солдата времени вне службы?

Помня карабинные времена, Ручьев сразу же стал называть друга «товарищ гвардии сфрейтор». Однако разделявшие их вначале натянутость и неловкость постепенно исчезли. Все вошло в колею.

Ручьева, как и следовало ожидать, назначили водителем. Впрочем, большого значения это не имело.

Еще во время укомплектования отделений и взводов лейтенант Грачев сказал:

— Вот что, товарищи, давайте договоримся сразу, никакой узкой специализации. Десантники — это особый род войск. После приземления в тылу врага любой десантник может оказаться в таком положении, при котором ему придется выполнять совсем иные функции, нежели положено по расписанию. Артиллерист станет радистом, радист — водителем, водитель — артиллеристом. Командир роты, если надо, возглавит полк, командир отделения — роту.

Десантники являются наиболее универсально подготовленными солдатами. Уж такая у них военная профессия.

Всем ясно? Ну, а раз ясно, так прощу считать все специальности одинаково важными. И если, к примеру, Лузгин, сидя за рулем, застрянет на своей машине в канаве, пусть не слышится, что он не водитель, а радист. Между прочим, я потому и взял в пример Лузгина, что он и тут и там на «отлично» работает. Конечно, если кто-нибудь при отличных оценках по всем специальностям в своей основной добьется совершенства — никто ругать его не станет.

Лучшей иллюстрацией к этим словам служил сам командир взвода гвардии лейтенант Грачев.

Он действительно великолепно владел всеми «десантными»,

как он выражался, специальностями. Причем он так сумел поставить дело, что солдаты частенько приходили к своему командиру взвода и с вопросами, и с сомнениями, и с просьбой разрешить спор.

На следующий день Сосновский построил свой экипаж и торжественно заявил:

— Товарищи, ставлю задачу: добиться, чтоб никакой генерал не мог догадаться, кто у нас кто!

— Это как понять? — удивился Дойников. — Зачем вам генералов обманывать?

— Эх, Дойников! — Сосновский укоризненно посмотрел на него. — Какой обман! Речь идет о том, чтоб любой из нас одинаково хорошо владел специальностью и бойца, и водителя, и, между прочим, командира расчета.

— Понятно.

— Ну, раз Дойников понял, значит, действительно все просто, — заметил Щукин.

— Разговоры в строю! — нахмурился Сосновский.

В результате этой нехитрой затеи Щукин начал давать товарищам «дополнительные уроки» самбо. Ручьев паставлял всех в искусстве вождения машины, а Дойников пытался учить рисовать.

Но его инициатива поддержки не получила.

— Лучше ты помогай в топографии и маскировке, — утешал огорченного Дойникова Сосновский.

Как вскоре убедился Ручьев, боевая машина мало напоминала «Запорожца». Ему пришлось серьезно поработать, пока он почувствовал, что освоил ее.

Зато теперь он был одним из лучших водителей в роте. И на занятиях проявлял даже известную лихость, за что не раз получал замечания от Грачева.

— Вы что, Ручьев, — сердился командир взвода, — на автогонках, что ли! Вы на поле боя тоже будете выкрутасы проделывать? Имейте в виду, боевая машина не «альфа-ромео». На ней бьют врага, а не призы выигрывают. Учитите!

— Есть учesty! — громко отвечал Ручьев и на некоторое время сдерживал свой водительский пыл.

Вначале Ручьев отнесся к своей машине, как цирковая примадонна к своей лошади. Расклапавшись перед публикой по окончании номера и вкусив сладость аплодисментов, она удаляется к себе, предоставив конюхам дальнейшие заботы о копе. Показав класс на запятых, Ручьев ставил машину в автопарк и больше не думал о ней.

Но однажды, осмотрев ее, лейтенант Грачев вызвал Ручьева и сказал:

— Не стыдно, Ручьев? Посмотри, посмотри! Да нет, фары ты протер и верх тоже. Подлезь под машину, вот-вот, не бойся. Ну как? Там же метровая грязь! Раскошки падо делать, тоном ее откалывать. Машина небось на полтонны тяжелее стала. А внутри? Китель потом за день не отчистить. Какис-то тряпки, сиденье не закреплено. Ты дома-то со своим «Запорожцем» тоже так обращался? Тебя ведь первый автоинспектор остановил бы.

Сосновский организовал аврал. Машину выдраили так, что лейтенант Грачев заметил:

— Ну ладно, она все же не зеркало. Броню еще протрете...

С тех пор Ручьев тщательно следил и за внешним видом, а не только за техническим состоянием своей машины.

Вот и сейчас, обложившись тряпками и ветошью, он наводил порядок с помощью Щукина и Дойникова.

— Смирно! Товарищ гвардии старший лейтенант... Воляпо!

К ним подошел командир роты. Некоторое время он придирчиво оглядывал машину и, не найдя, видимо, причин для замечаний, заговорил о другом.

— Гвардии рядовой Ручьев, послезавтра вы мне понадобятся. Поедете со мной.

И пошел дальше проверять работу других экипажей.

— В чем дело? — забеспокоился Дойников, его голубые глаза округлились. — А? Куда это он тебя?

Ручьев пожал плечами, продолжая орудовать тряпкой. Он то отлично знал куда.

Вот и наступил час репаяющего испытания!

Поедут и спортсменам на сбор, и там...

Остаток дня он был мрачен.

Сосновский, догадываясь о причине, пытался отвлечь Ручьева. Делился своими планами в отношении училища, выяснял что-то об английских глаголах, попросил вечером спеть любимую песню «Русское поле», принес только что прочитанную книгу и восхищался ею.

Ничего не помогло. Ручьев отвечал односложно, пел без души, а в глаголах запутался сам.

Мрачное настроение не покидало его и на следующий день, что не укрылось от внимательного взгляда замполита.

Вечером, возвращаясь домой, он заговорил об этом с Копыловым.

— Бойтся Ручьев.

— Боится? — Копылов даже остановился. — Ты говорил с ним?

— Да тут говорить нечего, и так видно.

— Думаешь, опять не прыгнет?

— Не в том дело, — пояснил Якубовский, — не самого прыжка он боится, а того, что не прыгнет. Понимашь, раньше так, наверное, думал: ну, не прыгну, плохо, но не смертельно, все равно скоро переведусь в другое место, отчислят — и черт с ним. Теперь он врос уже, рота своей стала. Все ладится. А вот ведь чувствует себя белой вороной. Ему сейчас не прыгнуть — гибель! Самое страшное.

Некоторое время они шли молча.

— Интересно все-таки получается, — вслух размышлял Якубовский, — ведь пришел этот Ручьев, ну прямо белоручка. Я однажды видел, как Дойников учил его пол мыть. Тот пыхтит, сонит, трет поперец половиц, забрызгался весь. Дойников рукава засучил — раз-раз — у него здорово получается. Моет, ворчит: «Культурист... Пол культурно не можешь вымыть...»

Копылов улыбнулся.

— Все ему трудно давалось, — продолжал Якубовский, — и не потому, что неспособный. Нет! Он парень толковый, ловкий, а вот протест эдакий внутри сидит, как черт: «Не по мне, не для меня, я здесь пепадолго, перетерплю как-нибудь, лишь бы скорей перевестись или отслужить...» Ну, а при таком настроении ясно, все из рук валялось.

— Так ведь переменился, — заметил Копылов.

— Ну не совсем еще, но значительно. Прямо скажу — не узнать. И что главное, интерес появился. Он, как начались успехи, все по-другому воспринимать стал: «Ах, я первый, ну, смотрите, я еще не то могу!..» Честолюбивый парень. Только честолюбие у него не в ту сторону направлено. Теперь увидел, что и здесь можно первым быть, есть за что бороться, вот и старается. То-то и оно. — Якубовский щелкнул языком. — Потому для него прыжок сейчас — это все. Можно сказать, вопрос жизни.

— Да... — Копылов задумчиво покачал головой. — И небось чем больше думает об этом, тем трудней ему. А может, зря мы с Кравченко его бросать задумали? Может, надо было вместе с ребятами? Мы ведь как рассуждали: не прыгнет опять, никто не узнает. Следующий раз со всеми. А получается, если завтра не прыгнет, так в роте-то, может, и не узнают, но для самого него — драма. Больно много он об этом думает, готовится. Так?

— Так. Я с него глаз не спускаю. Переживает страшно.

— Да... Ну что теперь говорить! Завтра едем. Уж такую работу с ним провели. Теоретически он теперь парашют небось лучше любого инструктора знает. — Копылов усмехнулся. — Только и осталось, что прыгнуть. И потом... все-таки на Кравченко надеюсь. Просто не могу поверить, чтобы он при ней не решился...

— Что ж, поживем — увидим. — Якубовский, как всегда, был сдержан. — В конце концов день остался. Подождем.

— Подождем, — заключил Копылов.

Ждала заветного дня и Таня.

Ждал Ручьев.



## Глава XIV

Как всегда, Крутов проснулся мгновенно. Так просыпается одинокий хищник, почуяв опасность.

Были времена, когда это спасало ему жизнь. За долю секунды перейдя от глубокого сна к ясному, настороженному бодрствованию, он открывал стрельбу или выскакивал в окно.

...Крутов вздохнул, надел плащ, закурил и вышел на улицу.

Туман еще висел кое-где, ухватившись за голые сучья. Под ногами хлюпала зимняя липкая грязь. Сырой, пронизывающий, несильный, но непрекращающийся ветер дул и дул, как вчера, как позавчера, как неделю назад...

Крутов подошел к машине, оглядел критическим взглядом кое-где поцарапанные бока; поленившись лезть за тряпкой, протер рукавом ветровое стекло. Включил мотор.

«Мерседес» мягко и бесшумно заскользил по мокрой улице.

Миновав пустынный в воскресенье центр, окраины с новостройками, напоминавшими карточные домики, Крутов выехал на автостраду и катил по ней минут сорок.

С двух сторон проносились затянутые инеем поля, чернели леса, от редко разбросанных далеких ферм долетал тугой запах навоза.

Потом свернул на лесную дорогу и, проехав еще с четверть часа, остановился у высоких, глухих ворот.

Посигналил: два коротких гудка, два длинных, снова два коротких.

Под громкий лай овчарок ворота раскрылись.

Дорога вела к высокой двухэтажной белой вилле под серой черепицей. Но Крутов, не останавливаясь, проехал дальше. В глубине парка стояло приземистое каменное строение без окон.

Две-три машины дремали у стены.

Хлопнув дверцей, Крутов обогнул здание и вошел в узкий проход. Спустился по лестнице, миновал коридор, еще раз спустился и остановился перед тяжелой дверью, какими запирают бомбоубежища. Нажал кнопку звонка.

Дверь медленно отворилась.

Навстречу нахлуло пороховым дымом, донеслись приглушенные выстрелы.

В длинном бетонном подвале размещался тир. Вдали, ярко освещенные, маячили мишени. Возле двери, в полутьме, на линии огня притаились стрелки.

Их было трое, и неискушенный человек принял бы их за цирковых артистов. Все в рабочих комбинезонах и резиновых сапогах. На пистолеты надеты звукоглушители.

Никто не стоял в классической позе: расставив ноги, вытянув правую руку.

Стрелки все время находились в движении. Один становился на ящик и стрелял в тот момент, когда у него выбивали этот ящик из-под ног. Другой не спеша закуривал сигарету, а потом неожиданно совершал прыжок в сторону, одновременно выпуская в мишень обойму. Третий стрелял с завязанными глазами...

Поздоровавшись кивком головы, Крутов снял с вешалки робу, достал из шкафа пистолет, включился в тренировку.

Так продолжалось около часа. Одни уходили, другие приходили. Никто ни с кем не разговаривал, люди были заняты делом.

Заключил занятие и Крутов. Аккуратно спрятал пистолет, повесил комбинезон, вымыл в соседнем помещении руки и вышел на воздух.

Постоял, вдыхая свежий аромат хвойного леса. Пройдя немного дальше, Крутов оказался на широкой утрамбованной площадке. Здесь тоже шли тренировки. Несколько хмурых, сосредоточенных парней метали ножи. Просвистев в воздухе, тяжелые клинки с четким шлепаньем вонзались в разноцветные пробковые круги мишеней.

Все было как в тире — люди метали ножи в падении, в прыжке, стоя спиной к цели, нагнувшись, между ног, выхватывая клинки из-за головы, из рукава, из сапога...

И здесь Крутов провел полчаса. Затем, по-прежнему ни с кем не обменявшись словом, вернулся к машине и поехал в город.

Вне заданий никто не спрашивал у Крутова, как он проводит время. Так, по крайней мере, считалось. (В действительности, он прекрасно это понимал, каждый шаг его был известен.)

Однако существовали кое-какие обязательные правила. Например, такие вот тренировки и другие, «по специальности». Они проводились через день — и в будни, и в праздники. А после тренировки, пожалуйста, иди на все четыре стороны, ией, что хочешь, с кем хочешь, развлекайся, как хочешь.

Так и делали.

Но если в результате нития пачинала дрожать рука и пули улетали «за молоком», если кто-нибудь допускал излишнюю откровенность в беседах со случайными подругами, можно было лишиться работы, а иногда и жизни.

Об этом забывали лишь круглые дураки.

Крутов дураком не был.

Не особенно поощрялась и близкая дружба. Да и с кем дружить?

Как ни удивительно, но люди эти, избравшие такой вот жизненный путь, глубоко презирали друг друга за сделанный выбор.

Каждый видел в другом предателя родины, отщепенца, презирал его и внутренне (а порой и вслух) издевался над ним, зная при этом, что сам не лучше, что сам достоин отращения. И вымещал это на других. То была поистине змеиная яма, где, тесно перебитые единой горькой судьбой, ненавидя и проклиная свое бывшее отечество, эти люди в то же время ненавидели и друг друга, готовые в любую минуту вонзить в соседей отравленные жала...

После тренировки Крутов отправился обедать (завтракать «по-ихнему»). Он делал это всегда в одном и том же маленьком полуподвальном ресторанчике на набережной.

Спустившись по каменным ступеням, он проходил в «свой» угол, садился за «свой» столик и заказывал водку. Вообще-то говоря, в ресторанчике том водки не водилось — имелись в изобилии другие крепкие напитки. Но ради постоянного клиента хозяин стал закупать и «Московскую» импортную. «Смирновскую», «Тройку», «Александровскую», «Пушкинскую», «Еловую» — господи, сколько их ныне развелось в мире! — Крутов с возмущением отверг.

— Русскую, ясно? — сказал он озадаченному хозяину. — Советскую, пастоящую. Ясно?

И, паливаясь горькой злобой, проглатывал рюмку за рюмкой. Вот и миновал еще один никчемный день. Никчемный день никчемной жизни...



## Глава XV

Что такое счастье? Один философ сказал, что это когда человеку уже больше нечего желать. Интересно, бывает такое состояние или всегда, чего бы ни достиг, начипасшь мечтать о большем?

Как в горах — идешь, крихтишь, поднимаешься на вершину. А добравшись до цели, видишь вдали новые вершины, на которые карабкаешься опять. Наверное, в этом суть прогресса человечества.

Я счастлив! Я достиг всего. Мне уже нечего больше желать! Я совершил прыжок с парашютом! Я! Ручьев Анатолий! Гвардии рядовой! Даже два прыжка.

Я, разумеется, понимаю, что для всех моих товарищей ничего особенного в том, что они прыгнули, не было.

Приятно, конечно, значок получили, так сказать, воздушное крещение. Но, в конце концов, никто ведь, и я в том числе, не скакал от восторга, первый раз подтянувшись на перекладине, первый раз попав в мишень или отрыв свой первый окоп для стрельбы лежал!

Служба. Военские будни.

Для десантника прыжок с парашютом то же самое, что для подводника погружение, для артиллериста залп из орудий, для сапера постановка мины. Для них, может быть, но не для меня.

Для меня это событие невероятной важности. Это такая победа, что и не передать словами.

Не камень, а пирамиду египетскую сбросил с плеч!

Ведь все это время я чувствовал себя каким-то неполноценным, тяжело больным...

Я понимаю, что никто меня таким не считал, кроме меня самого, но от этого не легче. Есть люди с уродством — ну там

палец шестой на руке или родимое пятно в пол-лица. Делают операцию, и человек становится как все. Вот так сейчас и я. У меня тоже была операция. И теперь я как все.

Я — как все. Как Сосповский, как Щукарь, как Хворост...

Как вся рота, вся дивизия.

Я один из них.

Сотый раз вспоминаю, как это было. Сотый раз радуюсь!

Накануне, на вечерней поверке, объявляют суточный наряд. «Ручьев!» — старшина кричит. «Я!» — отвечаю. «Повезете на сборы литературу. Поступаете в распоряжение командира роты!»

Ясно, смотрю кругом. Никто ничего не замечает. Может, действительно, а может, все знают и притворяются?

Ночь не спал.

Чего только не передумал!

Не этот проклятый прыжок, не было бы проблем. Ну мог же я попасть в танковую часть. Мне, кстати, владельцу собственной машины, там самое место. Так нет, попросился в десантники. Захотел поразить моих московских друзей! Ручьев — небесный гвардеец!

Потом начинаются мрачные мысли: не прыгну, как буду Таню смотреть в глаза? Ребята — те поймут. А с ней все. Не будет она со мной дела иметь. Нет, безнадежно и заговаривать после этого с ней.

Прыгну! Прыгну, черт возьми! Уверен.

Начинаю себе это представлять. Как сел, как дверь открылась, как подошел к проему. Вспоминаю песню веселую, ребята дурака валяют — поют:

Тому, что десантник прыжка не боится,  
Ты, дорогая, не верь.  
Лучше взгляни на их «бодрые» лица,  
Когда открывается дверь!

Глупая песня, и стихи — бред. Но точно про меня. Вот посмотрит Таня на мое «бодрое» лицо, и на этом все кончится.

От моей уверенности не останется следа. Я вижу так ярко и детально, словно смотрю вниз, — поле под снегом, маленькие домишки, деревца, машины. Слышу спокойный голос старшего лейтенанта: «Пошел!» И... не могу двинуться с места. Ну не могу!

Вытираю пот со лба. Встаю, иду в галюн. Дневальный сочувственно смотрит на меня — это небось десятый раз за ночь...

Господи, когда все это кончится!

Заснул под утро.

Не успел опомниться — «Подъем!» кричат. Встал больной. Подумал: может, в медсанбат сбегать, температуру набить? Отсрочка? Ведь все равно рано или поздно прыгать придется. Никуда от этого не уйдешь. Так уж лучше рано.

Ну почему для других это не проблема? Почему?

Сделал зарядку, сходил на завтрак. Являюсь к старшине. И тут выясняется, что командир роты не едет. Едет Якубовский. Вот те на! Это пспроста. Потом поразмыслил: нет, все логично — возем литературу, Якубовский — замполит.

Садимся в машину. Два пакета газет, журналов, каких-то книжек укладываю. Едем.

Думал, в дороге замполит будет меня морально готовить. Ничего подобного. Молчит. И я молчу. Один водитель болтает. Рассказывает, как в отпуск ездил. Кому это интересно? Клуб у него в деревне открыли, киноустановку завели, еще чего-то. Вольное дело — клуб открыли!

С парашютом мне надо прыгать. Вот что! А он клуб...

Приехали.

Стоит псвзрачный домишко. Там живут спортсмены. Вдали слышу самолеты — моторы работают. Волнуюсь, жду встречи с Таней. А Тани нет.

Сдали литературу.

Якубовский выходит от начальника сбора и говорит:

— Пошли обедать. А потом на прыжки.

Обедаем молча. В столовой, кроме нас, никого. Кончаем обед, собираемся выходить. Дверь открывается, и врывается Таня, румяная с улицы, волосы растрепались, глаза блестят. Одна.

Смотрим друг на друга. Якубовский говорит:

— У вас, Кравченко, когда прыжки? Через час? Не возражаете, если мы с гвардейцем к вам присоединимся? Или у вас специальные прыжки?

— Нет, — отвечает, — пожалуйста.

— Товарищ Ручьев, — Якубовский поясняет, — не поспел с ротой прыгать. Так уж получилось. Ршили воспользоваться случаем, что к вам заехали. Значит, через час у выхода?

— Через час... — Таня отвечает.

Якубовский выходит, и мы остаемся с ней вдвоем. Но уже за дверью топот и голоса, спортсмены идут в столовую.

Собираюсь тоже уходить.

И вдруг Таня быстро подбегает ко мне, берет за плечи, дышит в самое лицо.

— Все будет в порядке, Толя, слышишь! Все будет в порядке. Даю тебе слово...

Еще что-то хотела сказать, но уже парод повалил. Я вылетел из столовой на улицу. Стою — размышляю. Она что, догадалась, что я чувствую? Или все это вообще спектакль, где все роли заранее расписаны? И ее завлекли в это дело. Старички рассказывали: сажают вот такого, как я, отказчика с девчонками, ну неловко трусить перед ними, он и прыгает. Прием такой. Одно дело, если это Копылов и Якубовский задумали, другое, если и Таня в курсе дела!

Может, и знакомство наше с ней... ну, словом, все оставшее тоже спектакль? Поручили ей роль, она и рада стараться. Мол, влюбится, так уж наверняка прыгнет ради любимой.

Да нет, ерунда. Такого просто невозможно представить. Командир роты затеял всю эту педагогическую операцию. А Таня о ней и представления не имеет. Тогда что значили ее слова там, в столовой? А ничего. Знает, что я в свое время испугался прыгать, что сегодня буду, вот и пожелала удачи.

Хожу, дышу воздухом, мыслю.

Наконец на пороге домика появляются старший лейтенант Якубовский, Таня, еще кто-то.

— Пошли, Ручьев!

Идем. Медленно движемся к опушке леса, где у них аэродром.

Стоят несколько принакрытых «Ан-2». У одного урчит мотор.

И вдруг меня охватывает полнейшее равнодушие. Прыгну не прыгну... Какое все это имеет значение? Через год, два, тем более пять, я забуду и это белое поле, и этот маленький самолетик, и Копылова, и Якубовского, и...

Забуду ли Таню?

Заходим в псбольшой домик, надеваем комбинезоны, шлемы, парашюты, заранее приготовленные, многократно проверенные, опечатанные.

Тяжелые и неуклюжие, идем к самолету, влезает по лесенке в холодную кабину.

Равнодушие не проходит. Я словно в полусне вижу, как захлопывается дверь, слышу, как ревет мотор, ощущаю толчки бегущего самолета, отрыв, плавный взлет.

Самолет набирает высоту, ложится на курс.

Старший лейтенант Якубовский встает и громко приказывает: «Зацепить карабины!» — хотя в кабине нас всего трое.

Пристегиваю карабин к тросу. И... прихожу в себя.

Оцепенение вдруг спадает.

Ясно слышу глухой рокот мотора. Вижу сосредоточенное лицо Якубовского, взволнованное лицо Тани. Она сидит бледная, нахмурив лоб, сжав губы. Я понимаю, что они беспокоятся за меня, и меня охватывает злость. Кретин какой-то! Для всех прыгнуть что плюнуть! Для меня — целая проблема! Все кругом возятся, носятся со мной, как с капризным младенцем, разыгрывают какие-то спектакли — будь любезен, Ручьев, очень просим, соизволь покинуть самолет! Позор!

Из кабины летчиков выходит бортмеханик, делает знак рукой и открывает дверь. Рокот мотора становится громче, но и его заглушает неистовый рев ветра. Даже сквозь комбинезон проникает холод.

Сейчас Таня совершит прыжок. И хорошо бы, чтоб Якубовский и бортмеханик взяли и выкинули меня из самолета.

Но к двери спокойно направляется старший лейтенант. Он вдруг поворачивается ко мне, широко улыбается и кричит: «Давай за мной, Толя! Жду внизу. Не задерживайся!» И исчезает.

Бортмеханик, который наверняка ничего не знает, равнодушно кивает мне в сторону двери. Я вскакиваю и останавливаюсь в проеме. Таня тоже поднялась, она стоит возле меня.

Я смотрю вниз. Там несется снежное поле, белизна скрадывает высоту, еле заметен на этом фоне парашют Якубовского.

Надо прыгать. Сердце холодеет, а сам я словно горю. Ну! Ну же! Готов убить себя. Ну чего, чего бояться? Господи, сколько за это время со мной возились, беседовали... И ребята, и командир взвода, и роты, и даже сам начальник ПДС. Разжевывали, сотый раз показывали, объясняли... Я теперь знаю парашют, как свой автомат, и отлично, отлично понимаю, что прыжок безопасен. Так в чем же дело, черт возьми? Чего я жду? Почему медлю?

Отвожу взгляд от земли, смотрю на Таню. И в глазах ее читаю такую мольбу, словно я занес над ней топор. Она что-то шепчет — не слышно что — и вдруг крепко, страдальчески зажимуривает глаза. Тогда я тоже закрываю глаза и решительно бросаюсь в пустоту...

Сначала ничего не замечаю, кругом свист, шум, меня переворачивает, только где-то в мозгу, равнодушный ко всему, бьется счет: «Стабилизирую раз, стабилизирую два, стабилизирую три, стабилизирую четыре...»

Из всей силы дергаю кольцо (или это кто-то другой, посторопший?). Невидимая могучая рука встряхивает меня. И вдруг наступает тишина и покой...

Я медленно опускаюсь с белого неба к белой земле.

Где-то далеко-далеко затихает рокот самолета, гуднула электричка...

На меня наваливается такая радость, такое счастье, какое до меня, конечно же, не ощущал ни один человек на земле.

Прыгнул! Я! Прыгнул!

Оглаживаюсь по сторонам. На моем уровне недалеко спускается Таня. Еще бы, искусная спортсменка, она так рассчитала, чтоб оказаться рядом.

Улыбается, машет рукой, что-то кричит.

Я тоже машу.

Приземляемся одновременно. Я по всем правилам — и удерживаюсь на ногах. Таня валится на бок. Гашу парашют, торопливо отстегиваю его, бегу к ней.

Она не торопится вставать. Глаза блестят, хохочет. Наклоняюсь помочь. Она обвивает руками мою шею, притягивает, целует. Я тоже падаю в снег.

Издалека слепит Якубовский.

Когда он подходит, мы уже собираем парашюты.

Крепко обнимает меня, улыбается.

— Ну,— говорит,— а ты боялся! Это ж сплошное удовольствие — с парашютом прыгать. Доволен?

— Товарищ гвардии старший лейтенант, — капючу, — по закону в первый день два прыжка полагается. Прошу немедленно разрешить второй!

— Немедленно! Ишь ты какой! — смеется.

— Товарищ Якубовский, он прав, — Таня вся сияет, — он прав. Не хотите, не летите. Я сейчас это дело улажу. У нас же еще часа три прыгать будут.

— Ну раз так...

Взваливаем парашюты на спину и идем к самолету.

Все повторяется.

Опять летим втроем. Только на этот раз первой прыгает Таня.

Произвожу психологический опыт над самим собой. Надо проверить. Может быть, первый раз я прыгал в трансе, в состоянии аффекта? Таня рядом... И вообще. Надо проверить. Я спокойно подхожу к двери, внимательно смотрю вниз. И, стараясь не закрывать глаз, неторопливо шагаю в пустоту. Глаза, правда, закрываются сами собой, но еще до того как дернуть кольцо, я снова открываю их.

Ни в какой момент, ни на одно мгновение не испытываю страха.

Пока спускаюсь, миллион мыслей пропосится в голову. Принимаю миллион решений.

Во-первых, стану мастером спорта по парашютизму, во-вторых, женюсь на Тане, в-третьих, подам рапорт в десантное училище, в-четвертых, никуда из дивизии не уеду, коли надо, останусь на сверхсрочную (старшина Ручьев!). И на всю жизнь буду обязан старшим лейтенантам Якубовскому и Копылову. И генералу Ладейникову тоже. И полковнику Николаеву. И Сосновскому. И Щукину. И Дойникову. Сегодня же напишу матери, чтоб не валяла дурака: никаких переводов, никаких визитов...

Приземляюсь, на этот раз завазиваюсь. Но тоже по всем правилам.

Теперь я бегу к Якубовскому и Тане.

— Товарищ гвардии старший лейтенант, — прошу, — а можно третий? Я...

— Да ты что, Ручьев, совсем ошалел от радости?! Тебе дай волю, ты до утра прыгать будешь.

— Могу до утра, товарищ гвардии старший лейтенант.

— На первый раз хватит, — успокаивает. — На, получай заслуженную награду.

Достает из кармана коробочку с заветным значком (приготовил, значит, не сомневался, что прыгну) и торжественно вручает мне.

— Благодарю! — говорю.

— Поздравляю.

— Служу Советскому Союзу! — кричу.

— Ура, — тихо говорит Таня.

Она смеется. Она сегодня все время смеется. И смотрит на меня...

Но я не могу забыть ее лица тогда, в самолете. Зажмуренных глаз, сжатых губ.

Наверное, она все-таки любит меня. А я уж!..

Идем в столовую.

Там человек десять спортсменов. Они не в курсе дела. И не смотрят на меня.

Тороплюсь, глотаю.

— Через полчаса едем, Ручьев, будь у машины. — Якубовский отправляется к начальнику сбора.

Таня незаметно кивает мне головой. Мы выходим с ней в коридор, и она уводит меня к себе в комнату.

Накопец-то мы одни!

— Ну, — спрашивает, — доволен?

— Не то слово, — говорю.

Она улыбается.

— Здорово, да?

— Чего сияешь? — спрашиваю. — Чего здорово? — пожимаю небрежно плечами. — Уж не думала ли ты, что я испугаюсь прыгать?

Улыбку с ее лица словно смело. Аж краснеет от возмущения.

— Нет! Вы слышали? Вы слышали, как он рассуждает! Герой! Храбрец! А почему первый раз струсил?

— Кто струсил? — негодую. — Уж не я ли?

Таня становится пунцовой, у нее перехватывает дыхание.

— Нет, я! Я струсил! Ну знаешь, знаешь!.. — Она не находит слов.

— Это ты имешь в виду первые прыжки моей роты, — говорю я снисходительно. — Да, действительно, не прыгнул тогда. Но не потому, что испугался.

— А почему, интересно?

— Просто забыл взять парашют.

— Забыл?!

— Ну да, забыл внизу, никто не заметил. Вместо парашюта я, оказывается, пристегнул аккордеон. Ты же знаешь, я люблю играть...

Секунду она смотрит на меня, широко раскрыв глаза. Потом лицо ее опять превращается в сплошную улыбку.

— Да ну тебя! Возгордился. Издеваться начал! — И добавляет почти шепотом: — До чего ж я рада, Толя, если б только ты знал, до чего я рада...

— Ну уж не больше меня, — смеюсь, потом говорю: — Как ты думаешь, получится из меня спортсмен? Я имею в виду парашютист? (Уже провожу свои планы в жизнь!)

У Тани загораются глаза.

— Слушай, это же гениальная мысль! («Еще бы!» — подаю реплику.) Почему бы не сделать из тебя парашютиста. Ты атлет, смелый, толковый — там, между прочим, соображать надо. Как у тебя с реакцией?

— Не жалуюсь.

— Ну так вот, надо, чтоб ты еще несколько прыжков сделал, и я устрою тебя к нам. Обязательно поговорю с Копыловым. Словом, беру над тобой шефство!

— В качестве шефа, — спрашиваю, — ты будешь заботиться о моей морально-волевой подготовке? Или только о технической?

— Что ты имеешь в виду? — Она подозрительно смотрит на меня.

— А то, что в состоянии душевной депрессии, вызванной отсутствием взаимности со стороны любимой девушки, выдающийся (в будущем) чемпион Ручьев не сможет показать свои лучшие результаты. — вынашиваю на одном дыхании.

— Понятно. О взаимности договаривайся с любимой девушкой. Мое дело — спортивная честь.

— Буду договариваться, — вздыхаю. — Думаешь, получится?

Она поджимает губы.

— Откуда мне знать, попробуй — увидишь.

С улицы слышен автомобильный сигнал. Я вскакиваю, бегу к двери.

— Когда? — спрашиваю.

— В понедельник жди! — Она машет рукой.

...Через несколько минут машина уносит старшего лейтенанта Якубовского и меня обратно в городок.

— Товарищ гвардии старший лейтенант, — высказываюсь, — хочу совершенствоваться в парашютном спорте. Вот Кравченко готова надо мной шефство взять. Что надо делать? Заявление какое-нибудь или кружок есть?

Смеется.

— Кружка нет, Ручьев, это не Дворец пионеров. Вот попрыгаешь еще, а я думаю, случай представится очень скоро, и тогда в зависимости от показанных результатов будем двигать тебя в чемпионы.

Приехали в роту как раз к личному времени. Якубовский к себе ушел. Я иду докладывать Сосновскому.

— Товарищ гвардии ефрейтор, гвардии рядовой Ручьев с задания прибыл!

И сияю при этом, как медная кастрюля.

Сосновский на меня не смотрит, смотрит на мой парашютный значок. Вид торжественный, важный, похож на индюка.

Не выдержал, заулыбался, руку мне трясет.

— Ну, брат, молодец! Я же говорил! Ни минуты не сомневался. Вот молодец!

Конечно, откуда-то возникает Дойников и, конечно, не сразу соображает.

— Чего это? С чем поздравляют-то? — Глаза выпучил, смотрит.

— Ничего не замечаешь? — Сосновский спрашивает. — Посмотри внимательней!

Дойников еще больше глаза таращит.

— Да не на Ручьева смотри, на китель.

— Ой! — Дойников визжит так, что сбегается вся рота. — Ой! Даешь! Сигапул-таки! Когда успел? Ну скажи!..

Ребята подходят, поздравляют, радуются. У меня комок к горлу подкатывает. Сосновский становится серьезным, спрашивает:

— Сколько?

— Два, — отвечаю, — просил еще — не дали.

Хворост незаметно отводит в сторону, шепчет:

— Надо вспрыснуть. Не отвертись, друг. В первое же увольнение...

Щукарь выдвигает предложение:

— Ну вот что, солдатам гвардии ефрейтора Сосновского остаться, остальным катиться колбасой. Братцы, мы можем иметь кругом «отлично». Ручьев у нас теперь тоже прыгунчик. Значит, порядок. Надо только, чтоб Дойников спортом занимался, как человек.

— А я спортом как что занимаюсь, как шкаф? — Дойников обижается. — Думаешь, ты со своим самбо лучше меня? Посмотрим, как себя в мыжных гонках покажешь ты в настольном теннисе, кстати, тоже...

Щукарь машет рукой.

— Настольный теннис! Ты бы еще хвастался, что лучше кофты на спицах вяжешь.

Насыщенную беседу прерывает дневальный.

— Эй, — кричит, — Ручьев! На радостях небось протонал мимо, а тебе, между прочим, срочный пакет.

Бегу. Действительно, мне письмо. По почерку определяю — от мамы. Удаляюсь в Ленинскую комнату, читаю: «Вопрос с твоим переводом улажен... Скоро придет приказ... Через неделю-две будешь в Москве... Я так счастлива... Все тебя ждут...»

Когда я прочел письмо, меня словно оглушили. Это что, нарочно? Ведь еще два-три месяца назад я бы прыгал от восторга, а сегодня? А сегодня просто не знаю, что делать.

Не хочу я уезжать отсюда! Не хочу!

Когда все так здорово, когда я наконец прыгнул, когда Таня... Не хочу! И не уеду!

Беру себя в руки. Начинаю заниматься психоанализом.

Когда я сюда прибыл, у меня была одна мечта: скорей обратно, хоть сторожем, но в Москву. Там мама, там «Запорожец», там Влад, там Эл...

Теперь получается, что все изменилось. Здесь Конылов, здесь боевая машина, здесь Сосновский, здесь Таня...

Переоценка ценностей.

Зажмуриваю глаза и стараюсь представить себя в «Метрополе» на диванчике, а рядом Эл, а у столика красавец Николай Григорьевич, друг, а у подъезда моя машина...

Не тянет.

Ну не тянет меня туда!

Каждое утро можно валяться в постели хоть до полудня. Театр, концерты, МИМО. Ем что хочу. Хожу к кому хочу. Нет начальников, нет дисциплины, нет занятий, нет нарядов. А?

Все равно не тянет.

Неужели человек так быстро привыкает к трудностям?

Или это не трудности?

Или просто там жизнь изнеженной бабы, а здесь настоящего мужчины? Но я-то настоящий мужчина! Значит, мне нужна здешняя жизнь...

Ну, а «дипломатическая карьера», как выражается ма? Что ж, армейская служба не вечна, вернусь, окончу МИМО, пожалуйста, поеду послом в Никарагуа. И потом... и потом... ведь свет клином не сошелся на МИМО. В конце концов, известно немало дипломатов, бывших военных... Есть военные атташе, тоже дипломаты.

Словом, об этом еще успею подумать.

Так что же все-таки делать? Надо идти к старшему лейтенанту Копылову. А может, к генералу? Или начальнику политотдела? Пусть защитят, не отпускают. Пусть спасают от родной матери!

О господи! Родители формируют характер своих детей. Почему нельзя сделать так, чтоб дети формировали характер родителей? Уж над маминим я бы потрудился.

Ну что с ней делать?

И посоветоваться не с кем. Тани нет. Может, с Сосновским? Серьезный парень.

Иду к нему. Сразу замечает — что-то не так.

— Ты чего? — спрашивает. — Дома что случилось?

— Случилось, — отвечаю.

— Что такое?

— Мать, — говорю, — пишет, что добилась перевода. Отзовут в Москву.

— Как же так? — Даже на койку сел от растерянности.

— А так, — говорю, — придет приказ: гвардии рядового Ручьева, образцового десантника, перевести в Москву суфлером в театр!

— Кем?

— Да это я так. Не обращай внимания. Так что делать, Игорь?

Молчит. Потом спрашивает:

— А сам чего хочешь?

— Хочу остаться!

— Твердо?

— Железно!

Он радуется, по плечу хлопает.

— Нет, Ручьев, ты человек! Человек! Вот что, — серьезным стал, — будем бороться! Прямо сейчас!

— Как?

— Очень просто. — Он уже знает, уже весь в борьбе. — План таков: я иду к Копылову, так сказать по команде, и будто тайно от тебя веду с ним разговор. Мол, если отзовут — можешь неизвестно что затворить...

— Ну уж...

— Ничего, ничего, капну маслом не испортишь! Ты идишь к Якубовскому. Говоришь по душам, он замолит. Просишь, чтоб доложил полковнику Николаеву, а тот пусть генералу. И главное, конечно, пиши письмо матери! Сейчас же! В воскресенье из города позвони. Скажи: если сейчас же не закрутишь всю машину назад — с моста в воду. В прорубь! А?

Сидим, обсуждаем. Подходит Дойников. Подключается. Выдвигает смелые предложения. Например, сказать Копылову, будто ребята видели, как я из столовой утащил нож, под подушку спрятал, на предмет самоубийства.

Не получив поддержки — обижается.

Наконец утверждаем план.

Начинаем его осуществлять. Я сажусь за письмо.

(Господи, ну на черта все так получилось! Ведь уж наладилось, доволен, так нет, мать никак не успокоится! Я не желаю! Не желаю, и все!)

*Дорогая ма!*

*Я хочу, чтоб ты поняла, что это письмо — самый серьезный разговор, который был у нас с тобой в жизни. И вообще у меня в жизни.*

*Ты должна выпить валерьянки, позвать в комнату отца и только после этого читать мое письмо.*

*Так вот, слушай! Я не хочу перевода в Москву! Я хочу остаться здесь! Перечти это место еще раз — я хочу остаться здесь, я хочу остаться здесь, я хочу остаться здесь!!!*

*Ясно?*

*Пойми меня правильно, я очень вас люблю и скучаю. Но не хочу уезжать. Мне здесь очень нравится. У меня друзья, даже больше чем друзья. Ко мне хорошо относятся, ценят. У меня все — теперь уже все — получается.*

*И главное, я чувствую, что я мужчина. Пойми, ма, ведь в Москве твой здоровенный балбес, сын, словно лежал в люльке. А здесь я чувствую себя взрослым. Может быть, тебе это трудно понять, потому что для тебя я всегда буду «твоим мальчиком», но, представь себе, я уже мужчина! Таков закон жизни, от него никуда не денешься. И, в общем, это здорово. Во всяком случае, меня это устраивает.*

*Ты должна понять и гордиться мной.*

*Ну подумай, мама, — твой сын гвардеец в голубом берете, представитель самых храбрых, доблестных, замечательных войск! Ты сможешь рассказывать об этом всем знакомым.*

*Уверен — отец поддержит меня. И, пожалуйста, не консультируйся с Анной Павловной, этой золотой женщиной. Она в армии не служила.*

*Я жду от тебя телеграмму-молнию, что все отменено! До этого момента я буду очень волноваться, а у меня сейчас сверхответственное задание, и малейшее волнение может мне стоить...*

*Твой сын Анатолий.*



## Глава XVI

— Ты ничего не заметил? — спросил Копылов своего заместителя по полтчасти, когда они выходили из кабинета подполковника Сергеева.

— А что? — ответил Якубовский вопросом на вопрос.

— По-моему, он что-то задумал. Во всяком случае, готовит нам сюрприз. Совещание совещанием, но что-то он задумал. Почему он интересовался, сколько в роте больных, отпускиников?

— Мало ли почему. Интересуется, заботится...

Копылов хитро подмигнул:

— Нет, брат, меня не обманешь. Пойдем-ка в роту. Проверим еще разок, что и как.

Снег хрустел под ногами. Мела легкая поземка, в белом небе висело молочное солнце.

— Хорошо! — Копылов поднял к солнцу раздумывавшееся на морозе лицо.

— Что хорошо? — осторожно спросил Якубовский.

— Все! Все хорошо! Погода. Настроение. Пейзаж. Ты вот хороший парень...

— Спасибо.

— Не за что. А главное, Ручьев хорош. Ты не представляешь, до чего я рад. И за него, и за нас, и за роту. Между прочим, я всегда предсказывал, что он будет великолепным солдатом.

— Не помню.

— Как не помнишь, как не помнишь! — возмутился Копылов. — Ему только прыжка не хватало.

— Между прочим, — заметил Якубовский, — рвется в спортемены. Хочу, говорит, заниматься парашютным спортом. Кравченко обещала над ним шефство взять.

— Кравченко? — удивился Копылов. — Что-то я не знаю у нас индивидуальных подшефных. Интересно. Она когда приезжает?

— На днях.

— Поговорю. Во всяком случае буду всемерно приветствовать.

Офицеры вошли в расположение роты. Дежурный отдал рапорт и отправился сопровождать командира. Придирчиво, тщательно осматривал свое хозяйство Копылов. Зимний бело-розовый свет вливался потоками в чистые высокие окна. Безупречно ровными рядами стояли безупречно ровно заправленные койки. Сверкал натертый пол.

В одном конце огромного помещения располагалась «сильовая комната». Аккуратно застыли черной тяжестью гантели, гири в своих гнездах, синел ковер для самбо.

В противоположном конце находилась оружейная комната, защищенная решеткой до потолка. У каждого отделения был здесь свой шкаф, где хранилось оружие.

Всюду была удивительная, прямо-таки стерильная чистота.

Копылов, по-прежнему сопровождаемый дежурным, прошел в бытовую комнату, слегка напоминавшую артистическую уборную: вдоль стен крепились сплошные столы, а перед ними на стенах зеркала. У каждого розетка для бритвы.

В сушилке виселись установки для сапог и одежды, рядом специальные аппараты для растяжки головных уборов, какие не найдешь и в шляпной мастерской...

Командир роты проследовал в Ленинскую комнату. Здесь на-

ходились степды, рассказывающие об истории части, о Советской Армии, плакаты, фотомонтажи. В углу стоял аккуратно прикрытый телевизор, на столе — подшивки газет и журналов.

Особенно тщательному осмотру подверглись туалетные компаты — курилка, сверкавшие кафелем умывальники, помещение для мытья ног...

Нигде ни к чему не придерешься.

Осмотр закончился там, где начался: у столика дежурного по роте. На столике телефон, на стене инструкции, барабан, горн. Горн висел криво, и командир роты сделал наконец замечание. Единственное за все время.

В дверях канцелярии Копылов столкнулся с торопливо выходившим Якубовским.

— Начальник политотдела меня вызывает, — бросил замполит на ходу.

Через несколько минут он входил в кабинет Николаева.

Николаев некоторое время молчал, устремив на Якубовского внимательный взгляд. Потом протянул ему лежавший на столе конверт:

— Прочти.

Якубовский неторопливо взял конверт, вынул письмо и углубился в чтение. Письмо было длинным — восемь страничек мелкого женского почерка.

Пока он читал, полковник Николаев занимался своими делами, отвечал на звонки, куда-то выходил. Кончив читать, Якубовский аккуратно сложил письмо, спрятал его в конверт и положил на стол.

— Жаль, товарищ гвардии полковник.

— Что значит жаль? Как он вообще-то, Ручьев?

— Видите ли, товарищ гвардии полковник, вполне вероятно, что все, что здесь пишет его мать, — правда. Только это бывший Ручьев. Кое в чем и нынешний. Но никак не завтрашний. Он очень изменился. Имеет хорошие и отличные оценки. Помогает товарищам по английскому языку, стал активно участвовать в общественной жизни роты. Один был недостаток — отказчик. Теперь все в порядке. Совершил два прыжка. Мечтает парашютным спортом заняться.

— Да-а, — задумчиво протянул Николаев и покачал массивной головой, — а мать пишет, что дипломатом мечтает стать.

— Что ж, — Якубовский усмехнулся, — мечты у людей меняются... Не удивлюсь, если Ручьев подаст когда-нибудь рапорт в училище.

— А мать вот просит «не чинить препятствий», когда придет запрос на него. Поскольку лишь в Москве «имеются все условия для расцвета его незаурядного дарования». Как поступим? — Начальник политотдела помолчал. — Поступим так, — сказал он, — ответ напишет Ручьев. Поговори с ним, нужно — пришли ко мне. Скажи: как сам захочет, так и будет. Лучшей проверки для него и не придумаешь.

На следующий день в тот же кабинет входил гвардии рядовой Ручьев.

Этому предшествовал долгий и бурный разговор с замполитом.

Старший лейтенант вызвал к себе Ручьева вечером и, оставшись с ним наедине, пригласил сесть.

— Так вот, — сказал он, — буду говорить с тобой прямо, без предисловий. Твоя мать прислала командиру дивизии (а он передал начальнику политотдела) письмо, в котором сообщает, что на тебя придет запрос о переводе в Москву. Она просит «по чинить препятствий...».

— Да что она!.. — Ручьев вскочил.

— Сядь! Сядь, говорю! — Якубовский указал на стул. — Дай досказать. В ее письме много справедливых слов: парень ты способный, знающий, умный, вероятно, и служа в армии, ты сможешь в Москве готовиться к своей будущей профессии. На сколько я знаю, ты мечтаешь окончить Институт международных отношений, посвятить себя дипломатической работе.

— Я к генералу пойду, я министру напишу!..

— Да погоди ты. Не суетись. Начальник политотдела меня вызывал, сказал, если нужно, он тебя примет. Хочешь идти к нему?

— Хочу!

— Ну что ж, он тебя вызовет. Что ты ему скажешь?

— Скажу, что я нигде не поеду! Мама и мне письмо прислала. Я ей уже ответил, что не хочу...

— Значит, твердо решил остаться?

— Конечно! Товарищ гвардии старший лейтенант, вы сами подумайте, — Ручьев, забывшись, вскочил и замахал руками, — как это так? Мне Таня... мне Кравченко сказала, что я прирожденный парашютист. Вы не смейтесь! Вы увидите...

— Ну ладно, Ручьев, мне все ясно. Можешь идти. Изложи свою точку зрения начальнику политотдела, — закончил беседу Якубовский.

И вот теперь Ручьев предстал перед полковником Николаевым. Он отнюдь не робел. Наоборот, пребывал в самом воинст-

венном настроении. Поэтому после первых же вопросов полковника оп. сам того не замечая, набросился на него:

— Ну как же так, товарищ гвардии полковник, я ведь прыгнул. И как еще! Вы спросите у старшего лейтенанта Якубовского! Я вообще хочу парашютистом стать!

Пряча улыбку, полковник Николаев пытался возражать.

— Ты ж хотел дипломатом...

Но Ручьев с жаром перебивал:

— Ну его к черту, простите, товарищ гвардии полковник, ну его к богу в рай этого дипломата. Я прирожденный парашютист (видимо, эта мысль крепко засела в Ручьеве, и он все время возвращался к ней). У меня все показатели отличные, ну, почти все. Взысканий нет. Вы не должны меня отдавать! Я же написал ей, что не хочу. Так нет! Вечно она суется со своим непрошеным...

— Ручьев, Ручьев, — строго перебил полковник, — не забывайте, что говорите о своей матери!

— Извините, товарищ гвардии полковник, а что она...

— Ну ладно. Все ясно, хочешь остаться и стать парашютистом. Напиши ей спокойное и хорошее, слышишь, хорошее письмо, все объясни. Расскажи о нашем разговоре. Я тоже отвечу: пусть, мол, ваш сын сам решает, чего он хочет. Посоветую твоей матушке не мешать твоему выбору. Скажу, что меньше чем через полтора года вернешься, и тогда...

— Как полтора года? — растерянно спросил Ручьев.

— Ну, кончится служба...

— А может, я в училище пойду? Меня не могут не принять — я прирожденный парашютист! Они обязаны...

— Послушай, Ручьев. — Николаев положил ему руки на плечи. — Запомни, они не обязаны. Обязан только ты сам! Ты обязан отлично служить, отлично учиться, отлично работать, а если придется — отлично защищать Родину. И я тоже. И командир дивизии. И командующий. И любой солдат, и любой маршал. Все мы. Все советские люди всем, абсолютно всем обязаны Родине. Уже за одно то, что она вырастила нас, назвала сыновьями. За одно то, что она у нас есть. Ясно?

— Ясно, — тихо ответил Ручьев.

— Ну вот, теперь иди, служи. Не хочешь уезжать — не уедеешь. Надумал подавать рапорт в училище — подавай. Если достоин — примут.

В первое же увольнение Ручьев помчался на почту и попытался отправить домой телеграмму следующего содержания: «Если не отменишь вызов покойчу собой». Телеграфистка отка-

залась принять такой текст. Вышел начальник отделения. Чуть не разразился скандал. Начальник заявил, что примет телеграмму, если она будет заверена командиром части. «Или командиром медсанбата», — добавил он, подумав.

В конце концов телеграмма в более мягком тоне была отправлена.

А на следующий день пришла срочная в пятьдесят слов — мама сообщала, что все отменено, чтоб он только не переживал и не волновался.

Ручьев немного успокоился. Через два дня со сборов возвращалась Таня, и настроение у него было отличное.

В тот вечер, засыпая, он мысленно видел себя офицером-десантиком, рекордсменом и чемпионом. И Таня...

Но в этот момент появилась мама и громким мужским голосом стала кричать на него. Все громче, все настойчивей. Наконец он стал разбирать слова: «Тревога! — кричал голос. — Тревога, рота, подъем!»

Еще не сбросив остатки сна, Ручьев вскочил, быстро стал одеваться. Движения его были точными, почти автоматически. Такое дается постоянной тренировкой. Голова занята другим, а руки делают свое дело.

Когда хорошо обученное подразделение выходит по тревоге — это примечательное зрелище. Никакой суеты, никакого шума, редкие, негромкие фразы. У пирамид с оружием, у выходов, у вешалок с шинелями никто не толкнется. Как пожарные на выезде. Все продумано, рассчитано, заучено.

К молниеносной готовности по тревоге лейтенант Грачев приучал свой взвод особенно тщательно.

— Учтите, гвардейцы, — сказал он еще в самом начале, — в нашем деле порой несколько секунд берегают людям жизнь. Я приведу пример военных лет — подполковник Сергеев рассказывал. Неожиданно враг, ночью просочившись через линию фронта, атаковал расположение нашего подразделения, охранявшего мост. С момента, когда часовые открыли огонь, и до момента, когда, смяв их, противник окружил бараки, прошло буквально считанные секунды. В бараки полетели гранаты — все было взорвано и сожжено. Но люди успели привести себя в готовность и выскочить раньше. Они залегли поблизости, открыли огонь и в конечном итоге ликвидировали нападение. Мост не пострадал. Достаточно им было задержаться на пятнадцать—двадцать секунд, и бараки стали бы для них могилой. Так что учтите. Гонять буду немилосердно, пока не достигнете в этом деле совершенства.

И гонял.

Особенно тяжело доставалось Ручьеву. Поначалу он вскакивал ошалевший, растерянный, за все хватался, бестолково метался, пока находил свое место.

А однажды после учебной тревоги не выдержал и сказал:

— Товарищ гвардии лейтенант, пельзя за такое время встать, одеться, взять оружие... Физически невозможно.

— Физически? — ядовито переспросил Грачев. — Это кто же, рядовой Ручьев, такие физические законы установил? Не вы ли? А ну-ка, Ньютон, шагом марш в сторону и смотрите. Держите секундомер. Держите, держите! Скомандуете «Подъем», нажмете кнопку.

Грачев подошел к койке Ручьева, неторопливо разделся, аккуратно сложил одежду и залез под одеяло. Он даже захрапел для большей наглядности. Взвод молча столпился вокруг. Потом, не прекращая храпеть, Грачев открыл один глаз и крикнул: «Ну!» Ручьев заорал: «Подъем!» — и пустил секундомер. То, что произошло затем, напоминало эпизод из фильма, снятого ускоренной съемкой.

Лейтенант Грачев вскочил и оделся с такой фантастической быстротой, что никто не успел опомниться, а он уже стоял руки по швам на том самом месте, где обычно должен был стоять гвардии рядовой Ручьев. Тот, раскрыв рот, наблюдал за своим командиром взвода, забыв остановить секундомер. Да этого и не требовалось — урок был слишком наглядным.

— Ой! — первым прореагировал Дойников. — Человек-невидимка! Был тут — стал там.

Остальные восторженно шумели.

— Вот так, гвардейцы, — заключил Грачев. — Будете вставать у меня еще быстрее. Ясно?

Это было вначале. Теперь же Ручьев, которого после того случая заело самолюбие и который иногда трепировался самостоятельно, путая своим неожиданным подъемом и торопливым одеванием соседей, почти достиг совершенства. Только Шукин умудрялся быть впереди. Он, казалось, сжал одетый, настолько быстро возникал в строю после сигнала.

Так было и на этот раз.

И вот уже рота стоит перед казармой. Офицеры заканчивают проверку. Негромкая команда: «Равняйся, смирно, на-пра-во! Бегом марш!»

Через десять минут тупорылые машины выезжают за ворота городка...

До сих пор все привычно.

Более редко бывает то, что происходит дальше.

Десантников привозят на аэродром.

На взлетной полосе самолеты. Огней не нужно. Спокойный ледяной лунный свет заливает все кругом, а от спешных полей становится еще светлей.

Каждый давно знает свое место.

Приготовления к посадке недолги — теперь десантники в белых маскахалатах, на них парашюты, ранцы, оружие. Чего только нет в этих ранцах!

Черные сухари и концентраты. Котелки и ложки, спички и фонари, взрывпакеты и индивидуальные саннакеты, пилки, веревки... И еще у солдат фляги, лопатки, десантные ножи, пистолеты, автоматы. И еще радиостанции, пулеметы, ракеты, мины, приборы для радиационной и химической разведки.

Словом, невероятно много, неправдоподобно много унесит с собой десантник, десятки килограммов падеплены, приторочены, уложены, прикреплены.

Все вещи не случайны. Годы проверок и учений, длительные исследования многих специалистов были потрачены на то, чтоб установить величину и вес лопатки, форму и тяжесть ножа, калорийность и количество продуктов. На то, как их уложить и как прикрепить.

Ничего из строго необходимого десантник не оставит на земле, ни одной лишней плитки не возьмет с собой в воздух.

Солдаты давно знают об этом. И не ворчат на тяжелый груз. Но одно дело знать, другое — испытать. Самому убедиться. Для того, между прочим, и проводятся подобные учения.

Это сейчас они, толстые и неуклюжие, сидят, тесно прижавшись друг к другу, на узких скамейках. Эдакие ватные мапекеры, похожие в своих белых халатах на дедов-морозов без бороды и усов.

А на земле они окажутся другими. Распрямятся, как стальные пружины. Будет отброшено все лишнее, мгновенно разобраны и надеты мышки. И люди станут быстрыми, ловкими, опасными, как черти, всеильными, как боги, неотразимыми, как нож в спину врага...

Это на земле.

Теперь же, убаюканные полетом, они неподвижно сидят. Есть что-то трогательное в их сложенных на грудь или на плечо соседа головах.

Куклы. Грозные куклы. Начиненные мощным зарядом. Словно дремлющие в люках до поры до времени безобидно-пузатые бомбы.

Разговаривают только командир роты старший лейтенант Копылов и командир первого взвода лейтенант Грачев. Грачев зимой, разумеется, расцветал. Он пользовался любой возможностью вывести свой взвод на лыжах, устраивать гошки, походы, эстафеты... Поэтому его солдаты, все без исключения, имели разряды по лыжному спорту, причем многие второй и даже первый. «Что это за десантник, для которого лыжи в новинку! Лыжи для десантников должны быть как вторые ноги». «Как для хромого костыли», — развивал эту мысль Дойников.

Офицеры сидели в гермокабине и тихо разговаривали. Здесь было довольно тепло, стеганные зеленые скамейки-лежаки и свет лампочки над откидным столиком создавали уют.

Забавно выглядело огромное запасное самолетное колесо, словно можно было остановиться в воздухе и сместить лопнувшую шину...

— Значит, так, — говорил Копылов, наклоняясь над картой, — повторим основное еще раз. Нас сбрасывают здесь, — красным остро очиненным карандашом он указал на зеленое пятно, — вот в этот квадрат. Задача — пройти лесом, минуя населенные пункты и дороги, до станции Буровая, провести наблюдение за следующими через нее грузами. Проверить по характеру грузов, действительно ли идущая на северо-запад ветка ведет на полевой аэродром. Осуществить на нем диверсию. После этого вернуться другим маршрутом к исходному пункту. Я следую со вторым и третьим взводами. Вы и майор Орлов из штаба дивизии (он ждет нас в районе выброски и связан с посредниками при «атакуемом объекте») пойдете вместе со мной. Потом будете все время со своим взводом. Главное, лейтенант, ни во что не вмешивайтесь, ничего не подсказывайте. Пусть ребята действуют сами. Это их первое настоящее задание. Присмотритесь к Сосновскому, думаю, из него получится неплохой замкомвзвода.

— Есть.

— Да, еще понаблюдайте за Ручьевым.

— Есть. Товарищ гвардии старший лейтенант, по-моему, он последнее время в полном порядке, я вам докладывал. Прыжок его явно вдохновил. Старается.

— Знаю, знаю, по все равно. Выход — это такое дело, когда молодого солдата как на ладони видно.

Копылов продолжал изучать задачу. Разговор прервал бортмеханик, появившийся из кабины летчиков. Похлопав указательным пальцем по своим наручным часам, он выразительно дважды махнул в их сторону растопыренной пятерней.

Копылов кивнул головой.

Оставалось десять минут. Лейтенант Грачев вышел к десантникам, бортмеханик вернулся в кабину, Копылов остался один.

Он сидел, нахмутив лоб, вглядываясь в иллюминатор. Полет длился уже три часа. Рассвело. Молочная белизна облаков закрывала зимнее солнце, но белые поля и леса светились под крылом самолета, хорошо просматривались поселки, темные ленты шоссе, тонкие лесенки железной дороги, жучки-машины, ползущие по дорогам.

Уж какой раз Копылов отправлялся на подобный «выход» — сложное, многодневное учение, проводившееся один раз зимой, один раз летом и имевшее целью всесторонне проверить боевую и физическую подготовку солдат. И, мысленно добавил Копылов, морально-волевою. Для молодых солдат в первую очередь морально-волевою.

Он вспомнил такой выход, когда был еще в училище, курсантом. И дубовой, когда стал офицером. И представлял себя на месте своих солдат. Вот сидят они сейчас там, в холодном чреве самолета, — кто дремлет, кто волнуется, кто, устав от долгого полета, задумался о чем-нибудь своем.

Они, разумеется, слышали от «старичков» об учениях.

Как закаляется сталь? Огнем.

А человеческая воля? Наверное, тоже огнем.

Огонь бывает разный. Не всегда это огонь выстрелов, взрывов, пожаров.

Иногда внутренний, неистребимо и жгуче горит он в сердцах.

Он может быть сначала совсем маленьким. Совсем слабым, подобно спичечной вспышке. Но разгорается все сильнее и сильнее. И вот уже мощно поыхает. И польза его погасить.

Только вместе с жизнью.

Костер тем ярче, чем больше заваливают его сучьями.

Чем больше испытаний выпадает на долю сильного, тем закаленней становится он. Ну, а если слабый... Что ж, слабый огонек костра можно тоже засыпать, навалив на него слишком много.

Конечно, учения не война.

Но и на них закаляются, мужают, зреют солдаты. Чем ближе учение к боевой обстановке, тем скорее солдат превращается в воина.

...Из кабины летчиков торопливо вышел бортмеханик и кивнул Копылову.

Копылов застегнул шлем, уложил в планшет карту, направился к месту выпускающего.

Створки люка быстро открылись. В самолет ворвался шум моторов, ледяной ветер.

Десантники вставали, переминались, поворачивались в затылок друг другу.

Взоры всех были устремлены на три сигнальные лампы, похожие на огромные цветные кнопки.

Зажглась желтая. Выпускающий, лейтенант Грачев, приоткрыл левую дверцу.

Зажглась зеленая лампа, а сирена заревела часто и настойчиво.

Один за другим, со сказочной быстротой, парашютисты посыпались в люк. Последним в потоке, так, чтобы на земле оказаться в середине подразделения, прыгнул Копылов.

В то же мгновение выпускающий открыл правую дверцу, и вприпрыжку десантники второго потока. Наконец прыгнул лейтенант Грачев.

...Белое небо, белые облака, белый снег, белые маскхалаты.

Так и приземлились десантники, почти не различимые на близкого расстояния.

Прошли минуты с тех пор, как они покинули самолет, и вот уже, сбросив подвесные системы, надев лыжи, они стоят, готовые к выполнению задания.

Цепочкой, в затылок друг другу, ритмично взмахивая палками, лыжники мчат по широкой поляне, где приземлился десант, и исчезают в гуще заснеженного ельника...

Взвод двигался бесшумно и быстро, хоть идти было нелегко. Приходилось лавировать между молодых елок, стоявших на пути белыми упрямыми пирамидками, перелезть через упавшие стволы, кое-где просто продираться сквозь податливую, колючую степу.

Шли по целине, проваливаясь. Шли час, два, три. Впереди дозор, позади майор Орлов и лейтенант Грачев.

Наконец остановились на привал.

Кипятили чай, открывали консервы, закуривали.

Стучилось так, что Хворост и Ручьев оказались связанными. Быстро и бесшумно двигались они по снежной целине. Несмотря на свою силу, Ручьев чувствовал усталость. Сначала возбуждение, повизна, любопытство заглушали все. Но долгий, однообразный марш, окружающая близна словно укачали его, идти становилось все трудней, двигать руками все тяжелее.

— Стоп! — неожиданно сказал Хворост и воткнул палки в снег.

— Что такое? — насторожился Ручьев, взглядываясь в окружающий лес.

— Ничего, — Хворост начал стягивать варежки, — перекур. Ты не устал?

— Устал.

— Меня ноги не держат. Нет, я ничего не говорю — учение вещь нужная. Но надо и меру знать...

— Тяжело в ученье — легко в бою, — усмехнулся Ручьев.

— Ерунда! Ты читал о возможностях человека? Какой-нибудь доходяга, который в обычное время еле ложку ко рту поднимает, в исключительных обстоятельствах может поднять паровоз!

— Уж паровоз!

— Ну не паровоз, это так — гиперболы, а сто килограммов. В состоянии ярости, страха, отчаяния...

— Ну что ты мне эти прописные истины читаешь, — Ручьев махнул рукой. — Это же общезвестно. При чем тут учения?

— А при том... — Хворост наконец стащил с рук варежки и надел их на палки, — при том, что на учениях я, может, и никак себя не проявлю, а в бою уничтожу целый взвод противника!

— Батальон!

— А может, и батальон. Так что мне дадут твои учения? Да ничего не дадут. Ты мне подавай настоящий бой, уж там я покажу...

— Зад покажешь, удирая, — презрительно фыркнул Ручьев. — Как ты будешь воевать, если заранее не научишься?

— Я учусь! Я учусь. Что, я плохо стреляю или с парашютом боюсь прыгать? С первого раза, между прочим, прыгнул, не в пример некоторым. О другом речь. Прыгать умю, так зачем на учении в воду сигать? Придется в бою, не беспокойся, сумею. То же и лыжи — хожу ведь неплохо. На десятке из пятидесяти минут вылезаю. Так зачем переть сто километров? Придется, в бою и тысячу пройду! Эх, пропустить бы сейчас сто граммов, — мечтательно вздохнул он.

Ручьев с изумлением посмотрел на него.

— Опять! Только и думаешь об этом. На учениях, а ты все сто граммов забыть не можешь. Пьяница!

— «Пьяница»! — передразнил Хворост. — Где ты слов таких нахватался? С кем говоришь? С товарищем, с однополчанином говоришь!

— Однополчанин! — возмутился Ручьев. — Уж ты-то в критической обстановке тысячу километров пройдешь! Как же!

— Мороз ведь, — объяснял Хворост, — во время войны законные сто граммов выдавали. Начальство. Сейчас мир, с начальства не требую, но сам-то мог бы себе законные отпустить? И потом, я ж только говорю... абстрактно.

— Абстрактно, — проворчал Ручьев. — Пошли. И так десять минут потеряли.

Они продолжали путь.

Неожиданно лес оборвался.

Ручьев сверился с картой. На этом месте значился лес, но леса не было. Посмотрел на компас — все вроде в порядке. Разгадка пришла, когда под глубоким сугробом паткнулись на первый пенек. Порубка.

Видимо, здесь последнее время рубили лес, и на карте это не значилось.

Пройдя сотню метров, вышли на дорогу. По ней скорей всего возили лес: виднелись следы тракторных гусениц. Посередине шла гладко укатанная полоса, по которой лыжи хорошо скользили.

— Порядок! — обрадовался Хворост. — Теперь лыжи сами войдут.

— А ну стой! — Ручьев начинал сердиться по-настоящему. — Стой, слышишь? Никаких дорог! Забыл? «Избегать дорог и населенных пунктов».

— А я избегаю! — веселился Хворост, продолжая удирать от мчавшегося за ним Ручьева. — Чем быстрее я эту дорожку пройду, тем быстрее от нее избавлюсь.

Наконец Ручьев догнал своего напарника и схватил за плечо.

— Да ты что? А ну сворачивай с дороги. Сворачивай, говорят тебе!

Но было поздно. Навстречу, грохоча, показался трактор. Он был еще далеко, но в чистом поле негде было укрыться.

— За мной, быстро! — скомандовал Ручьев и понесся к лесу.

Хворост бежал за ним. Углубившись в ельник, они остановились. Трактор медленно проплыл своим путем, таща на цепях три толстых бревна.

— Ни черта... не заметили... — Хворост прерывисто дышал, но его лицу стекал пот. Наклонившись, он подобрал горсть снега и закинул в рот.

Ручьев, даже не посмотрев на него, двинулся дальше. Хворост еле поспевал за ним.

Добравшись до цели и передав командиру роты донесение, Ручьев уже собирался отойти, когда майор Орлов, до того стоявший рядом не вмешиваясь, внезапно задал вопрос:

— В пути следования никто вас не обнаружил? Никаких неожиданных встреч не было?

«Сказать про трактор? Придется сказать о Хворосте. А сказать о Хворосте, значит, подвести его. К тому же пятно ложится на весь взвод», — лихорадочно размышлял Ручьев.

— Никак нет, не было, — ответил он.

От майора не укрылась запоздалость ответа. Но Ручьев этого не заметил.

А тем временем Хворост, подойдя к Копылову, доложил:

— Товарищ гвардии старший лейтенант, тут трактор-лесо-воз ходит. Трактор движется с интервалом в сорок минут. Следующее появление ожидается минут через двадцать!

— Ясно, — сказал Копылов. — Как раз есть время пересечь поляну. Слушай мою команду!.. Отставить! — быстро крикнул он, увидев трактор, появившийся из леса. Повернувшись к Хворосту, Копылов молча смотрел на него.

Лицо Хвороста выражало крайнее удивление. Некоторое время он напряженно всматривался в трактор, потом уверенно доложил:

— Товарищ гвардии старший лейтенант, это другой трактор. Точно. Наверное, теперь будут два работать. А был один. Этот поновей.

Ручьев только диву давался, с какой спокойной уверенностью врет Хворост: он-то сразу узнал трактор, который так неудачно встретился им на пути.

Когда машина протарахтела мимо, Копылов подал команду. Десантники быстро пересекли вырубку. Колонну замыкал Щукин, он тянул за собой широкую связку лапника, заметая следы лыж.

Солдаты двинулись дальше, не заметив, что майор Орлов и лейтенант Грачев остались на дороге и заскользили в ту сторону, куда скрылся трактор.

Им потребовалось лишь несколько минут, чтобы догнать его.

— Здорово, ребята! — крикнул майор трактористам, двигаясь рядом.

— Привет! — откликнулись они.

— Не видели наших солдат? Лыжники в масках-алатах...

— Встретились тут двое на дороге, — охотно отвечал тракторист. — Навстречу шли. Да потом как в лес дали, что косые улепетывали. Небось трактора нашего испугались — за танк

приняли! — Трактористы орали во все горло, стараясь перекрычать грохот машины, и весело хохотали.

— Спасибо, ребята! — кричал в ответ Орлов. — Счастливого пути! — Он помахал им лыжной палкой и отстал.

Оставшись наедине с Грачевым, майор повернулся к нему.

— Что и требовалось доказать, — усмехнулся он. — соврали ребятки. И их трактористы видели, и они их. А доложить побоялись. Так что, уважаемый лейтенант, запишем вашему заводу минус.

Грачев хмуро молчал.

Повернув лыжи, они побежали догонять взвод.

Опустился вечер. Синие тени заскользили между деревьями, залиловели, зачернели глухие чащобы. Деревья стали сливаться в сплошную темную стену.

Надо было становиться на почлег. Отрыли землянки, разожгли охотничьи, не видные издали костры, выставили охранение. Когда стало светло, двинулись в дальнейший путь. Лица солдат осунулись, под глазами залегли тени. Усталость, скудное питание, нехватка сна давали себя знать.

В район станции Буровая вышли к вечеру. Устроились основательно: землянки обложили бревнами, настелили лапник, соорудили печки. Никто не знал, сколько времени займет разведка Буровой.

Майор Орлов записал взводу плюс — десантники действовали уверенно, спокойно и толково.

Грачев довольно улыбался. Орлов удовлетворенно посмеивался в усы. Он уже установил связь с посредниками, находившимися в Буровой, и ждал дальнейших событий.

Через несколько дней обстановка стала проясняться. Первые наблюдения принес Дойшиков.

— Товарищ гвардии ефрейтор, — доложил он Сосновскому, — сегодня через станцию проследовала дрезина, свернула на ветку, на дрезине офицеры-летчики. Четверо. Капитан и трое лейтенантов.

— Каждую ночь на станцию подаются несколько пистерн. Дважды были платформы с грузом, накрытым брезентом, — сообщил Щукин.

— Что за груз? — спросил Сосновский.

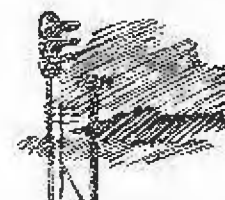
— Визуальным наблюдением, — важно ответил Щукин. — установить характер грузов не удалось.

— Необходимо установить, — озабоченно сказал Сосновский. — Если подойдут ночью, скрытно приблизиться и установить.

— Платформы охраняются, — заметил Щукин. — Может, снять охрану?

— Ни в коем случае! Обнаруживать себя нельзя. Сумейте подползти, подлезть под брезент. Словом, вам видней.

В эту ночь в разведку вышли Щукин, Ручьев и Хворост.



## Глава XVII

Мы ползем.

Зимой ночью иной раз светлей, чем днем. Вот сейчас такая ночь! Луна светит всюду. Крутом белым-бело, и хотя мы в белых масках-халатах, мне все время кажется, что нас видно.

Настроение плохое, а этого подонка Хвороста, который стоит тут рядом, я готов убить.

Вчера лейтенант Грачев отвел меня в сторону и говорит:

— Что ж вы, Ручьев, а я-то на вас рассчитывал...

— А что такое? — всполошился я.

— Были связными, доложили, что вас никто не видел. Так?

— Так, — говорю, а у самого унчи пачинают гореть — ясно уже, в чем дело.

— Ведь неправду доложили. Видели вас.

— Товарищ гвардии лейтенант... — бормочу.

— Да нет, Ручьев, я ведь формально «отсутствую». Ваш же ефрейтор Сосновский ничего не знает. Так что разговор у нас неофициальный, так сказать, дружеский. Просто обидно, что хороший солдат и вдруг такое. Честно говорю, не ожидал. Вы поймите, в боевых условиях к чему это может привести? К уничтожению всей группы, ни больше ни меньше. Свою репутацию спасешь, а товарищей, весь взвод, да и себя заодно, погубите. И учтите, — добавил, — сейчас этого разговора не было.

Махнул рукой и отошел.

Я прямо сквозь землю готов провалиться! Обманул я его доверие. Он-то положился на меня, а я...

И такая злость взяла меня на Хвороста — все из-за этого разгильдяя несчастного!

Подошел к нему, смотрю — убить готов. Улыбается! Толкнул его в снег так, что он на три метра отлетел. «Сволочь!» — говорю. Смотрит на меня, глаза вытаращил, ничего не пони-

мает. «Ты что? Ты что, — бормочет, — с ума сошел? Что нимаешься?»

Ушел. Ей-богу, задушить его мало!

И урок для себя извлек: хочешь товарища выручить — выручай, только не за счет других.

Ползем.

До станции шли недолго. Спрятали лыжи. Подкралась, залезли, наблюдаем. Три вагона стоят на ветке. Закрывают брезентом. Четверо часовых, с каждой стороны по одному. И видно, ребята бдительные, на ходу не спят, посматривают по сторонам. Горят фонари, луна — светло, как днем. Не подойти.

В стороне два офицера с повязками покуривают — посредники.

Лежали час, два. Смена караула. Разводящий подходит, с ним четверо новых. Вот тут-то обнаружился шанс. Разводящий обходит платформы, одного за другим меняет часовых. Но тот, что стоит с обратной стороны, приближается к торцу, чтоб поскорее все закончилось, и ждет. Его смещают тут же, в двух шагах от торцевого. И новый сразу же идет туда, за вагоны.

Однако секунд двадцать та сторона, к тому же обращенная к лесу, не охраняется. Весь вопрос в том, случайно ли это или у них каждый раз так.

Щукин принимает решение. Обогнем по большой дуге объект, подползем как можно ближе к вагонам, дождемся смены. Если опять повторится та же картина, Щукин проскользнет к вагонам, потом под брезент. Выяснит, что к чему, и во время следующей смены часовых вернется обратно. Предусматриваем всякие запасные варианты.

Осуществляем наш план. Совершаем обход лесом.

Ползем. Ползем к дороге. Приближаемся как можно ближе. До вагонов метров десять. Лежим, ждем. До смены четверть часа.

Наконец слышим, маршируют.

Тихие слова, пауза, команда, опять шаги, опять команда...

Часовой с нашей стороны уходит к торцу и исчезает за вагоном.

В то же мгновение Щукин как кошка бросается вперед и... падает. Он за что-то зацепился ногой, стонет, корчится, хватается за ногу. Часовые ничего не заметили. А посредники углядели — перестали курить, что-то в блокноты записывают.

Как быть?

Прошло уже пять секунд. Тогда вперед бросаюсь я. В три

прыжка долетаю до платформы. Еще на бегу определяю, где можно подлезть под брезент, ныряю туда. Замираю.

Только в этот момент понимаю, что я сделал. Вернее, логически обосновываю свои действия. (А? Хорошо звучит!) Потому что все предшествующее, занявшее десять секунд, происходило как бы вне сознания, стихийно.

Теперь я лежу в напряжении, потому что моему телу здесь, под брезентом, отведено место, достаточное разве что для одного моего носа. Слышу, новый часовой неторопливо проходит мимо меня, возвращается, снова проходит. Долетают тихие голоса: часовой заговорил с другим. Пользуюсь этим, чтобы переместиться. Со скоростью улитки проползаю метр и — о радость! — нащупываю углубление. Втягиваюсь в него, всасываюсь, ввинчиваюсь.

Теперь я даже могу сесть. Осматриваюсь, вернее, ощупываю все кругом, потому что тьма кромешная. Все ясно: это зачасти для самолетов. Итак, данные разведки подтверждают (я уже вижу себя докладывающим!): ветка ведет к полевому аэродрому. Остается «пустяк» — выбраться и доложить (наяву, а не в мыслях). Но надо ждать целых два часа.

Замираю. И замерзаю. Смотрю каждую минуту на светящиеся стрелки часов. Проходит час, два, месяц, год, столетие... Стрелки показывают, что пролетело семь минут. Начинаю дремать, встряхиваю себя. Таращу в темноту глаза. Прислушиваюсь к шагам часового. Снова ощупываю все вокруг и осматриваю — глаза, привыкшие к темноте, кое-что различают в слабом свете станционных фонарей. Снова смотрю на часы: с космической скоростью пролетело еще четыре минуты.

И вдруг шум, голоса, топот ног...

Сердце останавливается. Неужели меня обнаружили? Или ребят? Может, у Щукаря с погой что-нибудь серьезное? А может, Хворост дурака валиет!

Время идет, шум не утихает. Слышен паровозный свисток, ближе, еще ближе...

Толчок. Сомнений быть не может, прицепили паровоз!

Свисток, какие-то крики, команды.

Тишина...

Толчок. Платформы трогаются.

Я мгновенно принимаю решение. Как только поезд проедет два десятка метров, выпрыгну.

В этот момент слышу, как кто-то вскакивает на платформу в метре от меня. Часовой! Интересно, а посредник поедет с эшелоном? Нет, наверное.

Что делать? Поезд набирает скорость, колеса стучат на стыках. Ставится еще темней — стационарные фонари остались позади. Теперь мы мчимся лесной дорогой.

Первое, что делаю, замечаю время, — может быть, удастся засечь, сколько километров проехали. Ну и что? Как сообщить об этом своим? А если ветка протянулась на пятьдесят километров или на сто? Это я за неделю не пройду без лыж!

И вообще, в какой момент удастся выпрыгнуть? Ведь часовой буквально в шаге от меня. Может быть, когда остановимся перед въездом на аэродром? А если такой остановки не будет? Если платформы въедут в заранее распахнутые ворота, которые тут же и захлопнутся, схавав заодно и ловкого разведчика Ручьева? И предстану я пред восхищенным взором аэродромного начальства, как только будет сброшен брезент.

Нет, надо во что бы то ни стало выбраться раньше! Но как?

Постепенно начинаю ориентироваться. Вынимаю нож, просверливаю малепькую дырку в брезенте. Смотрю.

Поезд идет не очень быстро. Вдоль пути лес, в самой дороге выбежали залепленные, закутанные снегом кусты.

Часовой встал и медленно перемещается к концу вагона. Он в тулуне, уши шапки опущены. Наверное, ничего не слышит. Он исчезает где-то за брезентом.

Теперь я внимательно вглядываюсь в лес.

Весь как пружина. Наконец вижу то, что искал. В этом месте кусты выдвинулись особенно близко к полотну. Надо прыгнуть раньше — тогда они укроют меня от глаз часового, стоящего на площадке последнего вагона. Не медлю ни секунды, приподнимаю брезент и вываливаюсь...

Меня подхватывает ветер, потом снежный вихрь, сугроб. Как здорово, что столько снега и что он такой мягкий.

Какая замечательная штука снег!

Некоторое время лежу неподвижно, прислушиваюсь. Криков, выстрелов нет. Шум поезда постепенно затихает. Осторожно поднимаюсь, оглядываюсь. Встаю.

Ох! Ногу обожгло огнем. Видимо, не заметил в хаосе падения, как повредил ногу. Но что с ней — перелом, вывих, ушиб? Щупаю, двигаю пальцами. Наконец убеждаюсь: растяжение связок. Не смертельно, но дьявольски неприятно. И, прямо скажем, не вовремя. Сначала Щукин, теперь я. Напасть! Хромаю в лес, поглубже. Нахожу куст, срезаю палку и двигаюсь в обратный путь.

Пройдя пять шагов, убеждаюсь, что далеко не уйду. Долго ишу, наконец обнаруживаю подходящие сучья; срубаю топ-

риком два сука, обрабатываю их пожом и сооружаю нечто вроде костылей. Теперь передвигаться легче, прыжками. Мне даже кажется, что так быстрее.

Выхожу на железнодорожную колею. Кругом лес, мертвая тишина. Если поезд или дрезина, услышу задолго. По моим расчетам, мы отехали километров двадцать. Обязан добраться еще затемно.

Сжав зубы, пускаюсь в дорогу.

До чего же, наверное, странное зрелище: ночь, лес, в лунном свете по заброшенной железнодорожной ветке скачет на костылях одинокий солдат в маскхалате.

Да, это не дипломатический раут. И военная служба — дело суровое.

Первые полчаса иду бодро.

Постепенно становится все труднее. Глаза заливают пот, здоровая нога пемсет. Поврежденная — болит. Чувство такое, будто подмышки буравят огромные раскаленные штопоры...

Двадцать километров? А если я ошибся? Если тридцать?

Останавливаюсь передохнуть. Смотрю кругом. Сосны неподвижны — снеговые шапки придавили их. Ели застыли сплошной стеной.

Луна висит, большая, белая, и вокруг светлые небеса. Рельсы блестят и убегают вдаль. Как далеко? Сколько еще осталось? Снимаю шапку. Внутри она жаркая и мокрая. Варежкой вытираю потную шею. Расстегиваю ворот, ем снег. Сначала хорошо, потом хочется пить!

Некоторое время сижу на пшалах, даю отдых ногам, потом кряхтя поднимаюсь. Опираюсь на свои костыли и снова в путь. Здоровая нога отдохнула, а вот больная горит огнем...

Лишь бы добраться.

До рассвета я должен, я обязан добраться и доложить!

Смешно. Совершенно забываю, что это учения, игра, что я в любую минуту могу крикнуть часовым «противника»: «Эй, ребята, пу вас к черту, давайте обратно мои куклы. Мне не до того — нога болит».

Но никакие силы не заставят меня сейчас выйти из игры. Я реально ощущаю военную обстановку, нависшую надо мной угрозой, понимаю важность задания и, что бы ни было, выполняю его!

Снимаю шапку и привешиваю ее к пуговице. Все равно голова, мокрая от пота, горит. В глазах круги. По-моему, я дышу громче, чем паровоз, и за километр, наверное, слышно, как я дышу. Ха! Ха! Смешно? Мне не смешно. Я уже не прыгаю,

а скачу небось, как воробей на дорожке. А блестящие рельсы все так же уходят вдаль в холодном лунном свете, и конца им не видно.

И не видно конца моему пути...

Смотрю на светящиеся стрелки. Прошло полтора часа, как я иду. Теперь отдыхаю все чаще. Сначала старался думать о чем-нибудь, теперь мысли путаются. Словно их запрятали в большой черный мешок, они мечутся, тыкаясь в стенки, перемешиваются, и только где-то в середине горит негасимым, упрямым огоньком одно — надо дойти!

Пытаюсь шагать, а не прыгать, пытаюсь опираться лишь на одну костыль, пытаюсь даже ползти.

Болит все тело: и ноги, и подмышки, и руки, и голова. А конца пути не видно...

Конца не видно, но что-то видно. Или это уже начались галлюцинации? Мне кажется, что очень далеко впереди появились и исчезли какие-то тщи. Всматриваюсь до боли в глазах — ничего. А может, патруль? Или обходчик? Или волки? Интересно, здесь есть волки? Только этого не хватало.

Сжимаю зубы до скрипа. Закидываю глаза, снова открываю, смотрю. Ничего. Показалось.

Продолжаю путь.

И вдруг ясно вижу их! Они выскакивают на полотно из кустов и, спотыкаясь, бегут мне навстречу, машут руками. Сначала я остаиваюсь, падаю в сторону, срываю автомат...

Потом узнаю — это Щукарь и Хворост!

Тогда переворачиваюсь на спину и закрываю глаза.

Подбегают, тяжело дыша, поднимают, тормошат. Они разглядели меня раньше, у них инфракрасный бинокль.

Щукин снимает с меня валенок. Чтоб я не потерял сознание от боли, разрезает его ножом. Осматривает ногу.

— Ничего, — говорит, — порядок. Типичное растяжение связок. Сразу видно, что некогда самбо не занимался. Шляпа!

— А ты, — еле ворочаю языком, — сам споткнулся, шляпа!

— Что верно, то верно, — бормочет.

Оказывается, там, на разъезде, под снегом была какая-то железяка, об нее он ногу и полоснул. Больно, но не страшно. Через пять минут прошло.

Залегли. Стали меня ждать.

Когда платформы ушли, они сообразили, что при первой возможности я спрыгну и пойду обратно, и отправились мне навстречу.

Все это он мне рассказывает, а сам перевязывает ногу. Мо-

лодец Щукарь. Бурденко, да и только! Хворост находит другое сравнение.

— Эй ты, Айболит, давай быстрее! Времени всего ничего осталось.

Он уходит в лес, слышно, как стучит топорик, трещат сучья. Через полчаса трогаемся в обратный путь. Я — на носилках. Лежу, отдыхаю. Для приличия ворчу — мол, сам дойду, не надрывайтесь. Они даже не отвечают. Идут, дышат тяжело.

В лагерь добираемся перед рассветом.

Там уже беспокоились, высылали дублирующую группу.

Докладываем. Майор Орлов внимательно слушает, записывает в свой блокнотик. Видимо, доволен, потому что лейтенант Грачев сияет.

Увидев меня на носилках, он сначала встревожился, но, узнав, в чем дело, успокоился.

Теперь весь отряд движется параллельно ветке к обнаруженному аэродрому.

Меня, как маленького, везут на саночках. Только соски не хватает.

Двигаемся быстро. Сосновский прикинул, что до аэродрома километров тридцать. К вечеру доберемся, разведем и ночью «взорвем».

Лес просыпается. Восходит солнце, его лучи длинными, золотыми полосами дождатся между высокими, прямыми елями. Снег начинает сверкать, слепить. Я закрываю глаза. Мне тепло, спокойно. Дорога ровная, и я засыпаю...

Просыпаюсь, когда отряд добрался до места. Все заняты делом, суетятся, ужинают, готовятся к операции.

А я сижу в своих саночках под елочкой. Мне б еще зайчика, хлопунку... Идиотизм! Из-за этой дурацкой погои пропущу самое интересное! Почему с нами в поход не отправились санструктор — Кравченко, например? Тогда она была бы с «тяжелораненым» неотлучно. Здорово! Но Кравченко нет. А вскоре никого не остается, кроме приставленного ко мне вместо няньки Хвороста. Весь отряд уходит на операцию.

Мы с Хворостом молчим, напряженно вслушиваемся в ночные звуки. Вот сейчас шарахнет!

Но ничего не шарахает, часа через три раздаются несколько далеких тихих хлопков — зажигательные трубки — бикфордов шнур с детонатором. Действительно, не будут же они устраивать настоящие взрывы — учения все-таки. Но я просто забыл об этом...

А затем начинается кошмар. Воеет сирена, слышны выстре-

лы, в воздухе вспыхивают сигнальные ракеты. Ребята возвращаются потные, возбужденные, у некоторых маскхалаты порваны. Все спешат. Лагерь снимается, и на всех парах мы отступаем в лес. Остается небольшой тыловой дозор. Нас преследуют.

Продираемся через чащобы, минуем какие-то овраги, два раза я вываливаюсь из санок. Чувствую себя испуганным грузом, мне холодно. Вот ведь не повезло с погодой!

Выходим на шоссе. Справа в ста метрах — мост. Сосновский, молодчага, абсолютно спокоен — Кутузов при Бородине.

Мы переправляемся через мост. Казалось бы, переправились и валяй дальше. Ничего подобного! Сосновский приказывает заминировать мост. А? Каков!

Щукин, Дойников, другие ребята, нагруженные «взрывчаткой», исчезают за перилами. Через несколько минут от моста протягиваются провода. Трое залезают в ельничек у дороги с подрывной машинкой и инфракрасными биноклями. Приказ: как только «противник» вступит на мост, осуществить взрыв.

Конечно, взрыв моста не решит все вопросы — река-то замерзла. Но все же танки, бронетранспортеры по льду не пройдут, а для спешенного противника оставляем троих с пулеметом.

Проходим еще километров пять и останавливаемся на развилке. Теперь нам следует вернуться в часть, «мишуя линию фронта».

И вот после многодневного похода возвращаемся в часть. Пока тряслись на грузовиках, ребята рассказали, как «взрывали» аэродром.

Это было не так просто: кругом забор, колючая проволока, всюду часовые.

И все-таки Сосновский обнаружил какую-то бетонную трубу, через которую обычно вытекала вода. Зимой вода замерзла. Вот тут-то наши ребята и проявили сметку. Во льду, забившем трубу, они пропилили, прорубили лаз. Это заняло время, но они справились. Чтобы потоньше стать, спяли с собой все, что могли: маскхалаты, шинели, протаскивали «тол», «трапаты». Мороза никто и не заметил — не до того было.

А когда оказались на территории аэродрома, расползлись повсюду, как ужи. Где какой объект находился, они изучили заранее, наблюдали с деревьев в бинокли. Каждый точно знал, что «взрывает», какое ему отведено время, сколько потребуются взрывчатки. Ее заменяли деревянные шашки, совсем как толо-

вые; — мы их заранее еще в городке сделали. «Минировали» все, что можно, — самолеты, склад горючего, еще разные склады, машину полевой метеостанции, радары, прожекторные установки, электростанцию.

А с Дойниковым, как всегда, приключился казус. Просто удивительно, как к нему липнут разные забавные случаи. Он мне сам рассказывал. Его задача — «взорвать» горючее в автопарке. «Заминировал». Ползет обратно. И вдруг видит: стоит в сторонке зеленая повая «Волга», а у него шашка оставалась. Раз «Волга», решил, значит, большое начальство. Установил свою шашку, взрыватель патяжного действия. Тропется машина и «взорвется» вместе с начальством. И намалевал мемом на «Волге» крест. Это для посредников — раз крест на чем-нибудь, значит, удалось заминировать.

Не успел отползти — офицеры появились. Двое в шапках — значит, полковники. Подходят к машине, а он под ней — Дойников. Мотор начинает урчать. Сергей наш взмок — все пропамо — сейчас поедут, раздавят! Что делать? И все же успевает выкатиться из-под «Волги». Но, видно, один из офицеров его заметил. Вылез, накопился. А Дойников как вцепится в него. Скрутил приемом самбо и навалился. «Враг» ведь. Эх, думает, сейчас закричит — и все: тревога, провалил Дойников операцию. Одно утешение — какого-то большого начальника «уничтожит». А тот вдруг шепотом говорит: «Тише ты, черт! Не видишь повязку — посредник я. Пусти же!»

Дойников совсем растерялся. Встать боится — часовые заметят. Лежит, руку к голове прикладывает и тоже шепчет: «Винюват, товарищ полковник! Темно... не видно... Я тут машину заминировал... думал...»

А полковник и другие офицеры давятся от смеха. Рты себе зажимают. Потом полковник говорит:

— Молодец, гвардеец! Как фамилия? Дойников? Ну ладно, давай ползи, а то застрянешь...

Ну с кем еще такое может случиться?

Судя по всему, начальство осталось довольным. На разборе действия роты и, в частности, нашего взвода похвалил сам генерал.

— Молодцы, гвардейцы! Работали на совесть, — сказал.

Особенно хвалил Сосновского.

— Отличный будет офицер. Пойдешь в училище?

— Так точно, товарищ генерал! — Сосновский аж сияет, это с ним редко бывает. — Уже рапорт подал.

— Правильно, сынок, добрый командир будешь.

Это уж потом командир с нами беседовал. Окружили мы его. Он улыбается, доволен. Оказалось, другие взводы нашей роты тоже отличились.

Командир роты, замполит, офицеры, солдаты получили благодарность. Я тоже. Особую благодарность получил Дойников — не забыл его полковник тот. А я все боялся, что командир взвода мне историю с трактором вспомнит. Нет. То ли забыл, то ли посчитал, что искупил я эту вину тем, что груз развезал.

А Хворост ходит голым! Хоть бы что. Сначала я подумал — ладно уж, все-таки сколько километров с Щукарем меня тащили.

Потом решил: подумаешь, большое дело. А я как бы на его месте поступил? Да и любой другой! Так что он таки свинья. Факт!

Нога прошла.

Завтра в увольнение. Увижусь с Таней. Вечность прошла, как мы с ней виделись. По-настоящему. Потому что вообще-то мы виделись: я ходил в медсанбат ногу лечить, и там мы несколько раз поговорили. Но какие в медсанбате свидания!

Мама пишет, что отец ставит спектакль и требует ее постоянного присутствия. Так что пока она приехать не может, и чтобы я не огорчился. Я-то понимаю, в чем дело: это отец меня выручает, такой прием придумал. Молодчага!

Эл тоже разразилась дашинным посланием. Она ждет, она скучает, она вспоминает, она мечтает...

Надо отвечать. Леня.

Маме послал телеграмму: «Все хорошо, здоров, счастлив». Эл: «До встречи московскими небесами».

Владу написал:

Здорово, старик!

Солдат спит — служба идет. Привык. Больше того — увлекся. Тебе, наверное, не понять. Увидимся, объясню. Оказывается, в армии, во всяком случае в десантных войсках, романтики хоть отбавляй.

Не ошибусь, если скажу, что в «Метрополе» ее меньше. Когда попадаешь в армию, да еще после моей жизни, то сначала бело плохо. Тут, видишь ли, никто тебе кровать не стелит, нажки не моет, на стол не подает. Здесь все всё делают сами: драют полы, пришивают пуговицы, чистят ботинки. Здесь становишься поваром, столяром, портным, землекопом, грузчиком.

Кроме того, есть здесь такая штука — называется дисциплина. Ты об этом и понятия не имеешь. Представь: надо рано вставать, ходить строем, слушаться старших, жить по расписанию. Словом, для тебя как бы жить на Марсе.

С непривычки это трудновато. Заметь, не всем. Оказывается, есть такие, кто всю жизнь так живет. Трудновато таким, как мы с тобой. Потом привыкаешь, все проходит, и удивляешься, как это спал до полудня или не обтирался снегом по утрам.

И тогда начинаешь ощущать плюсы армейской жизни.

Например, прыжок с парашютом. Ничего, это я твердо тебе говорю, ничего на свете не может сравниться с тем, что испытываешь после того, как раскроется купол! Это даже описать невозможно! А походы, ночью, в лесу! А радость, когда валяешь все пули в мишень! А какие мы тут всякие интересные науки изучаем — мир новый открываем!

Ну, а мог бы ты, например, хоть мы и кореец, тащить меня на себе несколько километров снежной целиной? Надо еще подумать! Да? А вот тут для ребят это так же естественно, как дышать. Понимаешь? Да нет, не понимаешь...

И, между прочим, мы здесь и язык изучаем, и книги читаем, и фильмы смотрим, и даже обсуждаем их. И эрудиты тут есть будь здоров!

Вот так. Не считай меня пропащим. И еще имей в виду, я трезвый. Если пишу тебе так, — значит, так и есть...

Т.



## Глава XVIII

Я отправляюсь в Москву.

Поощрение.

Десятидневный отпуск, не считая дороги. Почему именно я? Ну если б Сосновский — понятно. Он лучший из лучших. А я чем лучше Дойникова, Щукаря? Вообще-то я догадываюсь: старший лейтенант Конылов и старший лейтенант Янубовский отправляют меня на свидание с Москвой, с матерью, с друзьями, чтобы я окончательно проверил себя.

Чтобы решил, с кем я.

Зря беспокоятся — я здесь. С пими. С ребятами. С Таней. Но вот про Таню-то они не знают. Если б они хоть раз видели нас вместе, не пришлось бы отправлять меня в отпуск.

Она встретила известие о моем отпуске именно так, как я предполагал. Господи, до чего ж я ее теперь хорошо знаю! Но шел к ней все же с тревогой. От нее всегда можно ждать любого сюрприза.

Сейчас войду, думаю, этак небрежно упомяну про отпуск. Она небрежно спросит, надолго ли. Отвечу, что дня на три. Она скажет: «Ну-ну»...

Пришел. Ужинают. Таня и обязательная, как вечерняя поверка, Рена. Конечно, в халатике. И, конечно, говорит: «Ой!» Но не уходит. Таня мрачнеет.

Тут я небрежно говорю:

— Между прочим, отпуск мне дали. В Москву.

Лицо Тани каменеет, становится бескопечно равнодушным и скучающим.

— Да?... — тянет она небрежно. — Что ж, это неплохо. Надолго?

— На три месяца, — говорю я и намазываю себе колоссальный бутерброд.

— Ой! — опять вскрикивает Рена.

Таня мгновенно оборачивается. Губы сжаты. Глаза сверкают. Она смотрит на меня, будто сверлит. Наконец тихо-тихо, почти шепотом, спрашивает:

— На сколько ты сказал?

Смотрю на нее невинным взглядом Дойшикова.

— На десять суток. А что?

— Ох... — облегченно вздыхает Рена.

Лицо Тани молниеносно меняется. При взгляде на него можно уснуть — такая на нем написана скука.

— Ну-ну, — роняет она.

Тут Рена вспоминает о невымытой посуде, недочитанной книге, недонитом платье и исчезает.

Мы остаемся одни.

И тогда происходит то, чего я никак не ожидал.

Таня начинает плакать.

Очень тихо. Просто она вынимает откуда-то прохотный платок и промокает им глаза. И пимыгает носом.

Я никогда не видел ее плачущей. Мне даже в голову не приходило, что она умеет плакать.

Стою растерянный. Наконец наливаю в стакан воду и подаю ей. Так, кажется, всегда делают в подобных случаях.

Таня отстраняет мою руку.

— Спасибо. Пей сам...

— А чего ты плачешь? — говорю. — Что случилось?

— Ничего, — отвечает, — абсолютно ничего. Это я от радости.

— Какой радости?

— Ну как же. Радуюсь за тебя.

Я сажусь на диван, обнимаю ее за плечи (она тут же отстраняется).

— Таня, — говорю очень твердо, в высшей степени твердо, — это смешно. Мы здесь по неделям не видимся. Десять суток — ты и заметишь не успеешь.

— До чего ж ты глупый все-таки... — Она смотрит на меня с сочувствием. — Ну при чем здесь срок? Думаешь, узнали бы тебя на три месяца на учения, я огорчилась? Веселого мало, но не огорчилась бы. Мы люди военные...

— Ничего не понимаю...

— То-то и оно. Здесь совсем другое дело!

— Почему? — спрашиваю.

— «Почему, почему!» — Теперь она не плачет, возмущается: — Как ты не можешь понять? Москва, старые друзья, компании, рестораны, Эл этот твой...

— Слушай. — Поднимаю с дивана, зажимаю ей щеки ладонями и смотрю прямо в глаза. — Слушай внимательно и постарайся понять. Если начальство не боится, что, окунувшись в столице в омут кутежей, я застряну там, то уж от тебя-то я куда денусь?

Таня обнимает меня. Примирение состоялось. Мы продолжим ужин. Начинается серьезный разговор.

— Знаешь, Татьяна, — говорю я (Татьяной она именуется в особо ответственные минуты), — меня мучает одно обстоятельство: как-то неловко получается. Копылов — твой друг, мой начальник... И ничего не знает... В какой-то момент может возникнуть недоразумение... Словом, ты понимаешь.

Таня улыбается.

— Ну если только это тебя волнует... Все очень просто, — говорит. — Завтра ты уедешь, и я скажу ему, что мы женимся. Ты отправился к маме за благословением.

Молчу.

— Может, я что не так сказала? — Подчеркнутое беспокойство. — Или ты не согласен? Ты не расслышал? Я официально предлагаю тебе руку и сердце.

И смотрит на меня. Я отмахиваюсь.

— Тебе только шутить, — говорю. — Серьезно, надо как-то

решить этот вопрос. Подумай, ведь чистая случайность, что Кобылов до сих пор не застал меня здесь...

— Ну хорошо, не будем ждать десять дней. Пойдем скажем ему сегодня.

И смеется. Я тоже. Потом перестаю смеяться. Вдруг понимаю, что она не шутит, что она меня очень любит и очень хочет, чтобы мы поженились.

Пристально смотрю на нее. Она краснеет и отворачивается к спасительному окну.

...Когда утром поезд наконец трогается, я ложусь на свою верхнюю полку плацкартного вагона и устремляю глаза в потолок.

Итак, все ясно. Принято множество важных решений. Я подаю рапорт в училище. Таня уезжает со мной, там тоже есть спортивная команда, а место санинструктора ей найдется.

Потом я становлюсь офицером, она же, наоборот, увольняется. Еду служить...

Сложнее будет с мамой.

Она понимает, конечно, что когда-нибудь я женюсь. Когда-нибудь в далеком будущем. И понимает, что на княгине это сделать трудно (да и не следует). Но хоть на народной артистке. Сойдет и дочь академика. Даже генерала, но лучше маршала.

Маму жаль, но с мечтами этими ей придется расстаться. Ничего не поделаешь. Пусть мирится с невесткой-врачом.

Однако о своих планах ничего маме (да и отцу) не скажу. Успею. Пусть привыкают постепенно. Насчет училища тоже пока промолчу. Тем более, что все это еще в проекте.

А поезд все идет, все стучит, и кажется, сто лет прошло с тех пор, как ехал я в противоположном направлении и старший лейтенант Кобылов ходил по вагону со своей трубой-перекладиной. А ведь и года не прошло...

...На вокзале встреча состоялась на высочайшем уровне, не хватало только флагов и оркестра. Прибыли: мама в цорковой шубе, отец в бобрах, Дуся с букетом, Анна Павловна — наш семейный летописец, ребята.

Дома — пир. Стол не накрыт, а укрыт сплошь лучшими образцами маминого и Дусино кулинарного искусства. Был даже извлечен бабушкин сервиз, случай беспрецедентный, насколько я помню, в богатой торжествами истории нашего дома.

Замечаю отсутствие Элеоноры Мангустовой. Выясняется, что

она не успела на вокзал, застряв в парикмахерской. Скоро явится.

Первый тост произносит Влад. Паверное, очень остроумный, все хохочут. Мне не смешно. Криво улыбаюсь, чтобы поддержать компанию. Потом Анна Павловна. Воспела невыразимое счастье мамы иметь такого ребеночка.

Почти не пью. Ем за троих. Мама в восторге. Поднимается Серж. Он произносит длинный тост в стихах, который кончается так:

Во глубине сибирских руд  
Томится наш любимый друг.  
Терпеть осталось уж немного,  
И ты вернешься к нам опять,  
И у знакомого порога  
Тебя с шампанским будем ждать!

Ну, как стихи? Такие плохие я не писал даже в детском саду — стыдился. А вот насчет «сибирских руд» и «томится» я ему сейчас выдам! Поднимаюсь во весь свой богатырский рост. Но Сержа спасает неожиданное появление Элеоноры Мангустовой. Все застывают. Немая сцена из «Ревизора».

На Эл серебристо-перламутровый брючный костюм, волосы, тщательно отутюженные, чтоб, не дай бог, не было малейшей волны, прямые и белые, спускаются по сторонам лица ниже груди. Ресницы протянулись через стол. Эффект велик. Она преподносит мне розу и кокетливо чмокает воздух.

Последний тост произносит отец. Он, я заметил, все время поглядывал на меня, наблюдал, делал выводы. И понял больше других.

— Вот что, сын (говорит торжественно — растроган), ты должен понять, как мы рады. В тебе для меня и для мамы весь смысл нашей жизни. Весь ее смысл — в твоём счастье. И это главное. А уж будешь ты счастлив здесь, с нами, в своей квартире, или в кресле посла, или на военной службе — это вопрос второстепенный. Его надлежит решать тебе. Вопреки мнению многих, жизнь — не театральная сцена. Это тебе говорю я, режиссер. И суфлерская будка здесь ни к чему. Ты теперь не ребенок, ты мужчина и сам определишь, где твоё счастье. И где бы и каким бы оно ни было, мы с мамой будем благодарить судьбу.

Мать плачет, Анна Павловна закатывает глаза, Эл хлопает ресницами, Серж с Владом хихикают...

А я проникся. Растроган.

Конечно, просто отец говорить не может. Но сказал-то правильно. Раньше всех почувствовал перемену. Толковый все-таки у меня папка. С намеком тост.

Я-то понял, но остальным, кроме мамы, наплевать. Я тоже встал произнести ответную речь. Тишина. Все застыли. Внемлют.

И вдруг мне стало неохота произносить ее, эту речь. Невыносимо скучно мне стало. Ну что я скажу?

Как объяснить Владу и Сержу, что такое почной зимний лес? Как пахнет небо, когда ты паришь в нем под белым куполом? Какая это музыка — самолетный мотор?!

Как объяснить маме, у которой с вокзала глаза не просыхают, что жить в пахнущей хвоей палатке не равнозначно смерти, что борщ в котелке вкуснее ее «канале с кавнаром», а сон в казарме крепче, чем в моей зашторенной изолированной комнате?

И Эл, разве она поймет, что Таня красивей ее? Что румянец без грима, ресницы без туши куда прекрасней?

Ну как им это все объяснить? Да и зачем? К тому же надо еще самому разобраться, как это за год происходит в человеке такие разительные перемены и то, что казалось главным в жизни, теряет всякий смысл, а то, чего страшился, становится близким.

Все-таки мы, наверно, неправильно начинаем жить. Наверное, надо раньше узнавать, из чего можно сделать выбор. Или это только я не так, как надо, начинал? Впрочем, откуда мне-то было знать? Это уж определенно мама с отцом виноваты. А почему они? До пяти лет — да, до десяти. А в пятнадцать — семнадцать пора жить своим умом.

И армию нужно таким, как я, еще лучше показывать, привлекать к ней внимание. Может быть, устраивать, как в институтах, дни открытых дверей. Многие-то, конечно, понимают, что к чему, — в аэро-, мото-, морских клубах занимаются. А надо, чтоб все...

Но вряд ли уместно распространяться об этом сейчас. И поэтому я ограничиваюсь малым.

— Спасибо за встречу, — говорю, — спасибо за хорошие дни, что когда-то провели вместе. Желаю вам жить так же полно и радостно, как я. — Не удержался, добавил: — Если сумеете...

Речь, конечно, незамысловатая. Сидят разочарованные. Ждали другого: фейерверка остроумия, прописных рассказов. Словом, прежнего Ручьева в своем репертуаре. А прежнего Ручьева нет. Есть другой Ручьев, новый. Но им это пока невдомек...

Тем, что по окончании пиршества я не отправился со «стариками» в ресторан, мать была несказанно удивлена. Даже обеспокоена.

Но я друзей своих тихо выпроводил, а Эл, отведя ее в сторону, назначил свидание на завтра. Объяснил: первый день как-никак — мама, папа, сама понимаешь...

И с удовольствием завалился спать.

Весь дом ходил на цыпочках. Известная картина — «Отдых воина». Вечером сидел перед телевизором, вкушал покой. А вернее, не находил себе дела. К ужину, как бы случайно, нагрянули ближайшие мамины друзья. Все понятно — надо показать сына. Если б решилась, попросила бы меня надеть голубой берет. Когда я под боком, в виде воспоминаний армия — это красиво. Чтоб сделать маме приятное, поднатужился, выдал несколько «жутких» эпизодов.

Мамины подруги тарачили на меня глаза, чуть не щупали: живой парашютист, тот, который прыгает с неба. Ах, ох!

Отдав дань восхищения, завели «случайные» разговоры — мол, и в других войсках интересно служить, да сколько можно, попрыгал, и хватит, и не пора ли перевестись в Москву... Большинство маминых подруг артистки, и они отлично отрепетировали свои роли. За всеми разговорами чувствовалась искусная режиссерская рука. А я-то думал, что в нашей семье только отец режиссер...

Лет рано. Проснулся, к великому ужасу мамы и Дуси, когда еще не было семи. Все утро бегал, выполняя поручения друзей.

Пошел отнести письмо родителям Сосновского. Сначала он не хотел меня утруждать. «И так у тебя всего ничего времени, будешь еще по моим поручениям ходить». Потом я его уговорил.

— Если будут расспрашивать, что говорить?

— Как что, — удивляется, — что есть, то и говори, у меня от них тайн нет.

И вот звоню с утра по телефону и к двенадцати отправляюсь к Сосновским. Оказывается, отец на даче — его специально вызовут в связи с моим приездом. Вот уж не знал, что у Игоря своя дача. Или, может, снимают? Удивляюсь. Дом новый, высокий, с лоджиями, в тихом арбатском переулке. У подъезда черные «Волги», «Чайки». Из одной «Чайки» вылезает эдакий министр, в пепсе, в мехах, с диковинной суковатой тростью. Такой важный, такой величественный, что я даже остановился. Пропустил вперед. Потом захожу. Поднимаюсь в лифте до двенадцатого этажа. И вот звоню в дверь.

Открывает такая симпатичная старушка в белом фартуке, улыбается:

— Вы Ручьев, Игорька товарищ? Пожалуйста, пожалуйста. Василий Петрович, Нина Тимофеевна, — кричит, — Ручьев пришел, который зевнул.

Откуда-то из дальних глубин квартиры раздаются торопливые шаги, появляется высокая женщина, наверное мать Игоря. А потом раскрывается другая дверь, и на пороге возникает отец — тот самый «министр» из «Чайки»! Вот это номер! Теперь, когда он без своих меховых воротника и шапки и даже без пенсне, я вижу, как они с Игорем похожи.

Стоят, улыбаются.

— Давай, Ручьев,ходи. Нам Игорек писал о тебе. Сейчас чай, будем пить, твои рассказы слушать.

Раздеваюсь, вхожу. Садимся за чай. Конечно, я подробно рассказал про наше военное житье-бытье, про Игоря, про его успехи. И сам узнал много прелюбопытного. Во-первых, выяснилось, что Василий Петрович, отец Игоря, — ни много ни мало академик, Герой Социалистического Труда.

И хоть бы раз Игорь словом обмолвился! В отличие от «аристократа» Ручьева почему-то с самого начала вел себя как нормальный человек! Для него все ребята всегда были одинаковы, а не «другого круга». И умел все: шить, строгать, собратиться в поход, пришить пуговицу, вымыть пол. И что самое поразительное, считал это естественным. Да, дела!..

Из разговора узнал, что Сосновские хорошо осведомлены об армейской жизни сына, о всех его друзьях — в том числе и обо мне. Игорь в письмах, как всегда, солидно, серьезно охарактеризовал каждого, подчеркнул достоинства, осудил недостатки.

И о том, что хочет в училище, родители тоже знают и всемерно его поддерживают. Ну, не чудеса?

Велели передать Игорю, что у них все благополучно, дали письмо. Ушел от них, будто из-под пухового одеяла вылез. Какие-то они теплые, ласковые, добрые. От них так и веет приветливостью. Посидел два часа, а кажется, всю жизнь знаю.

Ну погоди, Игорь Васильевич, приеду, выдам тебе по первое число за сокрытие таких предков!

Сходил к Дойниковым. Тут никаких сюрпризов.

Меня ждали, словно генерала, прибывшего с инспекцией. За столом вся семья — отец, мать, три брата. Каждый вылитая копия другого, и все вместе вылитые копии Сергея, чье фото — в голубом берете, при всех «орденах» — пять значков — красуется на комод в рамке. У всех ямочки, у всех глаза голубые в блю-

де величиной. А отец выглядит как самый старший из братьев. Торжественно встал, пожал мне руку и представил каждого:

— Супруга моя, Сергея мать — Ирипа Васильевна, серебряную уже справили. Старшой — Петр — в вузе, значит, в высшем учебном заведении преподает: математику читает, другой — Николай — на моем же заводе лабораторией заведует, третий — Владимир — в инженерях ходит, тоже на нашем заводе. Все в людях. Сергей вернется, тоже на завод пойдет.

Говорит степенно, торжественно и, чувствуя, гордится своим народом безмерно, хотя и сам он знатный слесарь. Мне Дойников рассказывал: «Отец рекорд побил: двадцать лет с Доски почета не слезает».

— Не вернется, наверное, ваш Сергей, — говорю, — в армии останется.

Сидят молчат.

— Как это так, не вернется? — наконец отец спрашивает. — Как это останется?

— А так, — говорю (и чего я завелся?), — в училище пойдет, генералом будет.

— Генералом! — Мать руками всплескивает. — Серенька наш?

— Ну, не сразу генералом, — говорю, — сначала в лейтенантах походит. Но решил стать военным, кадровым, на всю жизнь.

Опять молчат.

Неожиданно старший, Петр, говорит:

— Ну и правильно.

Другие братья поддерживают.

Тогда отец произносит свое веское слово:

— Пусть. Мы работать будем, он пусть охраняет.

Санкционировал, значит. Будь здоров дисциплиника в семье! Я теперь Сергея допеку, пусть попробует какое-нибудь нарушение сделать — сразу отца вспомню.

Потом мне такой вопрос учинил, я аж взмок. Со всеми деталями расспрашивал: как живем, учимся, служим, как едим, спим, как с «одежкой», какое начальство и «не чудит» ли его Сергей? Метко ли стреляет, хорошо ли с парашютом прыгает, не ругается ли с кем? Продолжает ли «бабовство» — рисование, значит. Девушка подходящая не появилась ли?..

Вроде простой старик, а, смотрю, во всем разбирается, и хочешь не хочешь, всю нашу жизнь ему выкладываю.

Братья поддакивают. Мать умиляется. Симпатичный народ, чувствуется, такая у них спайка, такая дружба — не разорвешь. Молодцы!

Наугощали меня, еле ноги двигал.

Потом мать и братья начали меня наставлять, что передать Сергею. А отец все молчал. А когда кончили они и я уж домой собрался, он говорит:

— Слышал, что они тебе тут наговорили?

— Слышал, — отвечаю.

— Запомнил?

— Запомнил.

— Так забудь все это. Из головы выкинь! Сергей сам знает что и как, сам сумеет. А не сумеет, на себя пусть пеняет. У меня в его годы советчиков не было — один рос, и он обойдется. Одно передай: чтоб службу нес исправно, по-дойниковски. Вот как мы тут. А остальное...

Посылку мать мне все-таки сунула: грузди какие-то в банке, пирог домашний и носки — сама связала.

На прощание обнялись со мной все.

И еще побывал у Хвороста. Шел с неохотой. Мы ведь с ним не очень дружим, даром что в одном взводе, — больше ссорился.

По перед отъездом он тоже подошел, хорохорится.

— Адресок возьми, — говорит, — будет время, сходишь, не будет, тоже не беда. Просто интересно матери живого десантника увидеть. Такого же, как я. В случае чего ты, Ручей, того, не сблести лишнего. Скажи, не сын у вас — орел! Понял?

— Понял, — говорю, — приеду, все ей про тебя расскажу, будь покоен. Не обрадуешься.

Словом, пошел. Он мне старый адрес дал — ох и развалиуха! — на чем только дом этот держится! Какие-то балки с улицы подпирают, подвал.

Но, оказывается, дом — на слом, а они пересхали в новый, где-то в Бескудникове, час искал. Буквально два дня назад переехали. Две комнаты им дали, а у них и мебели никакой: кровать с шариками, этажерка, диван... В подвале-то ничего завести не хотели — это мне мать его рассказала. Она прямо не знает, куда от счастья деться. Дождалась наконец жилья. Простая совсем и забитая какая-то. Отец у Ивана, оказывается, здорово пил (так что Ивановым склонностям удивляться нечего). Умер три года назад. Хотела было мать в деревню вернутся — не тут-то было. Сын и дочь против. Сын — это наш Иван, а дочь вот сидит, со мной разговаривает. Хорошенькая такая — постарше Ивана. Одета модно. Молодчага — работает в институт копчает. Как я понял, она всю семью вытягивала. А вот Иван давал им прикурить, мать псбось наплакалась из-за него. Для них сча-

стье, что его в армию призвали. Это мне потом сестра его рассказывала, когда до остановки провожала.

— Уж там-то он должен человеком стать. Как вы считаете, Толя, вы с ним служите, сделают его там человеком?

— Сделают, — говорю, — ручаюсь вам. Там из любого человека сделают. Вот из меня, например, сделали...

— Ну, вы, — смеется, — вы другое дело.

— Думаете? — спрашиваю. — Почему?

— У вас жизнь до армии совсем другая была. Я же вижу. И сравнивать нечего!

Я, понятно, возражать не стал, а еще раз заверил:

— За Ивана не беспокойтесь. Настоящим человеком станет.

И матери так скажите.

Мать действительно очень уж радовалась, на меня глядя, — точно Иван рассчитал — все кругом ходила:

— И Ванечка мой такой? У него тоже знаки такие? А берет...

Теперь Ванечка у нее будет в мыслях красавцем, лихим десантником, а не шалопаем, каким, наверное, был. И то хорошо.

Вслепи квартиру новую описать, извиниться, что послать нечего: сейчас обставиться надо, трудновато...

Объяснил им, что ничего их Ванечке не надо. Кроме хорошей трепки, но это я про себя подумал.

Сестра у него мировая, какая-то соблапная, видно, знает, чего хочет, и своего добьется. А хочет жить по-настоящему. И мать чтоб отдохнула от прошлых лет. Хорошая девушка. И красивая.

Последнее свидание, предстоявшее в тот день, не радовало. Договорились встретиться с Эл. В кафе-мороженном «Космос». Сначала удивилась — почему не в «Метрополе»? Сослался на коменданта: нельзя, мол, солдатам в рестораны. Как ей втолковать, что не хочу туда, не буду я там в своей тарелке.

Пришли в «Космос». Она опять в брючном костюме, по ярко-красном. Все на нее оглядываются. Странно как-то себя чувствую. Было время, в ресторан входил, как домой, а теперь словно робею. Навык пропал.

Сели в уголке. Заказали какие-то сложные сооружения из шоколада, мороженого, орехов, еще чего-то.

Она объяснила подробно, как мне крупно повезло: у меня есть она. Многие бы хотели быть на моем месте. Они все о ней мечтают, а она ждет меня. Вот еще на прошлой неделе, когда

она была с Тимом в Доме кино, то сказала ему, что меня ждет. Или Олегу — когда провела у него субботу и воскресенье на даче — тоже объяснила, что ждет меня.

Она столько говорит об этом, что, судя по всему, ни на что другое у нее времени не остается. Во всяком случае, институт она бросила.

Я смотрел на нее с грустью. Удивительно, как я мог проводить с ней столько времени! Целые дни. Неужели ничего не замечал? Да нет, просто меня это устроивало. То, что она давала, что могла дать, мне вполне хватало. Большого не требовалось. И не только от нее. От жизни тоже. Почему? Не потому ли, что и от меня никто ничего не требовал? А как спросили с меня, так и я стал спрашивать с других. Так уж, наверное, бывает, только я этого не знал.

Теперь знаю.

Объяснять ей разницу между пей и Таней бессмысленно. Она просто не поймет. Спросит, какая у Тани талия, какой рост, пеужели лучше тапцует, какие носит платья...

Не знаю, мне почему-то неприятно было бы говорить с ней о Тане.

Сказал просто, что у меня теперь другая жизнь, я изменюсь, а через год изменюсь еще больше; не уточняя, объяснил, что, видимо, останусь в армии надолго, может быть навсегда, и где служить буду, неизвестно. Во всяком случае, не в Нью-Йорке. Так что ждать моего возвращения смысла не имеет.

Последние аргументы показались ей, наверное, весьма убедительными. Поэтому разрыв она перенесла мужественно.

Доели мороженое и разошлись.

Она торопилась в парикмахерскую.

Последний день отпуска заняли другие дела. Володя настоял, чтобы я осмотрел свой «Занорожец» — убедился, в каком он отличном состоянии. Господи, видел бы он мою боевую, в которую можно засунуть три «Запорожца», видел бы, как я за ней ухаживаю.

Потом мама отвезла меня на Николину гору и показала дачу, которую они с отцом покупают. Дача хорошая. Мама продемонстрировала мне «мою» комнату. Уважительным шепотом сообщила, кто живет на соседних дачах. Долго восхищалась природой. Природа! На одном гектаре!

Походил по магазинам. Купил для ребят, что просили: бумагу, струны для гитары, краски, батарейки — целый чемодан. После обеда сел писать Тане письмо. Сменю. Она получит его дня через три-четыре после моего возвращения. Но мне хоте-

лось ей написать — мы ведь первый раз в разлуке. Я имею в виду настоящую. Потому что на службе даже долгое отсутствие в счет не идет.

*Здравствуй, Танек!*

*Вернее, добрый вечер. Когда ты получишь это письмо, меня уже не будет... (не пугайся) в Москве. Скорей всего, я буду сидеть за столом в твоей комнате и пить чай. Не обращай на меня внимания, читай себе спокойно, а я возьму еще печенья.*

*Так вот, я в Москве, дома. Даже не знаю, как описать тебе мои чувства. Стихи писать разучился, а проза недостаточно выразительна.*

*Знаешь, Танек, я никогда не думал, что за один год может произойти так много и так мало перемен. Просто удивительно!*

*В Москве перемен нет, во мне — не счесть.*

*Уже пахнет весной. Впрочем, в городе это незаметно. Все равно всюду асфальт, снега почти не видно. И Большой театр и телебашня на прежнем месте.*

*Мне ужасно захотелось всюду пойти с тобой, погулять по набережным, сходить в театры, в музеи, на стадионы. Показать тебе мой город. В рестораны не пойдем! Ни в коем случае! Лучше умрем посреди улицы Горького от голода.*

*На домашнем фронте без перемен. Встретили — сама понимаешь. Мать умиляется, отец присматривается, друзья удивляются. Знаешь, когда человек улетает в долгое космическое путешествие, а потом возвращается на землю, то выясняется, что за те десять лет, что его не было на земле, прошли тысячелетия. У меня наоборот, здесь все по-прежнему, а я словно прожил десять лет. Ну, не десять — пять.*

*Пишу о том же, о чем не раз говорил тебе. Надоело? Но пойми, это то, что больше всего меня поражает. Странно, те же любви, те же вещи, те же события, а воспринимаю я их совсем по-другому. Впрочем, если не поймешь — претензий не будет — я и сам не могу это толком объяснить...*

*И еще хочу сказать тебе, что очень соскучился, просто ужасно! Мне кажется, что я не видел тебя сто лет и ты забыла меня. А? Зовут меня Анатолий. Фамилия — Ручьев... рост... вес... Номер тринадцатый. Вспомнила?*

*Сочинил песню. Что скажешь? Сам — слова, сам — музыку, сам буду тебе петь. Уже репетировал, запершись в своей светлице, в четверть голоса. Вот первый куплет:*

*Дома я. В блаженстве утопаю.  
Но не радуют родные небеса.  
Мне нужны твои глаза, родная...  
Мне нужна твоя червонная коса...*

Я, конечно, не Соловьев-Седой, Ошанин и Хиль в одном лице. Но пусть Хиль попробует написать стихи, а Ошанин спеть. Каждый из них чемпион в своем виде, а я многоборец. Кроме того, они выступают для миллионных аудиторий. А мое произведение рассчитано на одного слушателя. Так что не взыщи.

Вот и все, о чем успел написать. Не скучай, скоро буду с тобой. (Я уже с тобой в момент, когда ты читаешь это письмо. Ты что, не видишь? Вот же я, на диване!)

Ты имей в виду, Танек, где бы я ни был, близко или далеко, я всегда теперь с тобой.

*Твой Толя.*

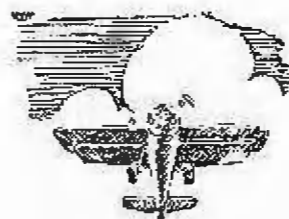
Перед отъездом отец зазвал меня в свой кабинет, откашлялся и произнес речь. Короткую и сбивчивую. Смысл: я могу на него рассчитывать всегда, что бы ни случилось и как бы ни поступил. Мама — хм, хм! — она очень меня любит, однако — хм, хм! — не всегда понимает — женщина. Но беспокоиться не надо — есть он, отец, и, пока он есть, все будет в порядке.

Обнялись. Отец долго сморкался.

Потом к себе в комнату, «будуар», затащила меня мама. Вскликивала, пила валерьянку. Объяснила, что сделает все, чтоб я был счастлив. Отец — чудесный человек, но не от мира сего, он весь в искусстве, зато есть она, на нее я могу положиться всегда. Она знает жизнь лучше отца, лучше меня, лучше всех. И пока в ее груди бьется сердце, пока она дышит, я могу быть спокоен. Она не даст меня в обиду никому. Я должен ей писать обо всем, ничего не утаивая. А когда это «страшное время» (служба в армии) кончится, она построит мое счастье. Этому посвящена ее жизнь. Пончики в кульке, какао в термосе, курица в прозрачном мешочке. Мой воинский билет она обменяла с доплатой на мягкий. Вот аккредитив на триста рублей. Надо следить, чтоб не украли...

Обнялись. Бедная, бедная мама, если б только она знала, как торопится ее сын туда, куда она со слезами провожает его.

Со «стариками» простился по телефону. Так что проводы были скромными.



## Глава XIX

Наступала весна.

Она была еще далеко, но уже выслала свои передовые донесения. Снег лежал на полях обреченный. Кое-где журчали ручейки. Ветер не приносил больше ледяное дыхание, он был ароматный и нежный, в нем слышались прощальные запахи ситов и все крепчавшие — солнца, проспавшейся земли, паливавшихся соком деревьев.

Синевя неба густела, а солнце уже просто припекало, и в его мучах торопливо таяли, сверкая и переливаясь, последние уцелевшие сосульки.

Осуществилась мечта Ручьева, его включили запасным в спортивную команду.

...Кравченко и ее тренер предсказывали ему большое спортивное будущее; Копылов, радовавшийся, что бывший отказчик теперь оказался таким способным, бегал, ходатайствовал за Ручьева, требовал.

...Наконец у Тани состоялся с «неразлучными» большой разговор.

Время она не выбирала и речей не репетировала, положившись на наитие.

В воскресный вечер, затащив к себе Копылова и Васнецова на ужин, приступила к разговору решительно и без колебаний.

Рена при сем присутствовала, находясь в резерве главного командования.

Впрочем, начался ужин, как обычно, мирно и весело. Ничто не предвещало большого разговора. Как всегда, Копылов и Васнецов спорили, как всегда, Таня разжигала страсти, а Рена подавала реплики.

Потом заговорили об учениях.

Эта тема была у всех на устах. То, что в начале лета предстоят совместные учения в рамках Варшавского Договора и что проходить они будут на территории ГДР, не было тайной — об этом официально сообщили газеты. И что в учениях наверняка будут участвовать десантники, ни у кого не вызывало сомнений. А вот какие десантники — оставалось вопросом. В конце концов, дивизия Ладейникова была не единственной воздушно-десантной дивизией Советской Армии.

Но и Копылову, и Васнецову уж очень хотелось, чтоб выбор пал именно на их дивизию. Заслуженный, опытный генерал, отличное соединение, неизменно занимавшее первые места по многим показателям. Оба друга поперебой приводили аргументы в пользу своей теории. Им казалось неоспоримым, что только их дивизия должна быть отобрана для учений.

Порешив на этом, стали обсуждать более деликатный вопрос: а если нужна не дивизия, а, скажем, полк или даже батальон? Кого выбрать тогда?

И если в отношении дивизии Копылов и Васнецов выступали единым фронтом против заочных оппонентов, то, когда дело дошло до полков и батальонов, их мнения, конечно, разошлись. Каждый отстаивал свое подразделение.

Подобные разговоры вели не только офицеры, но и солдаты. Учения, выражаясь языком футбольных комментаторов, «пазрвали». И в душе все надеялись принять в них участие.

Бесплодный спор Копылова и Васнецова длился до тех пор, пока его не прервала Таня.

— Слушайте, ребята, я хочу вас пригласить на свадьбу. Я вышла замуж, — неожиданно заявила она таким тоном, словно сообщила, что купила новый утюг.

Сначала офицеры пахмурили брови, силясь разгадать, в чем смысл очередной шутки. Но внимательно посмотрев на Таню, единым движением опустили стаканы с чаем на стол. Первым пришел в себя Васнецов. Он пожал плечами и заметил:

— Если ты приглашаешь на свадьбу, значит, ты еще не вышла замуж. Насколько я знаю, выйдя замуж, свадеб не устраивают...

Копылов отозвался чуть позже, но несравненно темпераментней.

— Ты с ума сошла! — вскричал он. — Какая свадьба, какое замужество? Что ты нас разыгрываешь! Дурацкие шутки!

— Слышала, Рена? — Таня повернулась к подруге. — Удельный князь Копылов возмущен. Его крепостная девка Танька посмела искать жениха с чужого двора.

— Совсем и не чужого, — заметила Рена, — если уж на то пошло, то как раз с его собственного.

— В общем-то да, — согласилась Таня.

— Послушайте, — заговорил Копылов спокойней, — это розыгрыш, да? Если так, соглашаюсь — попался.

— Это не шутка, Володя. — Таня встала. — Я действительно люблю одного человека, действительно собираюсь за него замуж. Хотя и не сию минуту.

Наступило молчание.

Рена попыталась разрядить обстановку:

— Может, ко времени свадьбы кто-нибудь из вас комдивом станет. Так что за свадебным генералом ходить далеко не придется.

Шутки никто не поддержал.

— Ну и кто же счастливцев? — задал наконец вопрос Васнецов.

Некоторое время Таня молча смотрела на своих притихших друзей, потом коротко бросила:

— Ручьев!

— Ручьев! — казалось, Копылов задохнется от изумления. — Анатолий Ручьев, мой солдат?

— Ручьев, — твердо повторила Таня, продолжая смотреть в глаза Копылову, — твой солдат и мой жених.

— Сюрприз! — вставила Рена.

— Действительно, сюрприз, — медленно произнес Васнецов, устремив взгляд куда-то вдаль. — Не представлял, не представлял...

— Не может быть! Очередной розыгрыш! — упрямо твердил Копылов. — Рена, ну скажи, это серьезно?

— Вот что, ребята. — Таня говорила спокойно, слишком спокойно, и было что-то новое, незнакомое в этом ее тоне. — Вы можете меня упрекать, что я не сказала вам раньше. Упрек принимаю — вы мои самые близкие друзья. Если не доверять вам, то кому? Но и вы поймите: не так все просто. Пока в себе разберешься, пока поверишь в него, пока все станет окончательным, решенным, нужно время. И потом скажу тебе, Володя, честно, то, что Толя, как ты изводишься выразиться, «твой солдат», дела не облегчало. Я знаю, ты о нем хорошего мнения, ценишь его, да он и действительно солдат отличный, но какую-то двусмысленность в наших отношения это могло внести. Неловкость какую-то. Уж не знаю, как объяснить... Ну да ты меня понимаешь. Имей в виду, это Толя настоял, чтобы я тебе сказала, он давно настаивал. И был прав — дальше так нельзя. Вот теперь вы все знаете.

Она замолчала, отвернувшись к окну.

Молчали и остальные.

А что было говорить? Казалось бы, ничего особенного не произошло. Дружат девушка и двое парней. Именно дружат. Она влюбляется, даже собирается замуж. Надо бы радоваться всем троим. И все же. Все же появилось что-то незримое, неосознанное, что сразу все осложнило.

Не для Васнецова. В конце концов, Васнецов встречал Ручьева не так уж часто — отвечал на приветствие и шел дальше.

Но для Копылова все обстояло иначе. Ручьев действительно был «его солдат», его подчиненный. А вдруг он получит выскание? Или Таня попросит для него какую-нибудь внеочередную увольнительную? А как они почувствуют себя, встретившись, например, у Тани за ужином? Все это вносило в их малепький, привычный мирок определенные сложности.

Затаив дыхание, Рена следила за происходящим. За Таней, спокойной, но внутренне напряженной. За Васнецовым, равнодушно перебивавшим бахромую скатерть. Рена достаточно хорошо знала его, чтоб понять, насколько он уязвим. За Копыловым, теребившим светлый чуб и устремившим на Таню растерянный взгляд.

В конце концов, Копылов и разрешил все вопросы. Широко улыбнувшись, он наклонился к Тане, обнял ее и похлопал по спине, словно приятеля, которого давно не видел.

— Поздравляю, Татьяна, поздравляю. Ручьев хороший солдат и хороший парень. Дай вам бог, как говорится... Только когда это вы успели, не пойму. Ну Ручьев ясно — он «ходил в библиотеку» имени Татьяны Кравченко. — Копылов рассмеялся. — Но ты-то! Ведь мы же у тебя едва не каждый день вечерами...

— Кроме тех, когда Ручьев получал увольнение, — заметил Васнецов.

— Верно, кроме тех... — улыбнулась Таня. Она опять была веселой и радостной. Напряжение спало. Самое трудное осталось позади.

Рена достала заранее припасенную бутылку шампанского. Хлопнула пробка.

— Жалко, Толи нет, — заметила Рена.

Действительно, уж если кому и следовало присутствовать на этом скромном торжестве, так это Ручьеву.

Но он отсутствовал.

...А жизнь военного городка текла своим чередом.

Шли занятия.

С утра раздавались раскатыстые команды и четкие шлепки подошв на асфальтовом, совсем очитившемся от снега плацу.

Со стрельбища доносились щелкающие выстрелы. Иногда падрывно ревел мотор в автопарке. А где-то речетировал оркестр. Звуки музыки неслись стройные и ладные, потом вступала труба, и через минуту музыка обрывалась. Труба, видимо, играла не так. Наступали секунды тишины — опять звучал ор-

кестр, опять вступала труба и опять неожиданно замолкала — все начиналось сначала. Он, наверное, был неважным музыкантом, этот трубач...

Вдруг, покрывая все звуки, гремела песня, громкая, грозная, так что мурашки пробегали по коже, или задорная, так что хотелось подпевать. Умолкала. Только пизкий бас запевалы выводил свой запев. И снова гремела песня и замирала на хватающем за душу аккомпанементе теноров.

В разных направлениях маршировали роты и взводы. С оружием, с геодезическими приборами, с сумками... В шинелях — на запятия и без шинелей — в столовую.

Дежурный, с красной повязкой, в неистово начищенных сапогах, настороженно поглядывал в сторону ворот, ожидая прибытия начальства.

Пахло талым снегом, весенним солнцем, свежим воздухом.

А из окон кухни неслись иные, чарующие ароматы...

В парашютном городке скрипели ступени, блоки парашютной вышки. Прыжки, управление стропами, приземление — все хорошо знакомое, изученное и тем не менее сто раз повторяемое, чтоб стало автоматическим, чтоб впилося в мозг, в память, в кончики пальцев...

В классах укладывали парашюты, тоже в сотый раз, на платформах крепили и расчехляли технику, с каждым разом выигрывая секунды, те самые драгоценные секунды, что сэберегут на поле боя не одну жизнь...

В учебных помещениях занимались тактикой и уставами, английским и политическими науками.

Разбирали оружие, передавали по радио важные сообщения товарищу в соседнюю комнату.

Учили топографические знаки, изучали мины и снаряды.

И равнодушно поглядывали на большой цветной гриб на таблице — атомный взрыв.

Тот гриб на десятки километров вокруг уничтожал все — города, людей, посевы. Тот гриб нес страшную, чудовищно мучительную смерть.

Кто знает, не придется ли этим ребятам, сидящим сегодня за столами в аккуратных кителях, когда-нибудь, в особых, непроницаемых костюмах, противогазах, с автоматами в руках, прыгать на пшенеленную, мертвую землю, с которой испарились деревья и стада, дома и люди, даже вода, даже камни... Прыгать, стрелять, устремляться в атаку.

А если падо — умирать. Ибо солдаты должны всегда быть готовы и к этому. Солдаты не умирают случайно...

А пока они сидят, склонив голову набок, прилежно записывая в тетради, равнодушно поглядывая на безобидный цветной гриб на потертой таблице.

Тем временем у пачальника штаба дивизии идет совещание. Разбираются последние штабные учения. Здесь тоже висят таблицы. Выступающие спорят, доказывают. И неважно, что сегодня офицеры командуют и ведут бой в кабинете, с помощью указки, цветных карандашей и линейки. Если потребуется, они сменят указку на оружие, и то, что они постигнут в этом кабинете, обернется знаниями и опытом, которые помогут им на поле боя ограждать от смерти своих солдат.

Не всех, конечно. Война есть война.

Но даже если б им удалось спасти, уберечь лишь одного, то и тогда стоило проводить долгие часы на таких совещаниях...

Вот, например, лейтенант Грачев, командир взвода. Он давно усвоил, что для каждого командира Советской Армии, от самого маленького до самого большого, гибель солдата — это ЧП. Всегда. Даже на войне. Разумеется, на войне солдаты гибнут, и все же это всегда следует рассматривать как крайнюю необходимость. Без которой нельзя. И цель которой одна — сделать так, чтоб тот, кто погиб, совершил это не зря. Не зря, а ради того, чтоб в живых остались его товарищи.

Занимаясь со своим взводом, Грачев никогда об этом не забывал. Он во всем всегда видел эту простую истину: солдат метко стреляет, отлично владеет приемами самбо — значит, больше шансов у него уцелеть. Солдат быстро бежит, хорошо подтягивается на перекладине, прыгает через коня. И это тоже сбережет ему жизнь. Мгновенно одевается по тревоге, умело наматывает портянку, знает иностранный язык, помнит уставы — и это тоже.

Смысл действий солдата: в бою уничтожить врага и сохранить себя. И все в его, лейтенанта Грачева, командира взвода, деятельности должно быть направлено на то, чтобы как можно лучше подготовить к этому своих солдат!

У заместителя командира дивизии по тылу тоже миллион дел. Дивизия словно огромное живое существо — ее нужно поить, кормить, одевать, перевозить, согревать, обеспечивать ей учебу, работу, отдых.

Ей нужны не только масло, хлеб, мясо, вода, кителя и сапоги, баяны и шахматы, нитки и телевизоры. Ей нужны бензин и варычатка, танки и пули, снаряды и еще кое-что, без чего не приходится говорить о боеготовности.

Ей нужны парашюты, лопатки, котелки, ножи... Даже семе-

на для подсобного хозяйства, слабительное для медсанбата, наряды для коллектива самодеятельности. Все это тоже нужно.

И без перебоев, в отличном состоянии, лучшего качества.

Полковник Николаев, начальник полтотдела занят партийно-политической работой. Но разве вмещают эти два слова весь необозримый объем его деятельности?

Надо провести совещание руководителей семинаров, выступить перед ротными комсортами, съездить к секретарю горкома, договориться о помощи во время предстоящих выборов, побывать на стрельбище, в автопарке, у артиллеристов...

Надо подписать грамоты артистам, приезжавшим с шефским концертом, надо принять жену лейтенанта из второй роты: в семье нелады; надо заняться расследованием печального происшествия — молодой солдат, ослепленный фарами встречного грузовика, съехал в кювет — сломал руку...

Надо написать в кубанский колхоз родителям, чей сын отличился, порадовать стариков; и еще написать статью «Роль личного примера в воспитании воина» в солдатскую газету — редактор взял за горло, не отпускает; и еще написать характеристику полковнику, направляемому в Академию Генерального штаба...

Надо вызвать командира первого батальона, не всегда правильно понимающего роль своего заместителя по политчасти, и объяснить ему, что к чему...

И еще тысяча дел.

Хоть часок поработать над диссертацией, дочитать книгу американского военного теоретика, которую дал ему начальник штаба всего на три дня, и сделать из нее выписки...

Надо, надо, надо...

И еще хорошо бы хоть раз вернуться домой так, чтобы посидеть часок, нет, хоть полчаса с женой...

А как все это уложить в сутки?

Командир дивизии генерал-майор Ладейников. Откинувшись в самолетном кресле, он летит в Москву.

Срочный вызов последовал накануне, но опытный комдив ждал его давно.

Он не сомневался, что речь пойдет об учениях. Будет ли участвовать дивизия или ее подразделения в учениях, он, разумеется, не знал. Но предполагал.

Теперь вот стало ясно — иначе не вызывали бы.

Совместные учения, да еще на территории союзного государства. Трудный экзамен. Но Ладейников был доволен. Уж не говоря об оценке его дивизии, явствовавшей из того, что выбор

пал на нее, он просто радовался возможности показать свой труд.

Именно труд. Потому что труд — это не только строить дом, собирать урожай, лить сталь. Командовать дивизией тоже труд.

В нем, как и в любом другом, есть удачи и неудачи, открытия и разочарования, есть риск, есть отличное качество и брак. В нем можно быть передовиком и отстающим, новатором и ретроградом.

Правда, «продукция» здесь особая — гарантия мирного труда. Но оттого не менее важная.

И для «продукции» этой есть свой ОТК. Это учения. Чем лучше покажет себя дивизия на учении, тем выше качество «продукции», выпускаемой им, Ладейниковым, его офицерами и солдатами.

Интересно, вся дивизия будет участвовать в учениях или только часть? И какое будет задание?

Ладейников помрачнел. Он знал, что скоро ему придется расстаться с дивизией, его ждало повышение. Последний разговор с командующим не оставлял сомнений. Предстоящие учения будут, вероятно, последними, в которых ему доведется участвовать со своей дивизией.

Уж не потому ли и выбор пал на него?

С ревнивой грустью Ладейников представил себе нового комдива, входящего в его кабинет. Как сложатся отношения с ним у его бывших подчиненных, заместителей, командиров полков? Продолжит ли он то хорошее и важное, что сумел установить Ладейников, или все переделает по-своему? Поднимется ли дивизия, доселе передовая, при новом командире на новую ступень или перейдет в разряд рядовых, ничем особенно не блещущих, а может, даже отстающих?..

Ладейников представил военный городок, раннее утро, комдива, выходящего из машины, и дежурного, подающего команду «Смирно!». Солдат и офицеров, оказавшихся поблизости и застывших неподвижно.

Комдив идет в свой кабинет, принимает доклады, отвечает на звонки, отдает распоряжения. И, послушные этим распоряжениям, выходят на занятия роты, на стрельбище гремят выстрелы, выезжают за ворота бронетранспортеры, собираются совещания, совершаются прыжки...

Жизнь военного городка течет своим чередом...

Ладейников вздохнул, заерзал в кресле, посмотрел на часы. Он постарался отогнать грустные мысли и стал думать только о предстоящих учениях.



## Глава XX

Наконец-то весна! Настоящая. Во всяком случае, у нас. Солнце жарит, как летом. Скоро зазеленеют деревья.

Почему у меня весной всегда такое настроение — даже не объяснить. Тревожное и счастливое сразу. Словно предстоит что-то очень важное, необычное. И как я пройду через это...

И Таю я люблю все больше и больше. Говорят, весна — пора влюбленных. Так утверждают поэты, философы, романисты. Даже Дойников. Он сказал, что вычитал это в отрывном календаре.

Весной все меняется. Хворост и то ходит просветленный и, если верить данным наблюдения, не «причащается».

Я теперь заядлый парашютист — до инструктора рукой подать. Еще бы, такой учитель — Кравченко!

По-моему, ничего нет прекрасней, чем прыжок с парашютом! Сколько он доставляет наслаждения! Предстартовое волнение в самолете — что ж, такое испытывает и рекордсмен мира и великий артист, тысячу раз выходивший на сцену. Легкий холодок на сердце в момент прыжка. Ни с чем не сравнимое чувство, когда паришь, раскинув руки и ноги, когда в воздухе, как в воде, управляешь своим телом. И, наконец, спуск под белым куполом — это уж просто упоение! Необъятный простирается вокруг горизонт. Внизу поля, леса, дороги, машины, люди, все растущие, все приближающиеся. А какое гордое чувство охватывает. Не знаю, как у других, но я кажусь себе властелином природы, богом, которому все подвластно.

Эка загнул, скажут, «бог», «властелин»... Солдат ты, Ручьев, солдат! Такой же, как и те, другие, что опускаются с тобой рядом. И нечего выпендриваться. «Бог»! Ну что ж, отвечу, а они что, не боги? Кто сказал, что бог один? Когда мы прыгаем, богов становится сотни.

Или ночной прыжок. Когда паришь словно с закрытыми глазами и лишь изредка где-то вдали глубоко дрожат и мигают огоньки... Уж тут землю не увидишь, не пригодишься. Ее надо чувствовать, землю. В ногах должны быть невидимые радары, как у ночных насекомых. Это даже не объяснить — спускаешься, спускаешься и вдруг понимаешь: вот сейчас призем-

лишься, вот сейчас, сию секунду. Напрягась, весь пятают как пружина... Есть! Приземлился. Радар не подвел.

И еще я люблю прыгать на всякие препятствия. На лес, например. Эдакий воздушный слалом: миновать как можно выше верхушек и ветвей, проскользнуть как можно ниже и как можно быстрее отделаться от подвесной системы, не унав при этом с высоты и не разбив носа.

Здорово!

А приземление в цель? Тут уж, кроме круга, ничего не видишь, стропами управляешь, будто играешь на гитаре, целое искусство. Таня говорит, что это у меня особенно здорово получается. Наверное, потому, что я играю и вожу машину — «симбиоз полезных навыков». А? Симбиоз!

Словом, для меня отныне ясно, что мое будущее не в теннисе, не в тяжелой атлетике или борьбе, не в этом чертовом культуризме и даже не в самбо, хотя я сделал в нем немалые успехи и Шукарь у меня теперь летает будь здоров.

Мой спорт, мое призвание — парашютизм. Значит, так: в этом году становлюсь инструктором, набираю возможно большее количество разнообразных прыжков. Далее: в училище совершенствуюсь как спортсмен, получаю мастера спорта. Через три года должен участвовать в первенстве страны. Это железно! После окончания училища я чемпион! Или рекордсмен. Пока страны. Пока. Мира — это уже следующий пятилетний план. Какле прыжки выберу, еще не решил — высотные, из стратосферы, затяжные, на точность приземления, групповые, индивидуальные... Еще не решил.

А нет семейных? Жаль. Мы бы с Таней показали класс!

Какая она все-таки молодчага. Когда я вижу, как она прыгает, я прямо не знаю, куда деваться от гордости. Ведь это МОЯ Таня прыгает! МОЯ! Какой она мастер! Девчонка! А на прыжках? Мастер высшего класса. Здесь она совершенно другая. Хладнокровная, уверенная, расчетливая, смелая. Копчались прыжки, и она, веселая, заводная, бегает, как маленькая, хохочет. В медсанбате опять другая — серьезная, старательная, только что язык от усердия не высовывает. Строгая. В халатике своем белом.

А дома? По части печений она уже не мастер, а заслуженный мастер. Мне это ужасно нравится, что она всегда разная. И беспокоит тоже, откровенно говоря.

Таня сообщила мне, что разговор с Копыловым состоялся. При большом стечении народа. Присутствовали Рена и Васнецов (не люблю я Васнецова-сухаря).

С волнением ждал первой встречи с командиром роты после их разговора. Скажет не скажет... Как все получится?

Получилось очень просто. Вызвал меня Копылов в канцелярию и говорит:

— Вот что. Ручьев. Рассказала мне Татьяна вашу семейную тайну. Поздравляю. И рад за тебя. Она замечательный человек и большой, может быть, даже лучший мой друг. И к тебе претензий нет — солдат ты хороший и, насколько узнал, парень тоже. Одна просьба: не подведи. Постарайся, чтобы отныне у меня никогда не было причин ссориться с тобой. Понимаешь? Это всегда нежелательно. А теперь недопустимо. И меня, и себя, а главное, Таню поставишь в трудное положение. Пойми это. Ну, а уж если возникнет разговор, так давай по-мужски его и будем разрешать. А Таня чтоб в стороне оставалась. Договорились, Толя?

Ушел от него успокоенный. Мировой он все-таки мужик, никогда не подведу его. С этого дня подналягу на все, чтоб только отличные оценки, чтоб никто ему никогда мной глаза не колол. (Хотя, между прочим, и сейчас я в хвосте роты, прямо скажем, не плетусь.) А Васнецова избегаю. Как увижу его, стараюсь обойти глубоким фланговым маневром. Встречаться с ним у Тани тоже не буду.

В воздухе «носятся» учения. О них говорят все. Генерала вызывали в Москву. Долго не было. Потом вернулся, опять уехал. Будто даже в ГДР летал.

Сосновский, учный ворон, разъяснил: раз командир дивизии входит в штаб учений, значит, участвовать в них будет не вся дивизия. Иначе он бы ничего не знал, как любой солдат. А раз знает, значит, участвовать будет только какой-нибудь полк, а генерал наш будет при нем посредником или даже в составе штаба. Так, по крайней мере, утверждает Клаузевиц-Сосновский, а он все знает.

Возникает другой вопрос. Будет наша рота участвовать или нет?

Мы, конечно, все хотим этого страшно. Дойников даже на ночь положил под койку такой мостик из спичек: говорит, что это помогает, — включают в учения. Ему разъясняют, что мостик перед экзаменами надо класть, чтоб не провалиться. А он свое: учения тоже экзамены, раз положил мостик, значит, рассчитываешь их сдать, значит, должен в них участвовать. И судьбе деться уже некуда, хочешь не хочешь, обязана нашу роту включить в учения. А? Каков хитрец? Нет, Дойникову палец в рот не клади.

Костров, тот действует по-другому. Он завел связи с ребятами из штаба — пытается у них разнюхать. Пока безуспешно.

Хворост предложил было, робко, «поднести» штабникам. Мы ему показали «поднести»!

А вчера случай произошел, умора!

В медсанбате лежат трое из нашей роты. У одного с желудком что-то — облеся, у другого с рукой, у третьего с ухом. Прослышали они про учения (уж не знаю, кто им рассказал), решили, что прямо завтра в поход. А они как же? Врачи не выписывают, обмундирование заперто. Медсанбат все же.

Так что придумали? Из простыни вырезали большие квадраты, намалевали номера, пришили к майкам. И так в трусах и майках через весь город шпарят: кросс якобы, а они впереди, оторвались! Народ смотрит, только что не аплодирует: чемпионы! Каково? Прибежали в подразделение — шум, гам, командир медсанбата кричит, командир роты кричит, все кричат. До генерала дошло. А он говорит: «Молодцы, настоящие десантники!» И тут же пообещал, когда выздоровеют, на гауптвахту отпраздновать.

Старший лейтенант Копылов и замполит Якубовский, конечно, слухами не питаются, но чувствую, бдительность удвоили. Несколько раз поднимали роту по тревоге, оружие чуть не каждый день проверяют, какие-то совещания проводят то с офицерами, то с сержантами.

С увольнением стало потуже.

Но все-таки к Тане вырываюсь.

Сидим, пьем традиционный чай, потом она идет меня провожать.

На улице светло. Зимой и не пахнет. Она умчалась, не оставив следа. Весна...

— Знаешь, Толя, — берет меня за руку, — ты не рассердишься, если я скажу то, что все влюбленные, наверно, говорят друг другу на третий день? Мне кажется, что до того, как встретил тебя, все было по-другому. Сейчас как-то по-новому все для меня видится. Знаешь, как солнечные очки — снимаешь их, и совсем другие краски. Ты не подумай, — поправляется, — это не значит, что до тебя я видела мир через темные очки...

— А так получается, — дразню.

— Да, сравнение неудачное. Но ты ведь понял? Это главное. Я как-то теперь все острее воспринимаю, все время думаю: а как он к этому отнесется? А ему поправится? А он порадуется? Я словно сверяю себя с тобой, все время, как часы перед ата-

кой. Тыфу, черт, что меня тянет на сравнения и каждый раз неудачные? При чем тут атака?

— Атака, — говорю, — как раз при том. Мы ведь с тобой на такую программу жизни замахнулись, что ее без лобовой атаки не осилить. Нам в такие атаки придется ходить, если хотим овладеть всем, что наметили, будь здоров! И рекордами спортивными, и знаниями: ты в институте, я — в училище. И друг за друга бороться придется постоянно. Так мне кажется, по крайней мере. У тебя ведь такой характер, что, если я на месте топтаться буду, ты меня быстро разлюбишь, выкинешь, как старый... как старый...

— Парашют, — подсказывает Таня.

— Хорошо еще, если парашют, а то носок, — вздыхаю.

— Ладно, не плачь, — утешает, — не выкину. Ни ты, ни я на месте стоять не будем. Тут я спокойна. Не те характеры.

Мы идем по старым улицам нашего города, вдыхаем весну, вдыхаем счастье.

Когда-то я задавал себе вопрос: что такое счастье? Теперь я знаю ответ: это когда так, как сейчас. Когда идет со мною рядом Таня, когда пахнет весной, когда впереди бесконечная и дьявольски интересная жизнь...

*Дорогой отец!*

*Получил твоё и мамино письма одновременно. Спасибо. Я понял, что ты понял. Но как быть с мамой? Как растолковать ей? Сумеешь ли ты? Попробуй все-таки объяснить.*

*Объясни, что я «ее ребенок» и оставить «ее ребенком» до пятидесяти, до семидесяти, до ста лет! По «ее». А для себя, для жизни я им уже быть перестал. Объясни, что я сам намерен строить свою жизнь, без помощи Анны Павловны, Бориса Аркадьевича, без ее помощи, да вообще без чьей-либо, кроме своей.*

*Объясни, что у людей меняются планы, меняются мечты. Я не хочу кончать Институт международных отношений, я хочу кончать воздушнодесантное училище; я не хочу ехать в Париж, я хочу ехать туда, где интересно служить, и не послом, а офицером. И жениться я хочу не на девушке, чье главное достоинство — положение ее отца, а на совсем иной, с иными, хотя, может быть, и непонятными для мамы достоинствами. Объясни ей, что я понимаю: она хочет моего счастья; но хорошо, если она будет его видеть таким, каким его вижу я, а не она. Ведь это МОЕ счастье.*

*У меня все прекрасно. Много занимаюсь спортом — парашютным, — по-моему, нет ничего увлекательней. Служба инте-*

ресная, я к ней привык. У меня здесь много друзей, и есть очень близкие.

Возможно, скоро меня ожидают всякие интересные события.

Имей в виду, отец, краснеть тебе, в случае чего, за меня не придется. Конечно, сейчас войны нет и, надеюсь, не будет, но служба есть служба, всякое бывает, и можно нести ее плохо, а можно хорошо.

Так вот, я несу и буду нести хорошо. И теперь, когда все условно, и, в случае чего, в бою.

Я понимаю, то, что я пишу, звучит немного напыщенно. И я вижу, как ты сидишь в халате, со своей трубкой и, улыбаясь, читаешь мое послание.

По у тебя там одна обстановка, одни настроения, у меня здесь — другие.

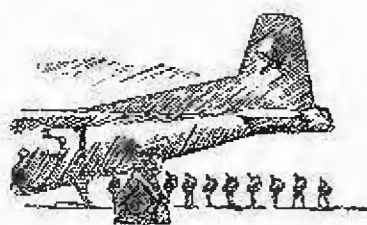
Так что не посмеивайся над своим чересчур серьезным сыном. А вообще-то я, как и был, веселый, только стихи писать перестал. Не получаются больше. Зато видел бы ты, как я черчу карты и схемы. Как художник!

Вот и все, кончается время, отведенное на сочинение писем, — это ведь не главное занятие в армии.

Поцелуй маму.

Обнимаю.

Твой Толик.



## Глава XXI

Ладейников возвращался в дивизию.

Иснадолго. Теперь он уже знал это. Предстоящее учение — последнее, которое они проведут вместе, он и его дивизия. Ну что ж, внутренне он уже давно был к этому готов. Просто надо взять себя в руки. Переключиться. «Переключиться!» Легко сказать. С одним близким человеком трудно расстаться. А с тысячами? Ведь все они, даже те, чьих фамилий он не ведает, даже те, кого он и в лицо не успел еще узнать, — все близкие ему люди...

Что ж делать. Армия не предприятие, здесь не работают по двадцать — тридцать лет в одном цехе, на одном заводе. Не

пройдет и двух месяцев — он будет по утрам входить в другой кабинет в другом городе. Служба будет продолжаться, только масштабы будут шире (ему уже сказали о новом ждущем его назначении).

Итак, все известно. Совместные учения «Фройденштафт» будут проходить на территории Германской Демократической Республики, в районе Вальдманруе. От его дивизии в них участвует один полк, усиленный артиллерийским дивизионом и ротой саперов.

В таком виде будет высажен десант. Он войдет в состав «северных».

Накануне Ладейникова вызвал к себе генерал Павлов из штаба ВДВ, только что вернувшийся из ГДР с места предстоящих учений.

Холерный, всегда идеально выбритый, элегантный Павлов, разложив перед собой карту, рассказывал. Учением руководит генерал Национальной народной армии ГДР Гофмайер. Он, Павлов, его помощник по применению десантов.

Схема розыгрыша боевых действий такова: «северные», прорвав оборону противника, стремительно наступают в направлении реки Хемниц, важной водной преграды на пути дальнейшего наступления.

«Южные» намерены, закрепившись на левом берегу реки, создать здесь оборону и задержать наступление «северных».

С этой целью они спешно перебрасывают из глубины резервы.

В сложившейся обстановке «северным» целесообразно применить десант. Это кажется очевидным. Но десант может быть применен двояко.

— Во-первых, — и генерал склонился над картой, — вот здесь. Его целью было бы захватить плацдарм на левом берегу, а также переправу — капитальный железобетонный мост. Задача — удержать плацдарм до подхода главных сил и удержать переправу для последующего форсирования реки. В этом случае десант не допускает к реке подошедшие резервы «южных». При условии, что они успеют подойти, — добавил он, помолчав. — Во-вторых, десант может быть сброшен в глубине полосы обороны противника с целью задержать резервы «южных» далеко от водного рубежа, в момент начала их движения, а может быть, даже и сорвать их формирование. Поэтому, — заключил Павлов, — следует предусмотреть возможность высадки десанта в двух местах.

— Надо подумать, — заметил Ладейников.

— Нам с вами надо предусмотреть любое изменение обстановки, — заметил Павлов. — Руководитель учений ясно подчеркнул — решать этот вопрос в деталях будет командир десанта, но мы должны поставить общую задачу. Генерал Гофмайер очень настойчиво повторял: решение принимают сами обучаемые, не подсказывайте, не намекайте, не навязывайте им свое мнение. Чем самостоятельнее будут действовать командиры, тем лучше, и желательнее, чтобы иногда они действовали в роли старших.

— Ясно... — задумчиво протянул Ладейников. В мыслях он уже был там, в районе учений.

— Вот так, Василий Федорович. Вы назначаетесь посредником при десанте. Поппаю... — он поднял руку, словно останавливая возражение Ладейникова, но тот молчал, — дело нелегкое: твоя дивизия, твой полк, твои командиры, а ты ходи и помалкивай. Они в лужу садятся — молчи, к волку в пасть лезут — молчи, теряются — молчи. Но у вас таких офицеров — знаю — в дивизии нет. Так что не беспокоюсь. И все же напоминаю: уж не говоря о подсказках, от явных демонстраций чувств и тонких намсков прошу воздержаться.

— Воздержусь, воздержусь, — проворчал Ладейников.

Павлов посмотрел на часы.

— В четырнадцать часов вылетаю на место учений, работы еще много.

Он откинулся в кресле. Перешел к неофициальной части беседы.

— Штаб руководства учениями работает давно. Мы уж там все вдоль и поперек изъездили. Река широкая и мост солидный, ничего не скажешь. Если он полетит, то форсировать будет нелегко. Силы и с той и с другой стороны большие. Но это тот случай, когда от гайки зависит ход всего механизма. В данном случае эта гайка — десант. Я лично считаю, что его успех на восемьдесят процентов обеспечит победу «северных», неуспех — победу «южных». Так что ответственность у ваших ребят — не позавидуешь. Какой полк полетит?

— Красина, — не колеблясь, ответил Ладейников.

— Как же, знаю, полковник Красин, — одобрительно заметил Павлов. — Это тот, который одинаково силен и в тактике, и в воспитании, и в подсобном хозяйстве, и в примирении поссорившихся супругов?

Ладейников рассмеялся.

— Да, он человек разносторонний. На учениях такие сюрпризы противнику преподносит, что тот потом неделю в себя

приходит. А с другой стороны, десантируй его в пустыню, на завтра он там казармы из кирпича выстроит и еще лес посадит и грибы в нем собирать будет. А уж что касается воспитания — второй Макаренко.

— Ну что ж, посмотрим, — Павлов помолчал. — Интересный разговор у меня был с Гофмайером, — продолжал он. — Приезжайте в район возможной высадки десанта. Смотрю, мрачнеет. Действительно, район — не бильярдный стол, разве что лузы есть: кругом ям полно, овраги, кусты жесткие, поле с носовой платок, рядом лес, ну и река. «Не смогут прыгать», — говорит руководитель и смотрит на меня. «Не беспокойтесь, товарищ генерал, возражаю, прыгнут». — «Да вы посмотрите на это поле, это же лунная поверхность!» — горячится. «Ничего, успокаиваю, в боевых условиях выбирать не придется — куда надо, туда и прыгнем, ну, а учения должны быть какими? Максимально приближенными...» — и улыбаюсь бодро. А сам думаю: да, нелегко ребятам придется. «Вы знаете, — говорит Гофмайер, — что в период учений ожидается пизкая облачность, ветер порывистый, сильный?» — «Знаю, товарищ генерал. Изучил условия. И все же могу вас заверить, все пройдет нормально!» — «Ну смотрите», — на всякий случай говорит, но вижу, доволен.

— А тот, другой район? — поинтересовался Ладейников. — Если командир полка решит десантироваться в глубине? Он как?

Уверенность и оптимизм Павлова, конечно, приятны, но прыгать-то придется его, Ладейникова, солдатам, и он испытывал беспокойство. Павлов словно прочитал его мысли.

— Беспокойтесь? Я тоже. В случае чего, в ответе ведь оба будем. Я в еще большем. А что касается того района, то он совсем трудный. Думаю, когда ваш Красин получит все данные о нем, он все же примет решение десантироваться на левобережье. А впрочем, он такой, что как раз...

— Да, он такой, — не без гордости согласился Ладейников. — Красин был его любимым командир полка.

Павлов снова посмотрел на часы и встал.

— Что ж, в ближайшее время пачинаем. Так что в добрый час, Василий Федотович. Жду вас с неба вместе с полком. — Он улыбнулся. — Счастливого приземления!

— И вам того же, товарищ генерал. Хотя мы на этот раз нейтралы, но в успехе десанта, думаю, вы заинтересованы не меньше меня...

Этот разговор вспоминал сейчас Ладейников, направляясь в дивизию. Он вспоминал этот разговор, но без конца возвра-

щаяся мыслями к своим солдатам, к полковнику Красину, к предстоящим им испытаниям. А вдруг Красин будет «выведен из строя»? И он начинал перебирать заместителей Красина, командиров батальонов, всех, кто по обстановке мог оказаться на его месте. Он даже прикинул на всякий случай командиров рот — чем черт не шутит. Пусть командир роты себя покажет! На учениях и не такое бывало. Васнецов, например, на него можно положиться. Суховат и, откровенно говоря, мнения о себе высокого. Так есть из-за чего — офицер великолепный. Скоро получит капитана, и надо бы представить на комбата...

Ладейников вздохнул. Представлять, если захочет, будет уже новый комдив.

И снова он обдумывал предстоящие учения. В его утомленном мозгу они приобретали решающее значение. Ему казалось, что это его лебединая песня. Он забывал, что идет на большое повышение. Он видел только свой полк, который отобран для этих ответственных учений среди многих других, тоже гвардейских, тоже заслуженных воздушнодесантных полков. Как справится, как покажет себя? И он представлял не расточительного на похвалы командующего. «Молодец, Ладейников! Настоящих бойцов оставляешь. Недаром выдвигаем тебя!» А вдруг нет? Вдруг не так? «Да, товарищ генерал, — скажет командующий, — столько лет дивизией командовали, а где результат? Нет его. Разве это десантники? А мы-то вас еще вперед двигаем. Поторопились...»

Ладейникова обдавало жаром, словно разговор этот проносился в действительности, а не в его голове.

Ну нет! Такого разговора не будет. Он недаром семь лет командовал (и пока еще командует!) этой дивизией и ручается за каждого ее офицера, каждого солдата, как за самого себя!

Ладейников стал по-деловому обдумывать предстоящую операцию. Прежде всего вызовет начальника политотдела. Скажет, что остановил свой выбор на Красине. Он не сомневался, что полковник Николаев одобрит. Но уж так повелось у них — все важнейшие решения комдив «сверял», как он выражался, со своим заместителем по политчасти, даже когда мог этого не делать. Далее организует, так сказать, неофициальный «инспекторский смотр». То есть обойдет подразделения, проверит, устроит одну-две тревоги, проведет во всех полках служебные совещания.

Конечно, он никого не обманет. Люди читают газеты, имеют опыт и догадываются, что к чему. Но наверняка и в других

частях живут в напряжении. Что ж, это не так плохо — мобилизует. А уж Красин — стреляный воробей, он мгновенно почувствует, куда ветер дует...

Комдив добрался домой поздно вечером и, не успев снять шинель, тут же позволил полковнику Николаеву, чтоб приехал. Почти до утра горел свет в окнах генеральской квартиры...

А через три дня, вскоре после отбоя, дежурные подняли свои подразделения.

«Рота, батарея, подъем! Тревога!»

Для них учения «Фройденштафт» начались.

Негромко, но четко звучали команды: «Посыльные за офицерским составом, марш!», «Опустить шторы!», «Первый взвод, выходи строиться!», «Второй взвод, выходи строиться!»

Опустились шторы, зажегся свет, один за другим согласно боевому расчету взводы разбирали оружие, противогазы, снаряжение...

Комсомольцы-активисты, выполняя свое комсомольское поручение, проверяли, не забыл ли кто чего, не взял ли чужое, так ли надел... Первый взвод Копылова бросился на склад за парашютами всего подразделения. Водители побежали в автопарк.

...Каждый раз на вечерней поверке старшина неукоснительно объявлял расчет по тревоге. «Водитель Ручьев, — гудел он, — по тревоге выводите боевую машину ко входу в казарму. Берете свой расчет. Водитель Гаврилин...»

Ручьев не слушал. Он уже наизусть знал не только каждое слово старшины, не только интонацию, с какой оно будет произнесено, он даже знал, что после «Ручьев» старшина сделает паузу, а после «казарму» бросит на него многозначительный взгляд. Но сейчас, когда он бежал во весь дух по слабо освещенным аллеям военного городка, звеня об асфальт сапогами, эти слова почему-то плясали у него в голове, без конца повторяясь, стуча в висках...

Обычная ночная тишина сотрясалась от рокота моторов, топота ног.

Ручьев испытывал удивительное чувство подъема, словно невидимые крылья несли его, — это было волнение, восторг, тревога, радость сбывшихся надежд, конец долгого ожидания. Вот оно! Настоящее! Главное!

Да он ли один? Все эти молодые ребята, что торопливо выбегали из дверей казармы, строились, иной раз, схватившись за голову, стремясь бросались обратно за забытой вещью, отставали и догоняли строй, все они испытывали то же самое.

...Запылавшись, весь еще дрожа от быстрого бега, Ручьев вел свою тяжелую машину по пыльным аллеям. У казармы в нее торопливо заезжают Дойников, Шукин, Сосновский. Повинуясь сигналам, она трогается в дальнейший путь. Одна за другой выезжают за ворота машины, орудия, грузовики.

А в небе весенние звезды освещают своим голубым, ровным светом гудящую колонну, что извивается на белом, убегающем в бесконечную даль шоссе...

Ровно гудел мотор, слабый свет выхватывал из темноты лицо Сосновского, изредка произносившего несколько слов в шлемофон.

Полк прибыл в заданный район и приступил к инвентаризации техники на парашютные платформы.

Полковник Красин вызвал командиров батальонов и приданных подразделений, чтобы поставить им задачу на боевые действия.

— За меня остается командир взвода Грачев. Я пошел к полковнику, — сказал Копылов и исчез в тени деревьев.

Лейтенант Грачев, замполит Якубовский, командиры взводов вновь и вновь проверяли снаряжение, оружие, а главное, как крепится на платформах техника.

Потные, раскрасневшиеся от натуги Сосновский, Дойников, Ручьев, Шукин, покрикивая друг на друга, а порой и чертыхаясь, заводили свою машину на платформу, монтировали парашютную систему, возились с натяжными устройствами.

Скрип тросов, сосредоточенное сопение, негромкие голоса, казалось, наполняли весь лес.

Полковник Красин, невысокий, чернявый, не был виден за широкими спинами окружавших его офицеров.

Он уже получил приказ командующего войсками «северных» на десантирование, данные воздушной разведки и наблюдения.

Все взвесил, принял решение и теперь отдавал приказ.

— На учениях действуют «северные» и «южные», — объявил он офицерам, молча взиравшим на него. — Мы — «северные».

Лицо его было жестким, сосредоточенным. В коротких, точных фразах он обрисовал обстановку, сообщил сведения о противнике, данные разведки.

— Капитан Сидоров, — Красин говорил негромко, и офицеры напрягали слух, чтобы расслышать, — вашему батальону десантироваться непосредственно у моста; два других батальо-

на захватывают выгодный рубеж — между лесом и железнодорожной станцией Кингбаум, сосредоточивая основные усилия в районе высоты у развилки шоссе, и не допускают подхода противника к реке. — Он помолчал. — Старший лейтенант Копылов, ваша рота с целью обнаружения наступающих резервов «южных» ведет разведку в трех направлениях. — Он указал в каких. — Задача: определить силы и состав, а также время подхода противника. Обратит особое внимание на танки. Удаление на двадцать пять — тридцать километров. Командиру саперной роты минировать возможные пути подхода неприятеля. — И здесь Красин подробно сообщил какие. — Держать связь со мной по радио. Мои заместители — подполковник Лобов и командир первого батальона Рубцов.

Отдав приказ, Красин обвел всех внимательным взглядом. И вдруг лицо его мгновенно переменилось. Оно сделалось лукавым, даже хитрым. Улыбаясь, он подмигнул офицерам.

— За работу, хлопцы! Бегом!

Офицеры направились к своим подразделениям, а полковник к штабной машине. Уж если и предстояла кому еще работа, так это ему.

Ночью лес вновь наполнился ревом моторов.

Десантники выдвигались на аэродром для погрузки.

Аэродром находился недалеко, по другую сторону леса, на сравнительно узком поле, зажатом между зелеными массивами. Над ним висел ровный могучий гул.

В предрассветных сумерках самолеты чернели огромными тушами, словно какие-то доисторические, тяжело дышащие чудовища причудливой формы.

От лесной опушки к ним тянулись бесконечные цепочки десантников, подвозились платформы с машинами и орудиями. Но вот взревел первый самолетный мотор. Он словно прорвал ночь, стало немного светлее. Еще мотор, еще...

Одна за другой тяжелые машины выруливали на старт, куда-то далеко, в невидимый конец поля, брали разгон и с ревом взмывали в черное небо. Рев слабел, но на смену ему приходил новый, и так без конца. Без конца взмывали и исчезали самолеты и, выстроившись где-то там, в черном небе, уходили по трое в свой далекий путь.

Текли минуты, ревели моторы, и вдруг все смолкло. Последний самолет покинул аэродром; звук его замер вдали, и теперь от леса до леса, над всем полем нависла звонкая тишина.

А в черном, густом небе самолеты продолжали полет.

В гермонабине на стеганых лежаках сидели Сосновский, Щукин, Ручьев, другие десантники. За черневшим в двери иллюминатором простиралось необъятное чрево самолета, там дремали боевые машины в ожидании своего часа. Темнела ночь за окном, лишь кое-где пробитая редкими звездами.

— Бй-богу, — прошептал Дойников, — как у кита в брюхе сидим...

— А ты там был? — раздался из тишины насмешливый голос Кострова.

— Где? — не понял Дойников.

— У кита в брюхе...

Кто-то фыркнул.

Наступила тишина.

— До чего здорово, ребята! — снова заговорил Костров. На этот раз его обычно громкий голос звучал приглушенно. — Летим на настоящее дело. Это ведь тебе не что-нибудь! Это такие учения, будь здоров! В ГДР! Интересно вообще-то, как там...

— Как везде, — рассудительно произнес Сосновский. — Можно подумать, ты историю с географией не изучал, не знаешь...

— Нет, все-таки, — не унимался Костров, — ну что там, например? Дожди идут?

— Бойшься промокнуть? — поинтересовался Дойников. — Зонтик не забыл?

Раздался смех.

— Прилетим, увидим, — философски заключил Сосновский.

Ручьев не участвовал в этом разговоре. Мысленно он представлял себя в ГДР. Он много раз и раньше представлял себя за границей. И каждый раз в парадной, расшитой орденами, вручающим верительные грамоты (или хотя бы присутствующим при этом). Представлял рауты, приемы, беседы, конференции, сложные переговоры.

Видел себя послом.

И вот он впервые летит за границу. На нем не фрак, а комбинезон, руки покоятся не на папке с грамотой, а на запасном парашюте. Он не дипломат, он солдат. И все же он посол. Больше того, посол одной союзной державы в другую.

Скоро он окажется на земле, будет бежать в атаку, окапываться, «стрелять». Рядом с ним будут такие же, как он, ребята, но в другой военной форме и говорящие на другом языке. И все же это его друзья. И если на его или их землю придет враг, они будут вместе.

Мерно гудели моторы, за окном расплзался рассвет. Тени в кабине бледнели. Солдаты дремали, кто-то даже тихо храпел.

Ручьев посмотрел в иллюминатор. Далеко внизу лежала еще темная земля, но уже различались светлые ниточки дорог, мигали рапные огоньки.

Самолеты, словно связанные невидимыми тросами, летели так же ровно, не отдаляясь, не приближаясь друг к другу.

Ручьеву не хотелось дремать. Наоборот, он чувствовал какую-то особенную ясность в мыслях, прилив сил. Он боялся упустить даже крупную новую увлекательных впечатлений, утратить ее где-нибудь на пути. Его товарищи, мирно дремавшие рядом, летчики, заглядывавшие порой в кабину, светлевший пейзаж за окном — все приобретало особую значительность.

Теперь горизонт золотел, розовел, должно быть, скоро из-за его дальних очертаний покажется солнце. «Прыжок на заре», — подумал Ручьев и снова поглядел в иллюминатор.

Внизу темнели массивы лесов, светлели поля, кое-где неподвижными свинцовыми пятнами покоились озера...

В кабине появился бортмеханик, и через открытую дверь донеслись голоса летчиков, переговаривавшихся по радио с землей.

Бортмеханик молча остановился на пороге, оглядел десантников. Он так ничего и не сказал и, постояв с минуту, нырнул обратно в кабину летчиков. Но все поняли — решающий миг близок.

Солдаты зашевелились, кое-кто встал, поправляя снаряжение. Поглядывали на часы; сняв плечи, приглаживали короткий ежик волос.

— Следующая конечная?! — не то спрашивая, не то утверждая, преувеличенно бодро воскликнул Костров.

— Тихе ты, — зашипел Щукин. — Дойникова разбудишь. Старший лейтенант приказал, пока Сергей не проснется, задерживать выброску, не тревожить сон дитяти.

— А я вовсе и не сплю, — сказал Дойников, не открывая глаз, — я мыслю.

— Тем более, — проникновенно сказал Щукин, — такое редкое у тебя состояние. Это же надо беречь. Храпите! Дойников мыслит!

— Ну и много ты намыслил? — поинтересовался Хворост.

— Много, — ответил Дойников и открыл глаза. Огромные, голубые, они смотрели на мир ласково и доверчиво. — Например, что стал ты, гвардии рядовой Хворост, почти человеком. Благодаря чуткой помощи боевых товарищей, и прежде всего

Сергея Дойникова. А кем был? Даже страшно произнести...

— Ну, ты, полегче, ангелок, — проворчал Хворост. — А то...

Но в этот момент дверь в кабину летчиков открылась.

— Через пять минут, — сказал бортмеханик и оглядел десантников.

Началась обычная деловая суeta. Проверили друг у друга подвесные системы, хорошо ли закреплено оружие и снаряжение, застегивали шлемы.

Бортмеханик проследовал в грузовой отсек.

Самолет пошел на снижение.

В кабине стало темней. Ручьев в последний раз посмотрел в иллюминатор — кругом крутились белые облака. Такой низкой облачности при прыжках ему еще не приходилось видеть. Судя по движению словно бы ватных, бешено крутящихся шаров, ветер тоже был куда сильнее обычного.

На мгновение сердца коснулся холодок — не отменят ли десантирование? Есть же нормы, инструкции. Вдруг пельза?

Он с тревогой посмотрел на товарищей и прочел в их глазах ту же тревогу.

В этот момент резко и неожиданно загудела сирена, в грузовой отсек хлынул молочный, отраженный облаками свет: люк открылся.

Солдаты торопливо поднимались.

Снова заревела сирена, теперь прерывисто, требовательно; вдали засияла зеленая лампа.

И в то же мгновение одна за другой тяжелые машины со свистом исчезли в огромном проеме люка. Десантники побежали вслед.

Через несколько секунд Ручьев уже вырл в мутно-белый омут, навстречу ветру, навстречу земле...

Когда облака остались выше и парашют плавно понес его вниз, он наконец огляделся.

Под ним простиралось поле, вернее, большая, окаймленная лесами поляна. Она поросла кустарником, на ней зияли ямы, словно заросшие травой воронки, во всю длину тянулся овраг.

Не лучшее место для приземления. К тому же прерывистый сильный ветер дул не переставая.

Ручьев управлял стропами, скользил, стремясь повернуться спиной к ветру, найти на этом изрытом ямами поле ровную площадку.

Еще десять секунд, пять, и наконец он опустился на твердую, пахнущую сырой травой землю.

Что ждало его на этой земле?



## Глава XXII

Крутов отодвинул пустую, далеко не первую рюмку, заковырал в тарелке. Отбросил вилку.

Пустым взглядом он продолжал смотреть на улицу. Он прилетел утром, а его помощники должны были прибыть позже — один поездом, другой машиной.

...На этот раз задание было исключительно серьезное, и выполнить его надлежало не агенту-марионетке, а Крутову самому, лично. Без дураков.

...В тот же день тайным и далеко не надежным путем, с помощью «друзей» предстояло перейти границу Германской Демократической Республики. Это уже задачка! Пограничники не дремлют, риск огромный.

И все же дальше будет еще трудней! Если б речь шла о простой диверсии — поезд пустить под откос, куда-нибудь бомбу подложить — еще ладно. Но то, что предстояло совершить Крутову и его помощникам, не было простой диверсией.

Здесь требовалась ювелирная работа. Недаром выбор пал на него, крупнейшего мастера черных дел. Во-первых, район учений — это не курортный городок, там не очень-то разгуляешься по улицам с бомбами и пистолетами в руках; во-вторых, следовало обнаружить именно советские части, проследить за их маршрутами, переездами, выбрать подходящий поезд — уже не просто риск, а риск смертельный. Но и это было лишь подготовительной частью; оставался пустяк — пустить поезд под откос...

Да, размышлял Крутов, если все удастся, то обещанные (немалые, спору нет) деньги послужат не такой уж большой наградой.

Эх, отказаться следовало, отказаться...

Отказаться! Крутов некоторое время поиграл с этой мыслью, как кошка с мышкой. Как будто он мог отказаться! Как будто он не знал, что каждое предложение с неизменной оговоркой «учти, дело добровольное» — приказ, который нельзя не исполнить. Попробовал бы! Уж он-то хорошо знал, чем кончались такие отказы. Он ведь не пешка, сам приказывал и сам что-то там говорил про «добровольность». Дело не в этом. Дело в другом: как выполнить задание с минимальным риском?

Кое-что Крутов придумал. Изучил карты, расписание поез-

дов, отчеты газет об учениях. Сверил, сопоставил — помог долгий, многолетний опыт. И решил.

Есть там, недалеко от станции Кингбаум, большой железнодорожный мост, единственный во всем районе. Наверняка возле него какие-то события разыграются: он еще не читал вечерних газет, может, уже и сообщения есть. Надо добраться до этой проклятой станции. И где-нибудь пританься, поближе к полотну. Там густые леса, ночи еще темные...

Кингбаум почти за границей района учений — меньше войск, меньше бдительности. Надо дождаться подходящего поезда. Рано или поздно какое-нибудь начальство да послед. Может, дрезина, или вагон, или спецсостав. Словом, там видно будет.

...В полночь добрались до окраинного дома, в десятке метров шла пограничная полоса. Переправлялись долго, трудно, подземный ход был темным, низким. Ползли на четвереньках, стучаясь головой о доски, натирая колени. Пахло сырой землей, плесенью. Ходом давно не пользовались. По ту сторону границы их никто не ждал; те, кто когда-то обеспечивали встречу, ныне отдыхали за решеткой. Спасибо еще, что про ход ничего не рассказали. А может, рассказали? Первым полз Черный (своих помощников Крутов называл Черным и Белым, по цвету волос). За ним Крутов. Замыкал шествие Белый, тащивший на буксире тяжелый мешок. Долго, затаившись, сидели у выхода, сквозь кучи прелых листьев, сухих полустгнивших ветвей кустарника наблюдали, прислушивались, нет ли засады. С пеходевиным сердцем выбирались, перебежали от дерева к дереву, от куста к кусту. Спотыкались в темноте, лежали, прислушиваясь к бешеным ударам в груди, вставали, бежали дальше...

Наконец успокоились. Кажется, обошлось. Вытерли пот, распахивали мешок, вынули ружья. А мешок закопали в кустах.

Теперь по лесу брели трое охотников, с двустволками в руках, с сумками, патронташами, рюкзаками.

Они могли предъявить почти настоящие охотничьи билеты и разрешения, вполне приличные для поверхностной проверки документы. Для полноты картины не хватало только собаки...

Карта, компас, бинокль. Что же, в арсенале охотника это, в общем-то, объяснимые вещи.

Сезон охоты в разгаре, таких, как они, тут десятки.

День провели в Зоненберге, отсыпались в сельском отеле, герб отеля нашили на рукав, рядом с полдюжиной других. Поговорили с портье об охотничьих местах и по его же совету ночью двинулись в путь.

К утру были на месте, в глухом лесу между горой и болотом. Забрались в чащобу, настелили веток и легли спать, что волки в поре, на весь день, по очереди бодрствуя на всякий случай.

Вечером провели разведку, добравшись почти до станции. От присмотренного ими убежища до железной дороги было километра три. Справа возвышалась лесистая гора, слева густой лес, переходивший далее в огромное, бескрайнее болото. Железная дорога, мпював мост, проходила мимо горы, леса, болота, убегала на юг. У подножия горы, ближе к лесу, находилась станция и поселок Кингбаум, лесопилка, какой-то заводик с высокой трубой. По другую сторону дороги, за станцией, простиралось длинное, изрытое ямами и оврагами поле, зажатое между двумя лесными массивами, один из которых нависал над рекой. Другой массив прорезали шоссейные дороги.

Там был район учений. Граница его проходила вдоль железной дороги с ближней к убежищу Крутова стороны.

Вот на участке дороги между болотом и лесным массивом и выбрал Крутов место для совершения диверсии. Здесь путь слегка, еле заметно сворачивали, но наметанный глаз Крутова сразу определил, что и этого небольшого поворота достаточно, чтоб поезд полетел с насыпи. Взрыв не потребует, хватит развинтить гайки.

Навелись на станцию. Посмотрели расписание: поезда ходят часто. Проследили за обходчиком, установив часы обходов. Заметили себе местечко у болота, где можно укрыться.

Словом, все было готово, оставалось ждать.

Ждать и надеяться, что не ошиблись.

А вдруг на этом участке ничего не произойдет? Или учения будут проводить не советские войска, а войска Народной армии? Или никто не воспользуется поездом?

Время шло, пытаться всухомятку было малоприятным делом, но другого выхода не оставалось.

Когда тревога стала все больше и больше охватывать Крутова, ему наконец повезло: на рассвете, обследуя гору, он наткнулся на тщательно замаскированный и подготовленный наблюдательный пункт.

Он был слишком опытен, чтобы не понять — пункт для руководителей учений.

Отсюда открывался великолепный вид. Как на ладони представляла железная дорога, шоссе, разветвлявшееся у небольшой высоты и уходившее в леса, и сами эти леса, терявшиеся за горизонтом, и река, и мост, и изрытое ямами поле.

Сомнений быть не могло. Здесь, на этом поле, в этих лесах, должно быть разыграно какое-то важное «сражение». Кто-то, видимо, будет форсировать реку или брать мост, кто-то обороняться.

Крутов вздохнул с облегчением. Первое сомнение отпало. Но кто? Кто здесь будет «воевать»?

Его помощники уходили километров на десять — пятнадцать на запад и охотились там по-настоящему, жгли костры, жарили дичь, приносили в убежище.

Выстрелы охотников в этих местах не были одиночными. То и дело доносились сюда гул орудийной стрельбы, стук автоматов, взрывы, пулеметная дробь — учения «Фройденштафт» шли полным ходом.

В тот вечер Крутов засыпал трудно. Белый, дежуривший первым, неподвижно сидел, прислонившись к стволу старого кряжистого дуба, и курил, его напарник спал, завернувшись в плед. А к Крутову сон не шел. Заложив руки за голову, устремив взгляд к черному, редкозвездному небу, он размышлял.

Под ухом тикали часы, и Крутову думалось, что с каждым еле слышным постукиванием уходила жизнь. Еще десять... двадцать... тридцать раз стукнет балансир, и еще десять... двадцать... тридцать секунд крутовской жизни уйдут в прошлое. Невозвратно, бесповоротно. Можно умолять, грозить, отдавать миллионы или стрелять, ничего не поможет — часы будут отсчитывать секунды жизни, и даже если раздавить их, остановить — невидимые и неслышимые секунды будут уноситься в небытие.

Все бессильно перед временем. Выстави против этих крохотных часов паровой каток, танк, бронепоезд — не одолеют, отступятся...

Чего только не изобрели люди: электронный мозг, космический корабль, атомный ледокол, сердце пересаживают, а время остановить не умеют.

Да и нужно ли это останавливать? Зачем? Это люди умирают, приходят, уходят, а человечество бессмертно, оно-то никогда не умрет...

Ну и что? Плевать ему на человечество! На его вечность. Главное, он, Крутов, главное, его жизнь, пусть крохотная, пусть мимолетная, пусть как вспышка спички по сравнению с бесконечным святилищем человечества. Но это ЕГО жизнь. Она важнее всего, и если она угаснет, то с ней угаснет для Крутова и вся жизнь на земле.

Значит, надо беречь свою жизнь. Раз она так коротка, так

хрустка, как же ее надо беречь! Как лелеять, как охранять! Надо прожить эти быстротечные, отпущенные человеку годы жадно, от пуза, хватая все, что можно схватить, все деньги, всю водку, всех женщин. И если для этого придется перегрызть другому глотку, столкнуть его в пропасть, что ж, значит, тому, другому, не повезло, значит, отпущенная на его долю жизнь оказалась короче.

Ничего нет на свете, ради чего стоило бы эту жизнь отдавать, «жертвовать собой», как выражаются дураки. Ничего! Ни родины, ни города, ни человека, ни клада, ни веры. Ничего! Главный клад у человека — жизнь, и ее надо сохранить во что бы то ни стало! Потому что больше отпущенного тебе не проживешь...

А может, проживешь? Вот великие мыслители, писатели, государственные люди? Герои? Они вершили свои дела десятки... сотни, даже тысячи лет назад, а их не забыли. Да что там... Гастелло этот ихний или Матросов разве не живут? Живут! Живут на своей родине как свои, как близкие среди миллионов людей. А он, Крутов? Кто его знает? Кто его помнит? Но он же жив! Жив, вот он тут, из мяса и костей. Но кто из них живей — те, хоть и давно в могилах, или он, что ходит по земле?..

И потом время, раз его нельзя остановить, так зачем пытаться? Вот он, Крутов, чего старается? Ведь не остановишь того, что наступает, как не остановишь весны после зимы. К чему все эти «операции», «акты», вся эта мышьячая возня? Чему она помешает, что задержит? Убьет он одного советского генерала, на его место придут другие, а время все так же будет идти вперед и даже не заметит, что где-то там, под ногами, еще дрыгается в предсмертных судорогах этот червячок Крутов...

Так размышлял он, лежа без сна, в этом чужом, черном лесу, вдалеке от милых краев, где даже темной ночью светятся своим чарующим светом березы, где и лесные ароматы, и деревья, и почные звуки, и само небо другие.

Нет на свете второго такого неба, как небо родной стороны...

И там он уже не будет никогда. Никогда не будет звучать вокруг русская речь и звенеть русские песни, и не будет настоящих русских людей, ведь тех, что теперь рядом с ним, вроде этого Черного или Белого, он и за людей не считает. Так зачем тогда жизнь? Та самая, которую чудовищной ценой удалось сохранить, которую надо беречь и лелеять... Наверное, все-таки не любая жизнь важна и драгоценна. Наверное, жизни разны, и бывает такая, за которую нечего и держаться.

И стоят ли все годы, прожитые им, Крутовым, после прожитого того часа в обгорелом фронтовом лесу, и все другие годы, которые ему еще, коли повезет, остается прожить, тех немногих, но золотых лет, что успел он прожить дома?

Вот в чем вопрос. И не так-то просто ответить на него.

Решиться ответить...

Крутов так и не заснул в ту ночь. Он видел, как, растолкав Черного, Белый улегся спать, как его папашник, кряхтя и зевая, поднялся, прошепелся, чтоб размять ноги, глотнул виски из фляги, закурил, прикрыв сигарету рукой.

Он видел, как стало светлеть небо, как побледнели, погасли редкие звезды. Потом зазолотились верхушки деревьев. Подул холодный утренний ветерок, раскачивая тяжелую листву, скрипя ветками. Заголосили, примолкли, снова заголосили какие-то птички. Донесся паровозный гудок...

Потом небо потемнело, его затянули низкие, пригнанные ветром облака.

А ветер гудел в верхушках деревьев, и гуденье его становилось все громче, под него хорошо засыпалось. Крутов закрыл наконец глаза.

И тут же открыл их. Черный тряс его за плечо.

— Летят, — прошептал он.

Как всегда, соприкосновение с Крутова сметала мгновенно. Он продолжал лежать неподвижно, но весь напрягся, словно хищник, готовый к прыжку. Чувства были обострены, глаза ясно видели крохотную белку в десятке метров над ним, в густых дубовых ветвях; слух мгновенно определил характерный гуд: летели самолеты, тяжелые, транспортные.

Десант! Это летел десант! Крутов вскочил. Мгновенно он стоял, оглядывая деревья. И неожиданно, скинув охотничью куртку, торопливо полез на ближайший ствол.

Он карабкался ловко, бесшумно, умело подтягивая свое большое, грузное тело сквозь переплетение веток. Сжав зубы, тяжело дыша, он поднимался все выше и выше.

Внизу Черный и разбуженный им Белый с удивлением поглядывали вверх, туда, где в зеленой листве исчез их начальник.

Добравшись до верхушки, Крутов огляделся. Он не ошибся. Выбранное им дерево было одним из самых высоких, и с того места, где он находился, открывался широкий горизонт: во все стороны, куда хватал глаз, уходили леса, и только перед ним, тоже покрытая лесом, возвышалась гора. Это за ней проходила железная дорога, а еще дальше начинался район учений.

Здесь, на высоте, ветер дул сильнее, старый дуб скрипел, сильно раскачивалась и ветка, на которой сидел Крутов.

Он пожалел, что бинокль остался внизу, но спускаться за ним не стал.

Гул в небе все нарастал, облака скрывали самолеты. До боли в глазах вглядывался Крутов в бело-серые плотные валы, стремительно плывшие над ним.

И вдруг замер.

Из облака выскользнула черная точка и стала медленно опускаться, над ней белел парашют; вторая точка, третья, четвертая... Вскоре все небо перед ним, все видимое пространство пестрело этими черными точками, будто дождь темных капель.

Крутов сразу оценил стремительность десанта, высокое искусство и подготовленность парашютистов. При такой облачности, при таком ветре!

Он поймал себя на странном чувстве. Что это, восхищение? Гордость? Гордость за этих людей, среди которых когда-то было и его место? Мысль о том, что десантироваться могли части Народной армии, а не советские, не приходила ему в голову. Всем нутром он чувствовал, что это «свои». Свои? Крутов встряхнулся. Да что он, с ума сошел, что ли!

Но Крутов не мог оторвать взгляда от этого парашютного снегопада, от этих сотен людей, что возникали из облаков и приземлялись где-то там, за горой, на невидимом ему поле.

Крутов еще долго сидел на дереве после того, как опустился за горой последний белый купол и исчез вдали самолетный гул.

Он вытер рукавом глаза, слезившиеся, наверное, от холодного ветра, зло сплюнул и медленно, тяжело начал спускаться.



## Глава XXIII

То, чего не мог рассмотреть из-за горы Крутов, отлично видели со своего наблюдательного пункта генералы и офицеры из штаба руководства, собравшиеся сюда, чтобы присутствовать при выброске десанта.

Они появились здесь час назад.

Забегали адъютанты, посыльные. У входа в наблюдательный пункт был воткнут белый флаг.

Связисты тянули провода, тарахтели машины. Часть офицеров прибыла специальным поездом до станции Кингбаум, и в гору они поднялись пешком.

Постепенно шум затих. Настала напряженная тишина. Генерал Гофмайер хмурился.

— Вы видите, какая облачность? — повернулся он к Павлову, невозмутимо поглядывавшему на небо.

— Визу, товарищ генерал.

— А ветер? Вы запросили скорость ветра?

— Запросил, товарищ генерал.

— Командир десанта, полагаю, имеет все эти сведения?

— Несомненно, товарищ генерал.

Павлов не нашел нужным докладывать руководителю о тех напряженных переговорах, которые до последней минуты шли по радио между ним, синоптиками и летевшими в самолетах Ладейниковым и командиром десанта полковником Красиным. Это была их внутренняя десантная кухня.

Разговор оборвался. Через минуту издали допелся еле слышный рокот моторов.

Общая обстановка на учениях складывалась так, как и предполагалось.

Прорвав фронт на широком участке, мотоколонны и танки «северных» стремительно двигались на юг, к реке Хемниц. Им во что бы то ни стало надо было достигнуть противоположного, левого берега до того, как «южные» сумеют закрепиться на этом берегу.

Ввиду того что через реку в полосе наступления имелось еще три моста, два из которых были «взорваны», железнодорожный и мостовый мост в районе станции Кингбаум приобретал особое значение. Да и берега здесь представляли наибольшие удобства для переправы; в других местах они были круты и обрывисты, а для танков вообще недоступны.

Поэтому основные силы «северных» с максимальной быстротой приближались к Кингбауму.

Но все это понимали и «южные». Наскоро сформировав в тылу довольно крупные резервы, они бросили их в район прорыва, направив острие контратаки все к тому же Кингбауму. Им необходимо было разрушить мост и закрепиться на левом берегу реки до выхода к ней противника. И потому, без отдыха и остановок, направляя все силы, мчались обе стальные лавины навстречу друг другу.

Это напоминало стремительный бег двух футболистов — вратаря и нападающего — к оказавшемуся между ними, где-то

на штрафной площадке, мячу. Тот, кто первым достанет его, тот и выиграл схватку.

Но поле боя не футбольное поле. Здесь другие законы и другие пути.

«Северные» применили десант.

Разумеется, «южные» предвидели такую возможность. Их авиация не дремала. Однако погода в то утро, когда полк Красина появился над рекой, была неблагоприятной для десантирования: ветер, облака делали, согласно всем классическим понятиям, выброску парашютистов маловероятной.

Но классические понятия порой опрокидываются людьми. Так произошло на этот раз. Когда «южные» поняли это, авиации вмешаться было уже поздно.

Расчет показывал, что «южные» должны добраться до реки приблизительно на сутки раньше «северных».

И теперь все зависело от десанта.

Сумеет ли Красин выбросить своих людей и технику на узкое, изрытое и неудобное поле между лесами так, чтобы не развеялись они по этим лесам, не застряли в оврагах и ямах, чтобы быстро собрались и приступили к выполнению боевого задания?

А главное, сумеют ли десантники выполнить это задание, то есть занять оборону и сдерживать яростное наступление неизмеримо превосходящих сил противника? Те самые сутки, которые как воздух нужны были «северным», чтобы подойти к реке и переправиться через нее?

«Южные» — бесконечные колонны машин, танков, бронетранспортеров, ракетных и артиллерийских установок — мчались по шоссе, по дорогам и просто полями к реке.

Командир десанта мог противопоставить им не так уж много с точки зрения огневой мощи.

Его главным оружием были искусство, мужество, стойкость десантников, правильный выбор позиций и действий.

На это в первую очередь полагался Красин. На это же полагался и командир сил прорыва «северных» генерал Национальной народной армии ГДР Рутенберг.

Возглавлявший авангард «южных» полковник Гледков хорошо знал, что такое «голубые береты», и не строил себе иллюзий относительно легкости предстоящего сражения. Ведь его задача заключалась не просто в том, чтобы раздавить десант, а в том, чтобы сделать это за сутки.

Ох, какая непростая задача!

...И еще один человек наблюдал за приземлением десантни-

ков. То был генерал Ладейников, приземлившись одним из первых. В комбинезоне и шлеме, с широкой белой повязкой на рукаве, он стоял у опушки леса, задрав голову и не спуская глаз с покрывавших небо белых куполов.

Вот они, его ребята! Вот они в деле! Павлов Павловым, Красин Красным, по в конечном итоге все понимали, что решающее слово было сказано им. Он, в сущности, принял решение о выброске. Несмотря на тучи, несмотря на ветер, несмотря на это «лупное» поле, на котором он теперь стоял. И спроси его еще двадцать раз, он все двадцать ответил бы так же.

Он-то знал, что такое война. А если б то, что происходило сейчас, происходило на войне? Разве можно сравнить потери, которые понес бы (а может, и нет) десант при выброске, с теми, которые понесли бы главные силы, штурмующие левый, занятый противником берег?

Так ведь это не война, могли возразить ему, а учения. Порой на войне уничтоженный полк — неизбежная жертва в ходе большой операции, а здесь сломанная нога — чрезвычайное, недопустимое происшествие!

Но кто бы стал так возражать. Генерал Гофмайер? Генерал Павлов? Полковник Красин? Уж они-то понимают значение подобных учений. Кто б из них согласился сказать солдатам: «В бою еще не в таких условиях придется прыгать, а здесь маневры, погода неважная, так что поворачивайте обратно, а то еще с этим встречным ветром опоздаете на обед». Кто?

Здесь идет бой. Хоть условный, но бой. И пусть действуют, как в боевых условиях.

А парашютисты между тем один за другим опускались на землю, катились по ней или упирались, хватаясь за куст, а иной раз оставались на ногах.

Проходили секунды, и, отстегнувшись от подвесной системы, они стремительно бежали, каждый к своей цели. В разных местах поля, сливаясь с его неровной зеленой поверхностью, неподвижно возвышались платформы с машинами и орудиями.

Ручьев мчался к своей машине, догнав на пути Дойникова.

Они бежали быстро, но размеренно, глядя под ноги, избегая ям, перепрыгивая через мелкие кусты и кротовые холмики.

— Ребята, эй, ребята! — услышал Ручьев чей-то натужный голос. Он обернулся.

Возле одной особенно большой ямы возились десантники третьего отделения. Их машина приземлилась на самом краю

ямы, опасно накренившись. Втроем они никак не могли выпрямить платформу.

Ручьев и Дойников, не говоря ни слова, подбежали к платформе, откуда-то выпрыгнул четвертый, оставший боец отделения. Подбежали еще двое. Поднажали. Платформа выпрямилась, стала ровно. И те, что были из других отделений, побежали дальше. В благодарностях никто не рассыпался. Никогда. И как иначе? Пройти мимо? На всем этом поле, среди всех этих людей вряд ли хоть у одного могла мелькнуть такая мысль.

А что время затрачено, что теперь надо бежать быстрее, это очевидно. И Ручьев помчался что есть силы, слыша за собой частое дыхание Дойникова.

Вот и машина. Сосновский и Щукин уже суетятся вокруг. Прибежавшие включаются в работу, торопятся наверстать опоздание.

Наконец машина съезжает с платформы, захлопывается крышка люка, Сосновский смотрит на часы — с момента приземления считанные минуты. Неплохо. Но могло быть лучше. Сосновский всегда считает, что могло быть лучше.

— «Ландыш-один», я «Ландыш-два», я «Ландыш-два»! — говорит он в шлемофон.

В ответ слышится потрескивающий голос Копылова:

— Я «Ландыш-один», я «Ландыш-один», «Ландыш-два», вам двигаться в направлении юг — юго-запад, азимут двадцать пять градусов, между лесными массивами. Ориентир — слева железная дорога, справа развалины мельницы на холме. Задача: обнаружить передовые подразделения наступающего противника, вести скрытое наблюдение и установить их силы. Особое внимание обратить на танки и направление их движения. Удаленность двадцать пять — тридцать километров. Обо всем докладывать мне. Выполняйте!

— «Ландыш-один», вас понял, — отвечает Сосновский. — Приступаю к выполнению. — И командует: — Вперед!

Ручьев молча включает скорость. Тяжелая машина, подпрыгивая и дрожа, устремляется по неровному полю вперед.

Тем временем полковник Красин не теряет минут даром. Дозоры роты Копылова ушли по шоссе и полю, скрылись из глаз. Саперы уже минируют дороги и лесные промежутки; артиллеристы, пушковые, потные, отрывают позиции для орудий, натягивают маскировочные сетки.

Вдоль опушки окапываются батальоны.

Работа идет всюю, быстрая, спорая, привычная.

На своем командном пункте полковник Красин располагается, как всегда, по-хозяйски. Стенки оплетают хворостом, устанавливают раскладные столы, укрепляют ступени, по дну прокладывают мостки (а вдруг дождь?).

Рядом с ним старший посредник — генерал Ладейников и участковый посредник — генерал Народной армии, в петлице его серого плаща посреднический знак, небольшой красно-белый флажок, такой же флажок и у пунктовых посредников — на переправе и на поле — тоже офицеров Народной армии.

Красин действовал уверенно. Маленький, раскрасневшийся, он выкрикивал в микрофон свои команды, кого-то распекал, кого-то подбадривал, шутил. На посредников он не обращал ни малейшего внимания. Лишь изредка Ладейников ловил на себе его тревожный, внимательный взгляд. Красин торопился, все время подстегивал комбатов, командиров дивизиона и саперной роты. Ставил задачи, отдавал приказы.

Особенно настойчиво он инструктировал командира первого батальона, частенько объясняя ему задачи и второго батальона.

Ладейников улыбнулся. Он понимал Красина. Каждую минуту тот мог ждать «гибели». Скажет старший посредник: «Командир полка убит, командование переходит к командиру первого батальона!» И все. И Красин отойдет в сторонку, станет наблюдателем, зрителем, «курортником», как выразился генерал Павлов.

Вот он и торопился осуществить принятые решения, довести до своего возможного преемника свои мысли, планы, предположения.

И вдруг Ладейников нахмурился. Это никак не годилось! То ли в спешке, то ли от невнимания Красин допустил ошибку: оставил без присмотра еще одно, хоть и не приметное, но вполне реальное направление, на котором мог появиться противник: зажатую между болотом и лесом железную дорогу.

Ладейников покосился на участкового посредника. Тот стоял рядом и внимательно разглядывал именно этот участок. Опустив бинокль, повернулся к Ладейникову, чуть заметно улыбнулся.

Они поняли друг друга.

Ладейников помрачнел еще больше. Вот черт. Уж кто-кто, а Красин не должен ошибаться. Эх, сказать бы ему пару теплых слов, не будь этой белой повязки на рукаве! Как дать понять? Никак! Пусть пеняет на себя. Нет, теперь я его не «убью», злобно рассуждал Ладейников. Теперь пусть сам

выходит из положения. А то будет за него комбат один расхлебывать. Заварил кашу...

Ладейников пакручивал себя, потому что особенной «каши» никакой не было. Возможно, даже Красин отчасти видел, что противник может атаковать вдоль железной дороги, но просто пренебрег этой опасностью, считая ее маловероятной. У него и так каждый человек на счету, в крайнем случае перебросит что-нибудь, залатает прореху. Но Ладейникова такое рассуждение не устраивало, и он продолжал ворчать про себя.

И... не выдержал.

— Доложите обстановку, товарищ полковник, — обратился он к Красину, не поворачивая головы.

«Товарищ полковник» мгновенно насторожило командира десанта. «Товарищ полковник» — значит, что-то не так. Однако, как всегда точно и кратко, он начал доклад.

В тот момент, когда он произнес: «...на возможных направлениях атаки противника произведено минирование и высланы дозоры...», Ладейников, до того молча слушавший, неожиданно перебил:

— На всех возможных направлениях?

Красин замолчал. Он был слишком опытный командир, чтобы принять вопрос за случайный. Тут что-то крылось. Но что? Мигу секунду сосредоточенно морщился, потом просиял.

— На всех, товарищ генерал! — доложил он громко и тут же, повернувшись к телефону, тихо заговорил в трубку: командиру первого батальона диктовался приказ выслать на север, вдоль линии железной дороги, дозор с задачей устроить засаду и выделить одну роту в резерв для выдвижения ее в случае атаки противника в этом направлении.

Но настроение Ладейникова не улучшилось. Скорее, наоборот. Теперь он злился на себя: подсказал все-таки! Не удержался! Горе-посредник! А если б не твой полк был, тогда как, подсказал бы? Какая подсказка, защищал он сам себя, задать вопрос — в порядке вещей. Задавать вопросы и выяснять решение командира его обязанность. Он же не виноват, что командир в процессе ответа наталкивается на правильное решение. «В процессе ответа!» — набрасывался он на себя снова. А не заметь он огреха, задал бы вопрос? Наверняка не задал. Вот то-то и оно!

В это время к нему обратился пунктовый посредник на мосту молодой полковник Народной армии:

— Товарищ генерал, почему десантники первого батальона не минуют мост?

— А вы спрашивали командира батальона?

— Спрашивал. Он ответил, что минировать нет смысла, поскольку в разрушении моста заинтересован не он, а противник.

Ладейников задумался.

— По-моему, комбат прав, товарищ полковник, — сказал он наконец. — Ведь это «южные» стремятся разрушить переправу, чтобы не допустить «северных» на левый берег. А «северным» зачем мост разрушать? Не представляю себе такой ситуации.

Подшел участковый посредник, не вмешиваясь, он внимательно прислушивался к разговору.

— Но, товарищ генерал, — не сдавался полковник, — представьте, что «южные» решительной атакой уничтожают десант или хотя бы отсекают его главные силы от моста, переправляются по этому мосту на правый берег и двигаются навстречу прорыву «северных», выигрывая пространство?

— Это невозможно! — вырвалось у Ладейникова.

— Почему, товарищ генерал?

Ладейников не отвечал. Он смотрел в молодое лицо полковника, в его глаза, в которых читал искренний, глубокий интерес... Вопрос был законный. Но как было объяснить, что ни ему, комдиву Ладейникову, ни полковнику Красину, ни любому солдату полка мысль пропустить через мост противника просто не пришла в голову?

Им надлежало держаться сутки. И они продержатся эти сутки, черт возьми! А если надо, и двое. Потому что, пока главные силы не придут на левый берег, десантники будут сражаться вопреки всем смертям. Вопреки всем схемам и предвидениям. Они остановят противника, дождутся своих, а вот тогда можно и помирать. «Да, — размышлял Ладейников, — вот в этом уязвимость любых учений. В них можно рассчитать все: силу огня, мощь брони, скорости и расстояния. Хитроумные военные теории, толстые учебники, уставы и наставления, казалось бы, предусматривают все случаи, все неожиданности на поле боя. Но где уставы и учебники, что предусмотрели рядового, закрывающего телом амбразуру? Или двадцать восемь солдат, остановивших танковую лавину? В каких наставлениях описан раненый, взрывающий последней гранатой себя и дюжину врагов?»

...Ладейников вспомнил 1945 год, Будапештскую операцию, бои у Замоя.

Он был тогда лейтенант, командир роты. Тяжелейшие ата-

ки отражала его 5-я гвардейская дивизия. Эх, разве учитывалось в каких-либо наставлениях то, что происходило тогда?

Рядовой Авдеев был окружен, но уничтожил двадцать врагов и прорвался к своим. Вся рота лейтенанта Коробейникова, товарища и однокашника Ладейникова, погибла во главе со своим командиром, вся до последнего человека, но не пропустила атакующих танков. А младший техник-лейтенант Ермолаев, красавец, со смелым, решительным лицом? Ладейников и сейчас прекрасно помнил его. Его артиллерийский взвод подбил уже несколько «тигров». Были убиты все люди, израсходованы все снаряды. Ермолаев остался один, раненый. Он даже не мог метнуть гранату. И тогда, держа гранаты в руках, он бросился под танк, взорвал его. А сам погиб... В том же бою был ранен и он, Ладейников.

От его роты в живых оставалось человек десять. Они держались отчаянно и безнадежно за каменный подвал под давно взлетевшим на воздух домом, который стоял на пути наступавших танков врага. Дом разрушили сразу, но как только танки приближались к подвалу, гранаты и бронебойные пули останавливали их.

Ладейников продержался в этом подвале два часа, но танки так и не пропустил, пока не подоспели свои. Впрочем, этого он уже не помнил. Раненого в грудь, потерявшего сознание, его вынесли в тыл санитарки.

В каких наставлениях написано о таком?

Об этом можно прочесть лишь в истории страны, которая, быть может, и проигрывала битвы, но никогда не проигрывала войн...

Да, конечно, то была война, а здесь учения. Но Ладейников готов был прозакладывать жизнь, что, перенеся сегодняшней дефь в 1945 год, окажись его десантники у Замоя, перед лицом пятикратно превосходящего врага, они так же стояли бы насмерть, как давно погибшие десантники сорок пятого года.

Да и полковник Народной армии со своими солдатами, эти граждане новой Германии, разве они не сражались бы сегодня за свою обновленную родину?

Ладейников очнулся от своих мыслей.

Как объяснить все это молодому полковнику, который и помнить не мог, к своему счастью, тех страшных лет?

— Вероятно, — заговорил наконец Ладейников, — командир батальона учитывает моральный фактор.

— Моральный фактор?

— Да, товарищ полковник, моральный фактор. Он не представляет себе положения, при котором его солдаты могли бы пропустить противника к мосту.

Полковник задумался.

— Но командир обязан учесть все ситуации, товарищ генерал, — возразил он упрямо.

— Все, кроме невозможной, — неожиданно произнес генерал Народной армии, — а такая ситуация кажется ему невозможной. Командир батальона действует правильно, — добавил участковый посредник уже тоном приказа.

А тем временем машина Ручьева тряслась по кочковатому полю, продолжая свой безостановочный, но осторожный путь от куста к кусту, от пригорка к пригорку, вперед, навстречу грозному, невидимому противнику.

— Первачи катят себе по шоссе, отдыхают, — ворчал Щукин («первачами» он называл первое отделение), — а мы трясись тут по кочкам, зады отбивай.

— Зато какие пейзажи, — восхищался Дойников, прильнувший к щели и потому то и дело стукавшийся головой о стенку.

— Ну, вы слышали! — фыркнул Щукин. — «Пейзажи»! Может, остановимся, зарисуешь кое-что, эскизик набросашь для будущей картины. А? Верещагин!

Но Дойников игнорировал недостойную иронию.

— Сейчас нельзя остановиться — задание, — нравоучительно заметил он побагровевшему от возмущения Щукину. — Может, на обратном пути удастся...

— Давай-ка к той роще, — сказал Сосновский, — что-то дальше я, кроме поля, ничего не вижу. Остановимся здесь, будем наблюдать.

Рощу, за которой остановилась их машина, и рощей-то нельзя было назвать. Так, скопление высоких кустарников с тремя-четырьмя изуродованными ветром дикими яблонями посреди. Ручьев приглушил мотор, десантники вышли. От машины шел жар, словно и она вспотела во время этой гонки.

Облака унеслись куда-то в свой далекий, неведомый путь. С синего неба припекало теперь уже стоявшее высоко солнце. И только по-прежнему сильный, свежий ветер нес прохладу. Прохладу и аромат земли, буйных трав.

Сосновский не отрывал бинокля от глаз.

Только что он доложил командиру роты:

— «Ландыш-один»! Я «Ландыш-два», нахожусь в укрытии. Удаленность двадцать километров. Впереди до горизонта открытое поле. Остановился. Веду наблюдение.

И вот он наблюдал.

Поле действительно уходило за горизонт, пестрея зелеными и желтыми лоскутами всех оттенков, и только в бинокль в самой дали можно было различить полосу темнеющего леса.

Слева, километрах в пяти-шести, шла железнодорожная насыпь. А справа, совсем далеко, обсаженное липами шоссе. По нему должно было двигаться первое отделение. Еще дальше, невидимое за холмами, пролегалo второе шоссе — маршрут третьего отделения.

Главные силы роты заняли позиции в лесных массивах перед полем, за которым шел район обороны полка.

Именно там, на высоком, слегка раскачивающемся дереве, оборудовал свой НП старший лейтенант Копылов. Десантники перекинули по деревьям мостики, натянули веревочные лестницы, провели провода. Они ходили по этим шатким дорогам, словно по ровному полю, бесшумно и ловко.

Рядом с Копыловым стоял его посредник, подполковник Сергеев. Неторопливый, спокойный, казалось, даже вялый. Но от его острого взгляда не укрывалась ни одна мелочь. Он умел мгновенно, с удивлявшей его подчиненных быстротой, замечать, оценивать предмет или явление и тут же выдавать единственно правильное решение. «Не человек — электронная машина!» — острили по его адресу.

— Сформулируйте вашу задачу, — приказал он Копылову.

— С помощью высланных дозоров осуществляю наблюдение за наступающим противником. Задача дозоров — своевременное его обнаружение.

— Ну, а весь этот обезьяний городок к чему раскинули?

— Противник будет двигаться по шоссе и полю, больше нигде. С НП роты, предупрежденный дозорами, я поведу наблюдение на большое расстояние.

— И что это даст?

— Противник при подходе к реке начнет перестраиваться для атаки как раз в зоне моего наблюдения. Это даст возможность установить его силу, определить направление главного удара.

— А вы не думаете, что противник откроет по лесу огонь с дальней дистанции?

— Если не заметит нас, не думаю. Ему нет смысла обнаруживать себя раньше времени.

Сергеев помолчал.

— Рассчитываете, что не заметит? — спросил он после паузы.

— Рассчитываю, — сказал Копылов и посмотрел на подполковника.

— Проверьте, проверьте людей, маскировку. Проверьте, — прерывал Сергеев и повернулся в другую сторону.

Копылов с заместителями и командирами взводов уже двадцать раз обегал и осмотрел свой участок. Ему казалось, что все в порядке.

Но, когда в очередной раз он вернулся, заглянувшись на НН, Сергеев неодобрительно покачал головой.

— Все в порядке? — поинтересовался он как бы между прочим.

— Все в порядке, — ответил Копылов. Однако, взглядев на подполковника, начал испытывать беспокойство.

Тогда Сергеев сказал:

— Вот то дерево, там есть наблюдатель. Так? Я ведь не ходил туда, а вижу.

Копылов был поражен. Он считал, что и в пяти метрах невозможно разглядеть укрывшегося в густой листве, хорошо замаскированного разведчика.

— Товарищ подполковник, как вы его разглядели?

— Конфигурация дерева, — помолчав, ответил Сергеев, — понятно? Не очень? Логично объяснить действительно трудновато. Понимаете, каждое дерево имеет свою естественную конфигурацию, очертание, что ли. Никаких правил здесь, конечно, нет. Нарушение этих очертаний можно заметить при большом опыте, острой наблюдательности. Извините, это звучит нескромно. Но нет оснований полагать, что у противника таких людей, как я, не найдется. Ваш разведчик великолепно замаскирован, но он да и второй стоят на ветке. Посмотрите внимательно — видите, ветка немного опустелась, оставила в контуре дерева, в его кроне небольшую пустоту, промежуток такой. Для меня этого, например, достаточно, чтоб я обратил внимание. А у «южных» глазастые найдутся, не беспокойтесь. Ясно?

— Ясно, — медленно ответил Копылов и взялся за телефонную трубку.

— погодите, — остановил его Сергеев. — Еще одно. Вы ст-ходили, я видел, километра на два, присматривался к маскировке. Ничего не заметили?

— Вроде нет.

— «Вроде»... бинокли не блещут?

— Нет, — горячо заговорил Копылов, — это я первым делом проверял.

— Ну так вот, спорить не стану. Но километр-два — одно дело, а двадцать — другое. Противник начнет наблюдение издалека, и то, что вам показалось скрытым, он вполне может увидеть. Запросите-ка дозор, ну, хоть второе отделение, пусть посмотрят. Мне сдастся, что ваш наблюдатель, во-он тот, далеко высунулся. Скажите, пусть поводит биноклем, а Сосновский — там ведь Сосновский? — проверит.

Копылов спустился к радиостам. Через несколько минут он вернулся.

— Ну? — спросил Сергеев.

— Как всегда, вы правы, товарищ гвардии подполковник. — доложил Копылов. — Сосновский заметил «какой-то движущийся блик» в ветках. Исправлено.

— В общем-то, это все не мое дело, — рассуждал, ни к кому не обращаясь, Сергеев. — Я — кто? Посредник. Мое дело смотреть к «южным» и выяснять, увидели они что-нибудь или нет. Так что это я между прочим. — И, обращаясь к Копылову, заметил: — Суетитесь вы поначалу много. А потом, знаю, еще раз все проверите и исправите...

Но Копылов был доволен собой. Он привык давать себе «справедливую, но строгую», как выражался Васнецов, оценку. Пасчет «конфигурации» дерева это подполковник, пожалуй, загнул. Кроме него, никто бы ничего не приметил. А вот пасчет бинокля — промашка. Надо было сразу дозорам дать задание: оглядывайтесь-ка, братцы, назад каждые два-три километра. Как, мол, все красиво выглядит? Или есть прореха?

Он вздохнул и снова, в который раз, отправился проверять, инструктировать, поправлять...

А тем временем Сосновский, Дойников, Щукин и Ручьев, лежа в кустах впереди своей машины, смотрели вдаль, туда, где еле видной чертой тянулся лес.

Чувство тревожного ожидания наполняло их.

Через несколько часов, а может быть, минут или секунд из леса появится противник. И тогда настанет время действовать. Тогда между их «домом», районом, где укрепился десант, и наступающей лавиной останутся только три их машины. И все!

И надо будет оставаться как можно дольше, чтоб как можно больше узнать. А что потом? Их обнаружат и, возможно, уничтожат. Они знают это и все же не уйдут раньше положенного времени. Они совершенно забыли, что это учения. Они были в бою. Это как если смотреть очень талантливую пьесу или кинофильм. Ты живешь тем, что на сцене или экране. Ты не видишь плоского, белого прямоугольника или рамы, не дума-

ешь о том, что после спектакля актеры на метро поедут домой, не чувствуешь, что деревья из папье-маше, а снег из бумаги. Перед тобой идут бои или строятся города, люди любят, страдают или радуются; они живут на плоском экране полной жизнью, а ты живешь вместе с ними. Вдохнешь, расхохочешься, возмущешься, а то, чего греха таить, и смахнешь слезу.

Здесь тоже был бой, они жили им и в нем.

И вот сейчас с бьющимся сердцем ждали.

Война для солдата прежде всего бесконечные ожидания...

Ручьев лежал на спине, жуя горькую травинку, устремив взгляд в синее небо, где две какие-то неутомимые, стремительные птички чертили сложные, непонятные для человека, но важные для них, птичек, узоры.

То и дело доносился сверху их взволнованный птичий разговор.

И вдруг почему-то Ручьев вспомнил осеннюю несчастную ночь в военном городке. Ежась от холодного дождя и пронизывающего, порывистого ветра, солдаты торопливо забирались в грузовик: выезжали на контрольные стрельбы.

До полигона было часов пять езды, там надлежало провести остаток ночи, а рано утром — «Огонь!»

«Почему было не поехать заранее, днем, не спеша устроиться?» — возмущался тогда Ручьев.

Но генерал Ладейников использовал малейшую возможность для учебы. Любые переезды, походы, даже поездки на заготовку дров или в подсобное хозяйство старался проводить в необычных, трудных, неожиданных условиях.

И солдаты потом не раз с ворчливой благодарностью вспоминали эти трудные минуты, делавшие для них другие, действительно важные, минуты куда более легкими.

Машина катилась по скользкому шоссе сквозь плотную завесу дождя, навстречу ревящему ветру. Брезент громко шелкал, плескался, холодные капли залетали под него, жали теснившихся друг к другу десантников.

Внезапно грузовик остановился. «Выходи!» — скомандовал замкомвзвода.

«Еще этого не хватало, — ворчал Ручьев, — что-нибудь сломалось! Сейчас небольшой марш-бросочек на пятьдесят километров», — язвительно размышлял он.

Но оказалось, что замкомвзвода тут ни при чем. На старом, обсаженном вековыми дубами шоссе, у какого-то мостика через высохшую речушку стоял замполит старший лейтенант Якубов-

ский. Он был в кителе, плащ-палатку оставил в кабине. В руке держал карманный фонарик.

Когда солдаты, хмурые, недовольные, беспрестанно вытирая мокрые лица, вылезли на дорогу, Якубовский сказал: «Пошли за мной, ребята». Он сказал это негромко, как-то очень просто, подчеркивая неофициальность, что ли, своего приглашения. Никаких команд, никакого строя. Вроде бы хочешь — иди, не хочешь — полезай обратно в машину.

Далеко идти не пришлось. У самого мостика, под заботливо склонившейся над ним плакучей ивой, стоял маленький, потемневший от времени камень-obelisk. Сюда не достигал тусклый свет раскачивавшегося у моста дорожного светильника.

Старший лейтенант Якубовский направил на obelisk луч своего карманного фонарика.

На камне, едва различимые в струях хлеставшего дождя, виднелись буквы.

«Имя твое пока неизвестно, подвиг твой бессмертен, — с трудом разбирал Ручьев. — На этом месте в 4 часа утра 22 июня 1941 года был убит первый часовой, пограничник 12-й погранзаставы 3-й комендатуры 106-го погранполка НКВД СССР, и началась война с фашистской Германией».

Солдаты стояли неподвижно. Дождь струился по их лицам, но никто этого не замечал. Потом кто-то спял пилотку, за ним другой, третий...

Дрожащий луч карманного фонарика продолжал выхватывать из темноты высеченные на камне буквы.

Но они больше не казались Ручьеву еле различимыми. Они горели теперь, пылали, озаряя все вокруг, властно раздвигая дождливую ночь...

Значит, вот так. Значит, здесь стоял летним, тихим утром этот часовой, убитый первым! Стоял, сжимая в руках винтовку, и был убит первым в то тихое летнее утро, и миновали годы, и погибли миллионы, раньше чем через этот мостик над высохшей речкой прошли солдаты его армии, изгоняя врагов.

Они, наверное, не останавливались тогда у скромного obeliska, они спешили. Они придут сюда позже, после победы, застынут на минуту в молчании, отдавая воинские почести тому, кто первым из всех выполнил до конца свой воинский долг.

Застынут в молчании, как сейчас Ручьев и его товарищи...

Ветер выл над старой дорогой, в оголившихся ветвях вековых дубов, раскачивал плакучую иву. Дождь плотными потоками обрушивался на землю. Но никто не трогался с места.

Линия через несколько минут, медленно, молча, солдаты двинулись к машине.

Якубовский не произнес ни слова.

Грузовик, тяжело урча, снова отправился в путь, а под брезентовым верхом царил молчанье...

И вот теперь, лежа под синим небом, под теплым солнцем, жуя травинку, Ручьев вспоминал почему-то ту ночь.

Почему?

Не потому ли, что и они сейчас лежат в таком же тревожном ожидании? Или по другой причине? Не страшно ли, например, что сегодня бок о бок с ним как друзья и союзники сражаются сыновья, чьи отцы, быть может, первыми пришли на нашу землю через мостик над высохшей рекой?

Как же так?

Тогда враги, теперь союзники, друзья?

И Ручьев вспоминал беседу, которую на следующий день после стрельбы провел с ними замполит.

— Помните, товарищи, крепко помните: мы не воевали с Германией, мы воевали с фашистской Германией. Мы не сражались с немецким народом, мы освобождали его! Гитлер пришел и ушел, а народ немецкий остался. И сейчас построил новую Германию — Германскую Демократическую Республику, нашего союзника, нашего верного друга. И если завтра империалисты развяжут новую войну, мы будем сражаться вместе с Национальной народной армией ГДР против общего врага. Помните это!

«И учения, в которых они сегодня принимают участие, — подумал Ручьев, — разве не лучшее тому доказательство?..»

— А ну, Дойников, посмотри-ка, у тебя глаза получше, не то что у меня. — Сосновский протянул бинокль. — Мне кажется, там что-то задвигалось.

Голос его звучал глухо, в нем слышалось напряжение.

Все затаяли дыхание, словно их разговор помешал бы Дойникову лучше видеть.

— Это танки, — спокойно сказал Дойников. — Раз, два, три, четыре...

— Ты что, всех их собираешься сосчитать? — проинтервировал Шуккин.

— Да. Пять, шесть, семь, восемь. Восемь. Пока восемь. Идут не очень быстро. Осторожничают.

— В машину! — командовал Сосновский.

Через минуту он уже докладывал:

— «Ландыш-один»! Я «Ландыш-два», я «Ландыш-два».

Видю восемь танков противника. Вышли из леса. Продолжаю наблюдение.

По шоссе справа мчался «ГАЗ-69» с белым флажком, навстречу со стороны наступающих двигался такой же.

Поравнявшись, машины остановились. Посредники вышли и о чем-то долго совещались. Потом разъехались «по домам».

А танки все шли. Теперь их было уже не восемь, а двадцать: из леса показалась нехота. По шоссе справа двигались самоходные установки.

«Южные» приближались.

Приближались медленно, но неотвратимо.

Дозор Сосновского двигался от куста к кусту, от холма к холму. Там, где он останавливался, поле слегка обрывалось, и можно было надеяться, что его обнаружат не сразу.

Что касается «первачей», то они мчались по шоссе с максимальной скоростью, но уйти в укрытие не успели.

Сосновский видел в бинокль, как «вражеские» танки с ходу открыли по ним огонь, как дозорную машину остановил посредник, как торопливо выскочили из нее Хворост, Костров, другие ребята и, пригнувшись, бросились в поле. «Ясно, — подумал Сосновский, — машина поражена».

— Сворачивай направо, быстро! — командовал он Ручьеву. — К шоссе!

Посредник что-то крикнул вслед бегущим, и двое остановились. Не спеша, не скрываясь, они направились обратно к оставшейся на дороге машине. Значит, двое «убиты». А Хворост и Костров, поминутно оглядываясь, бежали что есть сил. Они увидели машину Сосновского, мчавшуюся им навстречу, и повернули к ней.

«Правильно ли я делаю, — размышлял Сосновский. — спасаю своих, но обнаруживаю себя. Ну и что, в конце концов, это вопрос минут, не сейчас, так через три-четыре минуты меня обнаружат. А тут двое товарищей. Да, но ты ставишь себя под удар. За три-пять минут можно уйти на километры, ты же не уходишь, а движешься вдоль фронта... Хорошо, ну, а люди? А Хворост, а Костров? Что ж, спокойно уходить, бросив их на верную «смерть»? Ты спасаешь не себя, а боевую машину и целый расчет! Если б так все рассуждали в бреду, то о какой взаимовыручке может идти речь? Товарища ранили, ну и черт с ним, он все равно не боец, а ты спасайся. Но приказ есть приказ. Тебе приказано как можно дольше наблюдать за противником, самому оставаясь незамеченным. Правильно, «как можно дольше...». Вот предел этого «как можно дольше»

и паступил. Кто это сказал? Кому дано это определить? Только мне, только моей совести, только моему пониманию долга...»

Мысли вихрем проносились в голове Сосновского, никогда в жизни еще не спорил он так ожесточенно с самим собой, как в эти секунды.

Ох, какая ответственность! И это у него, командира отделения, а как же у старшего лейтенанта Копылова, у полковника Красина, у командующих сторонами?

На войне каждый командир, какой бы маленький он ни был, должен все время принимать решения. Каждую минуту! И каждый раз правильно, потому что мелкая ошибка сейчас, через час, через день может привести к катастрофе. И ты даже не будешь знать, какое из принятых тобою решений стало той третиной, из которой позже образовалась пропасть. Как в шахматах. Думаешь, что сделал хороший ход, и только через двадцать ходов понимаешь, что этим ходом начал путь к поражению. Но то шахматы, там потери — это лишь деревянные фигурки...

Впрочем, в бою принимать ежеминутно решение приходится не только командирам, а каждому рядовому. Особенно у десантников.

Такие уж войска!

Часто в окружении, всегда в численном меньшинстве, нередко без связи, без достатка снарядов, патронов, а то и сухарей. Оцепленные ловушками, засадами, неожиданностями. Им некуда отступить, у них не бывает тыла. Они могут только маневрировать, прорываться, неожиданно атаковать или держаться насмерть, даже не зная порой, когда придет и придет ли вообще помощь.

У них больше, чем у кого-либо, все зависит от быстроты действий, от точности оценки обстановки, решительности и смелости, умения и опыта. И на любом уровне. Потому что далеко не всегда есть у них возможность доложить старшему и получить приказ. Частенько сам себе докладываешь, сам себе приказываешь, сам выполняешь. А если ошибешься, то винить, кроме себя, некого.

Такие уж войска!

Машина поравнялась с бегущими. На мгновение Ручьев замедлил ход. Дойников приоткрыл люк. Взмокшие, задыхающиеся, Хворост и Костров торопливо забрались внутрь. Мотор взревел, и теперь уже на полном ходу машина помчалась через поле к лесу.

Сосновский между тем не прекращал наблюдения и все вре-

мя докладывал командиру роты. То и дело слышался его спокойный, негромкий голос:

— «Ландыш-один»! Я «Ландыш-два», я «Ландыш-два». Машина второго дозора уничтожена, двое «убиты», двоих взял к себе, противник наступает силами до двух батальонов средних танков и полка пехоты. Танки стягиваются к шоссе, артиллерии не обнаружено. Отхожу.

Дойников, беззвучно шевеля губами, продолжал считать танки. Хворост шепотом ворчал:

— Всегда не везет. Ковалева с сержантом «убили». Загорают себе, покуривают. Для них учение побоку. Будут на нас, дураков, смотреть, зубы скалить. В театр пришли... А нас, значит, пощадил снаряд, видишь ли! Повезло! В живых остались. Я б с теми «покойничками» поменялся...

— Да заткнись ты! — прикрикнул на него Щукин. — Как ты службу песешь? Уж будь уверен, в настоящем бою первым покойником станешь.

— Брось! — Хворост сплюнул. — Кому это пужно? В бирюльки играем. Бегаем, как гончие, зачем, спрашивается? Думаешь, в бою я б так чикался? Я б там любого чемпиона обогнал...

— Это уж точно, — усмехнулся Ручьев, — если в тыл. А если наоборот? И от черепахи бы отстал. А насчет учений, это ты зря — без них из тебя толку не выйдет. Впрочем, и из нас тоже.

— Ничего, — огрызнулся Хворост, — толк выйдет, ум останется.

— Новый танковый полк появился, — доложил Дойников.

— Почему решил, — спросил Сосновский, — может, это третий батальон?

— Нет, танки другие — потяжелей. Смотри... В этом деле Дойников не ошибется. Ой!

Машину подбросило, и он стукнулся головой.

Сосновский торопливо заговорил в племофон.

Ручьев твердой рукой вел свою машину по неровному полю. Он испытывал чувство восторга от скорости, от опасности, от того, как здорово все у него получалось, как точно он обходил препятствия, нырял за холмы и кусты. И не знал, что судьба их в это время где-то решается. Что вот-вот догонит их «вражеский снаряд».

Посредник при наступающем танковом батальоне и подполковник Сергеев вновь встретились на шоссе. В огне сражения, перед лицом наступающей танковой лавины, в грохоте,

стоявшем теперь уже над всем полем, было странно видеть этих двух подполковников, спокойно беседующих и покуряющих у своих машин.

— Те два дозора комбат сразу обнаружил, — говорил посредник. — Еще бы, идут себе прямо по шоссе. И укрыться-то негде.

— Ну что ж, — усмехнулся Сергеев, — вот и поплатились.

— Тот молодец, что на поле прятался. Пока не стал своих ребят выручать, его никто не разглядел, а у танкистов командир полка — палец в рот не клади — все видит. Теперь-то уж, конечно, они на ладони. Дадим попадание, или как?..

— Я б не стал, — сказал, подумав, Сергеев. — Нет, не стал, — твердо повторил он.

— А почему?

— Ребята до последней минуты действовали правильно. Докладывали толково, я слушал там, у командира роты на ИП. Это раз. — Сергеев загнул палец. — Бросились своих выручать, не оставили. Это два. — Он загнул второй палец. — Цель учений не только учить, но и воспитывать. Накажи их сейчас за это, как в настоящем бою будут действовать? А?

— Точно, — подтвердил подполковник. — И еще одно, — он загнул на руке Сергеева третий палец, — посмотри, как идет машина! Там у них мастер сидит за рулем. Не только руками — головой ведет. Таких накрыть — это не так просто. Это еще бабушка надвое сказала...

— Ну так что, — Сергеев вопросительно посмотрел на своего коллегу, — ставлю ребятам «отлично»?

— С чистым сердцем.

— А твои танкисты как думают дальше действовать?

— Я ж тебе говорю, у них командир полка не дурак. Он рассчитал, что лесные промежутки десантники наверняка минировали, а массивы вряд ли. Так он откопал какого-то местного жителя, тот ему рассказал, что массив у развилки шоссе хилый. Снаружи только вид солидный, а так редколесье. Командир полка потяжелее танки вызвал. Легкие нацелился на промежутки, будут имитировать атаку, а тем временем средние кулаком ударят между дорог, по тому массиву. Прорвут брешь, и тогда за ними уж двинутся остальные. Ну, и штурмовую группу бросают вдоль железной дороги. Рассчитывают пробраться к мосту и взорвать его.

— Что ж, толково придумано. — Сергеев говорил спокойно, но внутренние досадовал. А-я-яй, как же недосмотрел Копылов, не проверил лес, не подумал о средних танках? Что, у «юж-

ных» только легкие, что ли, водятся? И он, Сергеев, хорош. Конечно, не его дело подсказывать Копылову, но сам-то мог бы догадаться.

Еще несколько минут посредники курили, а потом разъехались каждый в свою сторону.

Вернувшись на ИП роты Копылова, подполковник Сергеев прежде всего поинтересовался, где командир.

— Ушел к саперам, — был ответ.

Копылов возвратился лишь через полчаса. Лицо его выражало торжество, светлый чуб победно торчал из-под шлема. Он самодовольно улыбался.

— Ты что как жених перед свадьбой? А? — подозрительно спросил Сергеев. — Противник вроде недалеко.

— Вот-вот, как раз я ему свадебный подарок приготовил. — Копылов заговорщически наклонился к уху Сергеева. — Поимаете, товарищ гвардии подполковник, докладывает Сосновский: «Появился новый танковый полк». Связываюсь с командирами взводов. Сообщаю. Лейтенант Грачев, он в правом массиве позицию занимает, минут через пять вызывает меня, просит подойти. Прихожу. Докладывает: «Товарищ гвардии старший лейтенант, предлагаю заминировать массив». — «Почему?» — интересуюсь. Оказывается, у него радист в лесничестве работал до призыва. Услышал про средние танки и говорит, что они пройдут через этот лес, как нож через масло. Теперь уж я его допрашиваю: «А легкие?» — говорю. «Легкие не пройдут». — «А средние пройдут?» — «Пройдут», — твердит. Пошли смотреть, и они мне как пить дать доказали, прямо с математическими выкладками, что средних танков лес этот не оставит. Ну, я связался с полковником, доложил, он саперов прислал. Тем временем я этого связиста уже как эксперта с собой по двум другим массивам таскаю. Но там такие дубинки стоят, что не то что танками, их бомбой атомной не свадишь. Так что, если «южные» сунутся — получат сюрприз.

Сергеев довольно усмехнулся.

Сосновский получил приказ вернуться и, прибыв в расположение роты, явился с докладом.

Доложив, он снял шлем, растегнул ворот, вытер рукавом пот, струившийся по лицу, и теперь уже подробно, с карандашом и картой в руках, объяснял командиру роты пути продвижения «южных».

А вскоре «южные» сами предстали перед глазами Копылова. С его наблюдательного пункта в сильные бинокли, а потом и простым глазом можно было видеть наступавшие танки, дви-

жущуюся за ними пехоту. Где-то позади занимали позиции орудия и минометы.

Колонна средних танков стремительно двигалась к правому флангу обороняющихся, легкие танки, слегка замедлив движение, приближались по всему фронту наступления, и все же Копылов сразу определил, что после прорыва средних они тут же устремятся в пробитую брешь.

Раздались первые выстрелы. Заговорила и артиллерия десантников.

Началась настоящая работа для посредников. Они беспрестанно связывались по радио, встречались, переходили с места на место, требовали докладов от командиров подразделений и частей, при которых состояли, и, в свою очередь, связывались с участковым посредником, получая указания, сообщая обстановку.

Ладейников нервно прохаживался по траншее командного пункта Красина.

А Красин тем временем уверенно руководил обороной полка. Генерал Национальной народной армии — участковым посредником — уехал по вызову на наблюдательный пункт руководителя учений.

Отсюда бой был хорошо виден.

Справа за железной дорогой, перед вековым бором, протянувшимся вдоль реки, шла оборона десанта. Как всегда, у Красина все в этой обороне было фундаментально, солидно. Десантники соорудили себе щели и блиндажи, укрепили стенки траншей, отрыли целую сеть ходов сообщений.

Артиллеристы тоже не теряли времени даром: каждая батарея отрыла себе не меньше двух огневых позиций. Лесные промежутки, поле, на которое на рассвете приземлился десант, пути подхода были заминированы, в лесах устроены завалы, овраг продолжен противотанковым рвом. Можно было только удивляться, когда все это успели.

Но генерал Павлов не удивлялся. Он хорошо знал Ладейникова, знал Красина, а главное, великолепно знал десантников. Это были солдаты, привыкшие к труду. Приземляясь в тылу врага, они знали, что их ждет, знали, что от быстроты и прочности возводимой обороны зависела их жизнь и, что важнее, успех операции.

На что другим войскам, как правило, отводились дни, здесь давались часы. Что другие могли осуществлять заранее, в глубине обороны, десантники обязаны были организовать сразу, едва спустившись на землю, а частенько и под огнем.

Нет, оборона была крепкой. И мимолетная улыбка скользнула по тонким губам Павлова.

Но, обратив взор левее, он перестал улыбаться. Наступающий противник выглядел внушительно. Насколько хватало глаз, все поле, упиравшееся в левобережные лесные массивы, было покрыто танками и пехотой. А у опушки леса, откуда вытекало все это стальное и человеческое море, виднелись десятки орудий, минометов, ракетных установок, занимавших позиции и уже успешных открыть огонь.

Силы явно неравные, превосходство атакующих было значительным.

— Выдержат? — спросил генерал Гофмайер, долго молча взиравший на развернувшуюся перед ним картину боя.

— Выдержат, — уверенно ответил Павлов.

Вот и весь разговор.

Руководитель учений постоянно связывался с командующими сторонами. Он знал, что «северные» рвутся вперед. Их танковые и моторизованные колонны стремительно движутся к реке, не останавливаясь ни на минуту, без передышки, без усталости.

Солдаты уже сутки не видели горячей пищи, ели сухой паек на ходу, не вылезая из танков и грузовиков.

А командир сил прорыва генерал Национальной народной армии Рутенберг все наращивал темпы движения...

Наблюдательный пункт руководителя учений жил напряженной жизнью. К площадке под горой, где на высокой мачте плескался белый флаг, без конца подъезжали машины, у штабных автобусов суетнились офицеры и посыльные, полевые радиостанции рассылали приказы и собирали доклады, то и дело появлялись и исчезали посредники... К станции Кингбаум подъезжали дрезины, моторсы, даже специальные вагоны с генералами и старшими офицерами.

Словом, все кипело не только на поле боя.

А там происходило следующее.

Танки «южных», проникшие в крайний лесной массив, тот самый, что, по их расчетам, не был заминирован, начали «взлетать на воздух». Это внесло в ряды наступающих некоторую растерянность. Танки отступали, пехота залегла. Начался артиллерийский и минометный обстрел оборонительных позиций десанта.

Обстрелу подверглись и минные заграждения. Через час полая танковая атака, но она также не имела успеха: минные поля были установлены в несколько рядов.

За танковыми последовали пехотные атаки, новые артобстрелы и снова атаки.

Но десант держался. В одном месте «южным», казалось, удалось наконец прорваться. Три танка и до роты пехоты чудом проскочили. Но солдаты Копылова заткнули брешь. Артиллеристы прямой наводкой уничтожили танки, саперы под огнем вновь установили мины...

Наступил вечер. Десант держался.

Опустилась ночь. Понесся тяжелые потери, десант продолжал держаться.

Артиллерийский обстрел «южных» моста не повредил.

Под покровом ночи атакующие попытались провести разминирование. Но десантники беспрестанно освещали небо ракетами и держали под обстрелом минные поля. Незаметные для противника, укрывшиеся в одиночку в лесу и на поле, снайперы, градометчики уничтожали саперные группы.

Красин не только оборонялся, он нападал.

Взвод разведчиков Копылова получил задание проникнуть в район сосредоточения танков противника, уточнить расположение его сил и по возможности произвести диверсию, высеять сумятицу и неразбериху.

Сначала быстрыми перебежками, а потом ползком разведчики двигались вперед.

Сосновскому, Ручьеву, Дойникову это изрытое, покрытое кустарником поле было теперь хорошо знакомо. Они педаром исколесили его днем на своей боевой машине.

Но сколь иным оно представало ночью! Какие-то незаметные колючки, которые резали руки, рывины, в которых застревала нога, камешки, о которые стучались автоматы...

Трассирующие пули цветными пунктирными нитями протягивались над их головами, зеленый, мертвенный свет ракет то и дело заливал все кругом, и черные кусты казались тогда непреодолимым, страшным препятствием, стутками колючей проволоки.

Где-то грозно урчали моторы. Ночной ветерок доносил запахи разогретого металла, бензина, пороховой гари, заглушавший аромат близкой, у самого лица, росистой травы, сырой свежей земли. Десантники ползли бесшумно и быстро, скользя по мокрой траве.

Глаза, научившиеся видеть в темноте, выхватывали силуэты танков, точно засекали батареи. Цепкая память фиксировала все, что видел глаз. Линия дозорных осталась позади, разведчики были теперь в расположении врага.

Они не разговаривали. Короткого жеста было достаточно, чтобы понять друг друга.

Сосновский рубит воздух рукой. И вот уже Щукин змеей проскальзывает под танк, крепит к его огромной, нависшей над ним туше свою «столовую пашку», метит белым меловым крестом.

А Дойников, соня, работает по соседству — Дойников хват, лучший подрывник роты!

Когда вся взрывчатка израсходована, торопливо уползают. Детонатор, который подаст посредникам сигнал о том, что танки «взорваны», сейчас сработает. Но сначала должен сработать другой. И вот в ночи раздается глухой хлопок. Это Ручьев, Хворост и другие ребята вывели из строя командный пункт танкового батальона.

Они нацупали его еще по дороге, но слишком много там было людей, чтобы рисковать.

А вот теперь удалось. Сняли часовых, захватили карты, документы, «уничтожили» трех офицеров, а четвертого, связанного и «оглушенного», здоровяк Ручьев тащит на себе «домой».

Посредники, улыбаясь, объясняют огорченным штабистам, в чем их ошибка. А разведчики уже ползут обратно под ураганным огнем взбудораженных взрывами тапкистов.

С ними ползет капитан-посредник — он определит, понесут ли десантники потери на обратном пути.

«Языка» доставляют Красину в штаб. Здесь никто не спит. Офицеры трут покрасневшие от бессонницы глаза. Красин, как всегда деятельный и оживленный, с выросшей за ночь черной щетиной на подбородке, отдает распоряжения, принимает доклады: необходимо перебазировать артдивизион, создать ложные позиции, предугадать замыслы противника, который наверняка в первые же утренние часы что-нибудь предпримет; нужно подсчитать боезапасы, эвакуировать «раненых», организовать еще диверсию, вроде той, какую только что устроили копыловцы. Нужно, нужно, нужно...

А людей мало, а ночь коротка, а противник все наращивает силы...

И нужно держаться. Держаться во что бы то ни стало! Хотя немного, хотя несколько часов — ведь свои уже близко; безостановочно, стремительно мчатся они по почным дорогам на помощь своему десанту, мчатся на выручку, зная, что каждая выигрышная минута — это спасенные жизни товарищей.

Перед самым рассветом «южные» снова предприняли отчаянную атаку всеми силами.

Но было уже поздно.

Передовые части «северных», пройдя за короткий срок невиданно большое расстояние, с ходу форсировав реку пехотой и танками, переправив через мост артиллерию и другую технику, вступили с «южными» во встречный бой и вынудили их отступить.

Началось преследование.

Десант полковника Красина вновь оказался в тылу. Только уже своих войск. Он выполнил приказ. Парашютисты сутыл сдерживали атаку противника. Они продержались до подхода своих главных сил. Теперь эти силы умчались дальше на север, отбрасывая противника все дальше и дальше.

А десантники остались.

Они собирали и приводили в порядок «уничтоженное» имущество, наконец-то по-человечески ели и мечтали поспать после двух бессонных ночей.

Командир десанта, посредники, помощник руководителя учений по применению десантов, генералы из штаба руководства, советские офицеры и офицеры Национальной народной армии готовили отчеты, разбирали эпизоды, составляли приказы.

Руководитель учений генерал Гофмайер отправился на другой наблюдательный пункт другого участка, туда, где наступающие «северные» столкнутся с подготовленной обороной «южных». Там ждут его другие посредники, другие командиры. Там идет розыгрыш других эпизодов.

Учения продолжаются, и исход их еще далеко не решен.

А этот район вечером будет покynут.

Останутся окопы, в которых с деревянными автоматами будут сражаться мальчишки из Кингбаума. Останется копыловский «обезьяний городок», по которому, к ужасу матерей, будут с восторгом лазить все те же мальчишки.

И еще память окрестных девушек о веселых и задних ребятах в голубых беретах, о песнях, танцах, дружеских встречах...

Что касается генерала Павлова, Ладейникова и некоторых других высших и старших офицеров, им надлежало присоединиться к штабу руководства следующим утром. Для этой цели специальный вагон ожидал их на станции Кингбаум.

Отъезд был назначен на двадцать два часа.



## Глава XXIV

Итак, учения для нас закончились.

Мы выдержали экзамен. Десантники не отступили, десантники выстояли, десантники более суток сдерживали натиск противника и обеспечили «северным» успех! Многие из нас «погибли», но наши войска победно устремились вперед, преследуя «южных». Ура!

Теперь «погибшие» отдыхают. Не на том свете, на этом. И довольно весело.

Отославшись, во главе с замполитом Якубовским отправились в соседнее село Кингсдорф на встречу с местным населением. «Населением» оказались весьма приветливые ребята и девчата. Впрочем, девчата мне безразличны — я был с Таней. Зато не безразличны Хворосту и Щукарю. Те прямо из кожи вон лезли: и танцевали, и пели, и какие-то фокусы показывали. А Хворост, подлец, по-моему, все-таки тяпнул где-то.

Сосновский на весь вечер прочно засел с вихрастым парнем в очках, как выяснилось позже, руководителем сельской организации Свободной немецкой молодежи. Они устроили целый диспут на тему о методах преподавания математики! Это только Сосновский может...

Дойников собрал вокруг себя аудиторию и пересказывал старые кинофильмы, которые ему особенно нравятся. Только и слышно было: «Она Огурцову говорит... а он раз — истонет... не тут-то было... а тигры раз — на палубу... А Каренин ей говорит...»

Я тоже исполнил пару песен, а потом еще аккомпанировал смешанному хору. Чего только не пели: и «Подмосковные вечера», и «Болотные солдаты», и «Пусть всегда будет солнце»...

Танцевал только с Таней.

Она пользовалась повышенным вниманием. Как же — единственная военная девушка. Я-то танцевал только с пей, а вот она не только со мной. Ревновал, по не очень, так, на всякий случай, чтоб она не обиделась...

Устроили они нам ужин с пивом — старший лейтенант Якубовский разрешил.

Неелись, как удавы. Дойникова приставили за Хворостом наблюдать. Как тому приносили пиво, так в порядке наблю-

дения Дойников хватать и это пиво вышивал. Пришлось назначить другого наблюдателя.

Обменялись сувенирами. Мы им значков натаскали, вымпелов. То-то радовались! Они нам тоже — шпалы тирольские с перышками, деревянные фигурки всякие.

Отличная встреча, ей-богу. Какая-то теплая, легкая, веселая, как сегодняшняя почва.

Часов в девять начали прощаться. Обменялись адресами. Проводили они нас за околицу.

Обратно отправились разными путями. Кому хватило места — в машине. Кто успел — на местном поезде до Кингбаума.

А мы — Таня, Щукин, Дойников и я — безмашинные и опоздавшие — решили пройти пешком.

Честно говоря, мы с Таней это еще на пути туда спроектировали, но ребята, их-то кто просил оставаться? Впрочем, деликатные, тихо-тихо начали отставать. Так что скоро мы вырвались вперед, а они плелись где-то сзади.

Думаете, идем по ровному, гладкому, удобному шоссе? Ничего подобного, по шпалам железной дороги! Мастер спорта, чемпион и рекордсмен Татьяна Кравченко не признает легких дорог! Трудности — ее стихия. Какой смысл идти по ровной дороге, обнявшись и глядя на луну, когда можно прыгать и спотыкаться на шпалах, идти в затылок друг другу и глядя под ноги, чтоб не растянуться? Это куда романтичнее. Так она считает. Ну, а верному рыцарю Ручьеву только и остается исполнять капризы своей дамы и, внутренне чертыхаясь, скакать как кузнечик по этим проклятым шпалам!

Почему их не кладут с интервалом нормального человеческого шага? Нет, обязательно так, что и прыгать неудобно, и семенить тоже!

А Таня словно плывет: она расставила руки и скользит по рельсу. «Правда, я похожа на канатоходца?» Очель! Канатоходец в сапогах и гимнастерке.

Идем. Периодически мне удастся стащить ее с рельса, обнять и поцеловать. Справедливости ради признаю, что она не очень сопротивляется. Но все же ей не нравится, что где-то там бредут Дойников — Соколиное Око и Щукин — Орлиный Глаз. Это ее смущает. В конце концов мы спускаемся на тропику, что тянется вдоль железнодорожной насыпи у ее подпожия.

Теперь-то уж однопольчане нас не заметят. Тем более что луна куда-то исчезла и стало темней.

Справа от нас протянулось болото, от него тянет чем-то горьким и затхлым, чем-то гнилым. Зато с той стороны насыпи

от невидимых сосен долетает свежий дух хвои. Дует ветер, и шум леса набегает волнами. Голоса Щукина и Дойникова давно остались позади: мы ушли вперед на добрый километр.

Откуда-то издалека, из Кингбаума доносится паровозный свисток.

Смотрю на часы. Без пяти десять. Двадцать один пятьдесят пять, выражаясь нормальным языком.

Жаль. Я б хотел, чтоб нам еще не два-три километра, а двадцать оставалось. Идти вот так, обнявшись с моей Татьяной, под этим почным небом. Вдыхать крепкий хвойный аромат. И чтоб смотрели на нас, подмигивая, веселые звезды, и чтоб дорога тянулась, блестящая и прямая, перед нами, как эти рельсы. Чтоб вся жизнь была такой же ясной, прямой и светлой.

Вот сейчас ненадолго прорвалась луна, и небо посветлело. Я торопливо целую Таню, прижимаю к себе, мы застываем неподвижно, закрыв глаза.

От близости Тани, от соснового густого воздуха у меня кружится голова.

И от счастья! От счастья, черт возьми! Вот от чего кружится голова. Страшно, почему человек слабеет в самые страшные минуты своей жизни и в самые счастливые? Или в самые страшные не слабеет? Я имею в виду настоящего человека...

Открываю глаза. Но продолжаю стоять неподвижно, крепко обхватив Таню. Мне это кажется? Я напрягаю зрение. Мне это кажется или там, впереди, на фоне посветлевшего неба, кто-то, наклонившись над рельсами, быстро и ритмично двигает руками? Что он делает? Боже мой, да он отвинчивает гайки! Я это прекрасно вижу теперь. Я научился видеть в ночи, как днем. Спина сразу становится мокрой. С болота долетает и дунит плотный запах гнили — ветер опять повернул. Со стороны Кингбаума вновь слышен паровозный свисток, он стал ближе.

Неожиданно приходит спокойствие. Я чувствую себя опять на учениях. Там, на дороге, диверсант «южных», моя задача — безвредить его. Где-то рядом покуривает посредник с белой повязкой на рукаве. Он будет выставлять мне оценку.

Она должна быть отличной...

Я еще крепче обнимаю Таню. Наклоняюсь к ее уху и шепчу еле слышно:

— Таня, на насыпи кто-то, по-моему, разбирает рельсы. Не шевелись. Что бы ни было, не шевелись...

Я целую ее в теплое ухо. И выпускаю из рук.

Неслышно, широкими шагами, согнувшись, подкрадыва-

юсь вдоль насыпи к человеку, там, на пути. Со стороны болота слышен негромкий свист, человек на рельсах отвечает. Значит, кто-то есть еще, кто-то прикрывает... Может, не один. И вдруг новый свисток, громкий, протяжный, — свисток приближающегося поезда.

Мысль работает так ясно, так спокойно и так невероятно быстро...

Взять на прием? У меня должна быть свободной хоть одна рука: надо предупредить поезд. Уничтожить? Легко сказать. Права выносить приговор и тут же его исполнять мне не дано. А вдруг ошибка! Пусть хоть на одну тысячную, но ошибка. И потом надо задержать, узнать, допросить. Остается — оглушить. Ох как трудно прыгать вверх из-под насыпи на рельсы!

Прыгаю.

Зажимаю ему предплечьем сонную артерию. Он вскрикивает. Напому удар. Обмякает. Резким движением сбрасываю его с насыпи.

С невероятной быстротой, словно из-под земли, передо мной вырастает второй. Он на пути между мной и поездом. Будет стрелять? Нет, не хочет привлекать внимания. Значит, схватка, ну что ж, хоть он, судя по фигуре, здоровяк, но справлюсь. Не приближается. В чем дело? Ах, вот в чем... Мгновенно бросаюсь в сторону. Не успел. Пож просвистел почти неслышно, прошипел в воздухе. Какая боль в плече! Как огонь. Будто руку оторвали, отожгли раскаленным железом! Здорово метает, а все же попал только в руку.

И вот он уже передо мной, в руке второй пож. Какие у него глаза! В них злоба и страх. Не обманешь, я читаю в них страх. Он огромен, с ножом. А у меня одна рука...

Словно из дальнего далека слышу отчаянный крик Тани, шум приближающегося поезда.

Нет, с пути я не сойду! Ни за что не сойду! Нет такой силы, которая сдвинула бы меня с места. Машинист должен увидеть нас в свете фар. Тогда он успеет затормозить... Но для этого надо, чтоб мы оставались на путях. И я не сойду!

Человек наваливается на меня, бьет ножом — огонь полыхает мне живот, грудь, опять живот! Но единственной рукой я все-таки зажимаю его вооруженную руку. Свободной он неистово бьет меня.

А поезд все ближе. Вот все загорается вокруг, все полыхает: деревья, рельсы, враг — этот черный гигантский силуэт. Могучая паровозная фара ослепляет меня...

Все как в тумане... с трудом различаю крики, топот под-

бегающих ребят, отчаянный паровозный свисток, шипенье тормозящего поезда.

В груди полыхает огонь, он разливается по всему телу. Захватывает руки, ноги, живот, виски. Всюду протянулись от груди раскаленные нити... Какие-то тупые удары по голове — он все еще рассчитывает, что я отпущу его. Нет! Не отпущу! Буду держать... И ни за что не сойду с пути!

Огонь во мне все сильнее, но я уже не ощущаю боли, пламя полыхает, но не жжет...

А небо такое черное, совсем черное...

И вдруг взрывается, все, целиком, я не слышу взрыва, но небо взрывается... Оно становится ослепительно белым, сверкающим, чистым-чистым...

Так закончились для Анатолия Ручьева учения.

И началась война.

И кончилась.

Она длилась для него лишь несколько минут.

Но в эти короткие минуты он готов был отдать все, что имел, все, что дала ему за последний год Родина, армия. И он отблагодарил их чем мог. Он не успел еще ничего накопить: ни заслуг, ни славы. У него была только его жизнь. А между долгом солдата и жизнью для него не существовало выбора.

Поезд, шипя и скрипя, остановился в нескольких метрах, освещая полотно могучей фарой. От него, размахивая руками и крича, бежали люди.

Внизу у насыпи, бормоча ругательства, Щукин связывал ремнями сброшенного туда Ручьевым первого диверсанта. А на рельсах еще шла борьба. Второй диверсант старался избавиться от руки Ручьева, зажавшей его в беспощадных тисках.

Хрипло всхлипывая, как-то страшно завывая, он отчаянно вырывался, перехватив пож, испугленно рубил им эту железную руку, но она все так же крепко и неумолимо держала его.

Черные силуэты сцепившихся в отчаянной борьбе казались в свете паровозной фары какими-то кошмарными персонажами театра теней...

Подбежавший Дойников изо всей силы ударил диверсанта по голове в лицо, еще раз, еще. Тот пытался увернуться, закрыть голову. Но Дойников с остервенением, словно автомат, продолжал наносить удары. Его добрые большие глаза уже не были

голубыми, они сузились в щелки, стали серыми с синевой, как веревчатая сталь оружия.

Оттолкнув Дойникова, Таня наклонилась над Ручьевым. Торопливо растегнула, отрывая пуговицы, китель.

Китель, тельняшка — все было пропитано, все залито кровью, кровь была на шпалах, на рельсах, на земле, она обрызгала одежду диверсанта, она залила все кругом. И Таннины руки были обогреты ею.

Таня в безнадежном отчаянном объятии сжимала ладонями голову Ручьева, судорожно прижимая к себе. Она вся сотрясалась от беззвучных рыданий, рыданий без слез. Она пыталась как-то повернуть неподвижное тело, положить его как-то удобней. Слово не было ему сейчас все равно...

Прибежали люди. Специальный поезд, всего в составивший-то из трех вагонов, вез на новую штаб-квартиру руководства ученых советских офицеров и офицеров Национальной народной армии.

Сейчас они молча стояли вокруг.

Пришедших в себя диверсантов увели. Щукин и Дойников попытались поднять тело Ручьева, но Таня посмотрела на них таким взглядом, что они торопливо отступили. Она продолжала стоять рядом с телом на коленях. Золотые волосы, закрывавшие лицо, сверкали, окровавленные руки по-прежнему сжимали голову Ручьева.

Ладейников вышел вперед. Он наклонился над Таней, обнял ее за плечи, что-то тихо зашептал на ухо.

По знаку генерала Дойников и Щукин унесли своего товарища. Таня, уткнувшись в грудь Ладейникова, рыдала, теперь уже не сдерживаясь.

Прибыли полиция, солдаты. Прочесали лес, болото и без труда задержали третьего диверсанта. Полицейские быстро разобрались в арестованных. Белый и Черный — было ясно — лишь пешки, обычные пешки на шахматном поле холодной войны.

Вот Крутов — другое дело. Он фигура покрупнее. В задней комнате стационарного помещения полицейский офицер снял с него первый допрос. Крутов отвечал охотно, скрывать не имело смысла. Он слишком хорошо знал своих помощников, чтоб хоть минуту сомневаться. Они выложат все, что знают, спасая шкуру. Ну, что ж, Крутов не мог их упрекать, когда-то и он сделал то же. Шкура — она ведь всего дороже.

Вот и пришло время расплатиться по длинному (ох, какому длинному!) счету. Он давно ждал этого часа, гнал подступаю-

щий страх, старался не думать, а сам все время ждал, все время знал, что этот час пробьет.

Теперь пробил.

Крутов не строил иллюзий о своей дальнейшей судьбе. О нем никто не вспомнит, и оплакивать его никто не станет.

А может, удастся уцелеть? Пусть дадут двадцать... двадцать пять, да хоть сто лет! И уйдут в самую даль, где только мох, да лишайник, да снег, да белое полярное солнце. Но русский снег... И русское солнце...

И пусть с зари до заката, в пургу и мороз долбит и копает звонкую промерзшую землю.

Но русскую землю...

Крутов застонал. Ох как хочется жить! Любой ценой, как всегда, любой ценой, только жить!

Но здесь были иные люди, иные мерила, и все, что он мог предложить — унижение, предательство, свои руки убийцы, — их не интересовало.

Звякнул засов. Открылась дверь, и в глухую, без окон, комнату, куда его временно заперли, вошел человек.

Это был советский генерал.

Свет тусклой лампочки падал на его высокую фигуру, на лицо, словно высеченное из дерева, освещал старый шрам на левой щеке, воспаленные светлые глаза.

Ладейников! Крутов мгновенно узнал его, несмотря на генеральскую форму, несмотря на протекшие без малого тридцать лет и следы этих лет на суровом лице.

Дверь тихо закрылась за вошедшим. Они остались одни.

Крутов вскочил. Вместе с Ладейниковым в маленькую, тускло освещенную комнату словно ворвался давно забытый мир. Снежное поле, озаренное кровавыми снолохами, черные силуэты обгорелых деревьев и трупы, трупы кругом, и он, Ладейников, весь в крови, пропитанный автоматной очередью, преданный, брошенный Крутовым...

И все, что было потом — долгий путь измен и преступлений и все эти убитые, зарезанные, расстрелянные, — тоже вошло сейчас в комнату вместе с Ладейниковым. Вся его, Крутова, мрачная, кошмарная жизнь...

Минуту он стоял, зажмурив глаза, словно желая спрятаться от этих призраков.

Потом сел, опустив голову, стараясь скрыть лицо.

— Ну, здравствуй, Крутов, — Ладейников тоже сел. Он говорил негромко, своим обычным, чуть хрипловатым, голосом. — Вот и свиделись.

— Вот и свиделись, — эхом отозвался Крутов. — Ты изменился, Василий. Генерал! Вон колодок набрал. Штук двадцать небось?

— Побольше, — сказал Ладейников, — побольше. А у тебя? Не вижу что-то. Ты же верой и правдой служил. Где ж награды?

Крутов поднял голову. Горящий взгляд из-под черных густых бровей был устремлен теперь прямо в лицо Ладейникова.

— У меня другие награды, Василий, — голос его дрожал от ненависти, — другие. Прихлопнул сегодня твоего большевичка, вот мне и награда!

— Большевичка? — Ладейников говорил все так же спокойно, и только хорошо знавший его мог бы угадать то огромное напряжение, которое скрывалось за этим внешним спокойствием. — Комсомолец он был. Понимаешь? А, впрочем, ты прав, пожалуй. Большевиком тоже.

— Уж куда! — Крутов зло усмехнулся. — Вон каких вырастил! Каким сам был. Не отступил, насмерть стоял... Только ему от этого проку мало. Могилку-то я ему вырыл.

— Думаешь, вырыл? — Ладейников помолчал. — Нет, Крутов, не могилу ты ему вырыл. Памятник поставил.

— Памятник?

— Да тебе все равно не понять, не старайся.

— Куда уж мне! Я ведь не генерал. В академиях не учился...

— Ну как же не учился? — Ладейников усмехнулся. — В бандах тебе уж, поди, меньше, чем полковничьи, погоны не носить? Как не учился! А нож метать? А безоружного резать? А поезда с людьми взрывать где учился?

— Нож метать, поезда взрывать? — Крутов вскочил. — А твои ребята, твои «береты голубые», они не умеют? Не учились ты их ножом орудовать, часовых снимать, поезда взрывать? Не учились всевать?

— Верно. Учу воевать. — Ладейников не повышал голоса. — И нож они умеют метать. Но в кого? И часовых снимать. Но чьих? Только не учу я их деревни жечь, людей пытать, детей убивать, жепшии насиловать. Не учат у нас этому в Советской Армии. Уж ты-то знаешь, ты же в ней служил когда-то. Забыл? Еще бы! Это там можешь врать, по мне-то зачем? Я своих учу мир на земле защищать. Ведь когда мы фашистов убивали, мы же мир спасали. Потому что фашисты запесали над ним руку. А сегодня, сам видишь, с немцами вместе учимся воевать. Против кого? Против фашистов же.

— Здорово получается. — Крутов усмехнулся. — Воевал за Россию, немцы чуть не расстреляли — еле шкуру спас. Теперь против России воюю — опять же немцы казнить будут.

— А, понял все-таки! — Ладейников опять говорил тихо. — Понял, значит! То-то и оно. Не те немцы. Иные... Так-то, Крутов.

— Судить меня они будут? — еле слышно спросил Крутов.

— А кто же? Ты в их стране совершил преступление, их суду и подлежишь.

— Я ж против наших... против ваших... вашего же... — Крутов вдруг подался вперед. — Слушай, Василий. — глухо заговорил он, — мы ведь когда-то вместе... за партией одной сидели... ты же мать мою знал, на одной улице жили... Помог... Помог, Василий, ради всего старого. Нет, ты не думай, — он поднял руки, — я не прошу, чтоб освободить. Ни ради бога! Только жизнь сохрани, а, Василий, жизнь! Ну к чему она вам? Пусть уйдут навсегда, пусть в рудники. Я еще работать могу. И расскажу все, слышишь, я много знаю. Василий, я им, — он указал на дверь, — не все сказал. На всех укажу, я много знаю... Ты же можешь... — Голос Крутова дрогнул. — Скажи им!

— Хватит! — Ладейников снова встал. — Судить тебя будет суд Германской Демократической Республики. И он решит твою судьбу. Одно скажу: была б моя воля — вот здесь, сейчас пристрелил бы. Так-то, Крутов...

И вдруг Крутов начал кричать — громко, визгливо, задыхаясь, захлебываясь словами:

— Стреляй, стреляй, сволочь! Герой проклятый! Васяка Ладейников в чинах да орденах, а Крутов — дерьмо собачье? Так? Зря радуешься. Меня хлошете, другие есть. Мы из всех щелей к вам ползем, из всех нор! Ночью вас будем бить, детей ваших душить, из-за угла стрелять! А вы будьте прокляты, вы все! И ты, и твой эрот, которого я прирезал пынче...

Крутов замолчал, обессиленный. Короткие пальцы судорожно сжимались и разжимались, тело била дрожь, глаза, как у безумного, неестественно пристально были устремлены в одну точку. Он тяжело дышал, хрипло, со свистом. Седая голова склонилась на грудь...

— Ошибаешься, Крутов! — Ладейников и теперь продолжал говорить спокойно, в голосе его была только безмерная усталость. — Опять ошибаешься. Не убил ты Ручьева. Не получилась у тебя. И не только потому, что врачи еще не сказали своего последнего слова. Нет. А потому, что, и погибни, все равно он будет жить. Каждый вечер, слышишь, каждый вечер стар-

нина будет выкидывать на вечерней поверке его имя. Нет за тобой правды, Крутов. У нас она...

Ладейников вышел. Дверь закрылась, скрипнул засов. И в маленькой темной комнатке наступила могильная тишина...



## Глава XXV

Поезд шел по бескрайним просторам России, и за покрытыми инеем окнами возникали все новые и новые пейзажи.

Здесь уже наступила зима.

Деревья казались высеченными из льда. Мохнатые ветки нависали, неподвижные, облитые девственным снегом. От железнодорожного полотна в далекие дали уходили просеки и лесные, еле приметные дороги. У белой линии горизонта поднималось с утра красное, затуманенное морозной дымкой солнце.

Начинала золотиться верхняя кромка леса, сверкать жемчугами. Все искрилось, полыхало ледяным огнем.

Белели реки — широкие, спящие глаза ленты, брошенные меж сугробов. Лишь кое-где кучками, словно черные, нахохлившиеся птицы, неподвижно сидели над прорубями молчаливые рыболовы.

И вечеру просеки голубели, синева сгущалась в тени, лиловела в лесной гуще, чернела. Лес казался огненным из тяжелого синего стекла, менявшего с каждым поворотом поезда свой цвет, свой объем. Сначала, пока выглядывало из-за макушек деревьев пунцовое закатное солнце, синева окрашивалась розовым палетом, потом солнце скрывалось, и наступало царство темных красок.

...Устремив в окно задумчивый взгляд, капитан Копылов откинулся на спинку дивана.

Как быстро летит время! Вот он снова едет за новым набором. За новыми ребятами, которых через несколько дней повезет в свою прославленную дивизию.

Как когда-то их старшие товарищи, разношерстно одетые, с мешками и чемоданами, они войдут в распахнутые ворота военного городка. Дыша белым паром, будут с любопытством озираться по сторонам, стараясь быстрее вникнуть в новый для них, неведомый, немного тревожащий мир.

Потом рассеются по своим взводам и ротам. Начнут службу,

станут со временем опытными солдатами. А их старшие товарищи, те, кого ныне зовут старослужащими, снимут военную форму и вернутся к мирным делам, прежним или новым.

Превратятся в «гражданских людей», но навсегда останутся солдатами.

Потом во взводы и роты опять придут новые, а эти уйдут...

Эстафета. Эстафета без финиша...

Вместе со своим автоматом увольняющийся в запас передает новобранцу и многое другое.

Свою зрелость и воинское мастерство, силу и закалку, гвардейскую лихость и суровую готовность выполнить долг.

То, что есть и всегда будет в нашей армии, ее дух.

Этот дух, традиции, славу поддерживают и хранят как вечный огонь такие, как он, Копылов, офицеры и генералы — те, кто связал свою судьбу с армией навсегда.

Они несут ответственность не только за тех, кто служит под их началом, но в полной мере и за тех, кто отслужил свой срок. За каждого из своих солдат, не только нынешних, но и бывших, он, Копылов, в ответе.

Если тот плох — это и его вина. Если честен, отважен, стал подлинным гражданином — и его заслуга.

Копылов подумал о Ручьеве. Что ж, здесь ему есть чем гордиться. И замполиту Якубовскому. И командиру взвода Грачеву, и ефрейтору Сосновскому, и старшему сержанту Кравченко, и полковнику Николаеву, и генералу Ладейникову... Всем, кто служит в их прославленной дивизии. И тем, кто давно покинул ее ряды. Даже тем, кто давно в земле, под скромными обелисками, под трепещущими языками вечных огней... Все они воспитали война в высоком смысле этого слова.

Подняли на подвиг.

Кто сказал, что подвиги совершают лишь в военное время? Лишь в огне сражений?

И что такое вообще солдатский подвиг? Не высшее ли это умение нести воинскую службу? Такое, когда оценка «отличное» уже недостаточна?..

К подвигу в любое, самое мирное, время, в любом, самом спокойном, месте должен быть готов каждый солдат. А вот совершить его доведется не каждому...

Так размышлял Копылов, устремив задумчивый взгляд на проплывавшие перед ним бескрайние, сверкающие белизной поля, из-за которых поднималось все выше, разгоралось все ярче огромное золотое солнце.

Для старшего возраста

Александр Петрович Кулешов

**ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ**

Р о м а н

Ответственный редактор *Е. М. Подко-  
паев*. Художественный редактор  
*А. Е. Цветков*. Технический редактор  
*С. Г. Маркович*. Корректоры *В. В. Бо-  
рисова* и *К. И. Каревская*. Сдано в на-  
бор 23/VIII 1975 г. Подписано к печати  
17/XII 1975 г. Формат 60×84<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Бум.  
типогр. № 1. Печ. л. 16. Усл. печ.  
л. 14,88. Уч.-изд. л. 15,49. Ти-  
раж 100 000 экз. А14275. Заказ № 1310.  
Цена 66 коп. Ордена Трудового  
Красного Знамени издательство «Дет-  
ская литература». Москва, Центр,  
М. Черкасский пер., 1. Ордена Тру-  
дового Красного Знамени фабрика  
«Детская книга» № 1 Росглаволи-  
графпрома Государственного комите-  
та Совета Министров РСФСР по де-  
лам издательства, полиграфии и книж-  
ной торговли. Москва, Суховский  
вал, 49.

---

Кулешов А. П.

К90 Голубые молнии. Роман. Рис. Ю. Копылова.  
Оформление А. Ременника. М., «Дет. лит.», 1976.

255 с. с ил. («Военная библиотека школьника»).

Роман о призывниках, проходящих военную службу в де-  
сантных войсках.  
Сокращенное издание.

